

Казиміръ Тетмаеръ.



# СОБРАНИЕ СОЧИНЕНІЙ.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ.

# Книгоиздательство В. М. Саблина.



ГЛАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Т-во „КУЛЬТУРА“.

## СКЛАДЫ и ОТДѢЛЕНІЯ:

**Вильна,**  
Жандармскій пер., 7.  
Тел. 823.

**Екатеринбургъ,**  
Вознесенскій пр., 3.  
Тел. 219.

**Екатеринославъ,**  
Базарная, д. Миро-  
шниченко, Тел. 241.

**Иркутскъ,**  
Большая ул., 29.  
Тел. 774.

**Кіевъ,**  
Николаевск., 17.  
Тел. 11-52.

**Подзь,**  
Вудьчанск. ул., 21.  
Тел. 1401.

**Москва,**  
Кузнецкій М., 15.  
Тел. 212-80.

**Одесса,**  
Ланжероновская, 2.  
Тел. 17-55.

**Рига,**  
Церковная, 31.  
Тел. 52-86.

**Ростовъ н/Д.**  
Малый пр., 31.  
Тел. 13-78.

**Самара,**  
Дворническая ул., 71.  
Тел. 737.

**С.-Петербургъ,**  
Невскій пр., 28.  
Тел. 426-75.

**Ташкентъ,**  
Куропаткинская, 6.  
Тел. 57.

**Тифлисъ,**  
Эриванская пл., 3.  
Тел. 333.

**Харьковъ,**  
Лопатинск. пер., 15.  
Тел. 17-36.





КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Коллич. пред. выдач. \_\_\_\_\_

З ТМО Т. 5000000 З. 1225—86

29218

р. Н. С. обра-  
щений. -

29218

014















КАЗИМІРЪ ТЕТМАЙЕРЪ.

КАЗИМІРЪ ТЕТМАЙЕРЪ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

Томъ 1.

Изданіе В. М. Савлина.



84.3  
Т 37

Казимиръ  
КАЗИМИРЪ ТЕТМАЙЕРЪ.

84.47

# АНГЕЛЪ СМЕРТИ.

РОМАНЪ.

Переводъ Генриха Павловича.

Изданіе второе.

Москва.— 1911 г.

29218



ТИПОГРАФИЯ В. М. САБЛИНА.  
Петровка, домъ Обидной. Телефонъ 131-34.  
Москва. — 1911.

АНГЕЛЪ СМЕРТИ.





## I.

— Нѣтъ, ей Богу, что это за прелестная женщина, — произнесъ Тевжель, переставая напѣвать народную пѣсенку и отходя нѣсколько шаговъ отъ стѣны, на которой висѣлъ портретъ молодой дѣвушки въ темномъ платѣ.

— Ей Богу, прелестная женщина, — повторилъ онъ и отошелъ еще на шагъ. — Что за гениальная скотина этотъ Ромекъ! Написать такой портретъ! Тиціанъ не постыдился бы его, а за то, если бы Тиціану пришлось такъ лѣпить, какъ Ромекъ! Нѣтъ, ей Богу, это ультраренессансовый лобъ...

Напѣвая другой куплетъ, онъ подошелъ къ окну и, обернувшись къ портрету, сказалъ совсѣмъ серьезно:

— Послушай-ка, ты не знаешь, что такое Ромекъ, а если и знаешь, то не совсѣмъ. Красива ты — красива, но, какъ ты думаешь, лѣтъ черезъ сорокъ или пятьдесятъ кто-нибудь зналъ бы о тебѣ? Песъ бы не зналъ? А если ты станешь женою Ромека, то черезъ



сто, черезъ двѣсти, черезъ тысячу лѣтъ всѣ будутъ знать, что Марія Тыжвецкая была женою Романа Рдзавича. Повторяю тебѣ, это ультраренесансовый лобъ. Впрочемъ... Эхъ, ты не должна этого знать даже на портретѣ. Тенжель — Тенжель и больше ничего...

Насвистывая свой мотивъ, онъ сталъ ходить большими шагами по комнатѣ, а портретъ упорно провожалъ его глазами. Тенжель чувствовалъ это и снова къ нему обернулся.

— Какъ живая, какъ живая, — шепталъ онъ; — что это за геніальная голова! Что это за прелестная женщина!

И словно въ первый разъ видя это лицо, онъ сталъ всматриваться въ пышные, темнорусые волосы, падавшіе локонами на плечи; въ продолговатое личико съ матовымъ румянцемъ, съ большими миндалевидными темно-синими глазами съ золотистымъ блескомъ; въ прямой тонкій и нѣжный носъ, какъ у греческихъ статуй; въ маленькій узкій и удивительно правильный ротъ съ слегка приподнятой верхней губой и довольно короткимъ, классически круглымъ подбородкомъ. Головка эта, на прелестной шеѣ съ немного открытымъ бюстомъ, представляла удивительную смѣсь меланхолии и веселья, чего-то задорнаго и грустнаго, ребячества и задумчивости, сентиментальности и страсти, — и отъ нея вѣяло чѣмъ-то чарующимъ, непреодолимымъ.

— Чего въ ней больше, красоты или привлекательности? — бормоталъ Тенжель. — Но что эта скотина, Ромекъ не возвращается! Если бы у меня была такая



невѣста, то меня бы отъ нея ничѣмъ не оттянули, а онъ, вотъ уже двѣ недѣли, чортъ его знаетъ, гдѣ сидитъ. Захотѣлось ему выставки въ Вѣнѣ. А эта прелестъ ждетъ не дождется, обрываетъ листочки у цвѣтковъ: «пріѣдетъ, не пріѣдетъ», а его нѣтъ. А эта прелестъ... — Тутъ у Тенжеля сильно задрожалъ голосъ. Онъ вздрогнулъ. — Тьфу, къ чорту! — Тенжель взглянулъ печально въ зеркало и увидѣлъ свое квадратное, грубо вытесанное лицо съ выдающимися скулами, маленькими глазами, толстымъ носомъ, щетинистыми свѣтлыми волосами и такими же усами, увидѣлъ свои широкія плечи и, брезгливо отвернувшись, поплелся къ окну, возлѣ котораго стоялъ столикъ. На столикѣ лежало письмо въ бѣломъ квадратномъ конвертѣ.

— Это отъ нея, — шепнулъ онъ. — Чортъ возьми, вѣдь есть же счастливые люди на свѣтѣ... Но конвертъ не такой, какъ всегда...

— Тенжель! дома ты, старая обезьяна! — раздался въ это время въ дверяхъ веселый, низкій мужской голосъ, и въ нихъ показался молодой мужчина, лѣтъ двадцати шести.

— Ромекъ! — закричалъ Тенжель, подбѣгая къ входившему съ распростертыми объятіями.

— Здравствуй, Ендрекъ, — сказалъ Рдзавичъ, — ты только не дави меня, медвѣдь.

— Здоровъ, Ромекъ?

— Здоровъ. А ты какъ? Вели принести мои вещи и заплати за извозчика. А что же Марина?



И Рдзавичъ размахистымъ движеніемъ сбросилъ съ плечъ дорожную сумку и подошелъ къ стѣнѣ, противъ двери, возлѣ которой на высокомъ трехногомъ столикѣ стояла склеенная изъ картона, прикрѣпленная къ дощечкамъ, большая коробка. Рдзавичъ осторожно приподнялъ ее. Въ ней былъ спрятанъ глиняный бюстъ молодой женщины.

— Тенжель, что, похоже, а? Гдѣ ты? Аа!.. Радость моя, золото мое дорогое. Тенжель, ты здѣсь? Что, похоже?

— Ба!

— Что, «ба»? Говори: похоже?

— Что же ты спрашиваешь, коли самъ знаешь, что похоже.

— Потому что, знаешь, чертовски трудно дѣлать портретъ съ портрета. А тутъ еще лѣпить съ нарисованнаго.

— Да вѣдь ты лѣпишь ее не съ этого портрета, — отозвался Тенжель тихимъ и какимъ-то взволнованнымъ голосомъ, стараясь скрыть свое волненіе. — Ты лѣпишь ее не съ портрета, ты лѣпишь ее изъ своего сердца, потому что она — у тебя въ сердцѣ...

Рдзавичъ посмотрѣлъ на него влажными глазами.

— Тенжель, какъ ты иногда красиво говоришь, — сказалъ онъ. — Да развѣ я могъ бы иначе сдѣлать ее? Я въ три дня набросалъ портретъ и то, Богъ знаетъ, какъ, потому что я не живописецъ, я не Буонаротти, который все умѣлъ. Я бы ея никогда не вылѣпилъ, если бы она не была у меня въ сердцѣ. У меня



тамъ каждая ея черточка, каждая линія, все — что есть въ ея личикѣ. А какъ обрадуется Рыся! Какъ только эскизъ будетъ болѣе или менѣе готовъ, попрошу ее позировать до конца, а потомъ — мраморъ! Развѣ это не прекрасный свадебный подарокъ! Что, Тенжель, ты, старая обезьяна?!

И Рдзавичъ, схвативъ Тенжеля за плечи, повернулъ его нѣсколько разъ по мастерской, опрокидывая стулья, потомъ сѣлъ, запыхавшись, и сталъ говорить:

— Вотъ тебѣ Виргинія. Тенжель, понимаешь, что это за выставка! Что за нѣмцы! что за шведы! что за испанцы!

Художники понравились мнѣ гораздо больше, чѣмъ скульпторы. Говорю тебѣ...

— Послушай-ка, — перебилъ его Тенжель, — здѣсь письмо.

— Отъ кого? Что?

— Отъ кого же? Отъ пани Маріи.

— Марысь, моя золотая! Ирисъ моя! Давай! Гдѣ? А, вотъ...

И увидѣвъ письмо, онъ подбѣжалъ къ столику.

— Но что это такое, какой-то другой конвертъ. Всегда были продолговатые, блѣдно-розовые или желто-розы, — говорилъ онъ, разрывая конвертъ.

— И я обратилъ на это вниманіе.

— Теперь молчи.

— Ба! — но въ ту же минуту Тенжель сорвался со стула и почти крикнулъ: — Ромекъ, Господи, что съ тобою?



Рдзавичъ побагровѣлъ, жилы налились на лбу, раскрытыя губы стали дрожать, а шея вздулась отъ прилива крови.

— Ромекъ, что съ тобой?! — кричалъ Тенжель.

А тотъ поблѣднѣлъ, или, вѣрнѣе посинѣлъ. Онъ положилъ письмо на столъ, глухой стонъ и хрипѣніе вырвались у него изъ горла; онъ пошатнулся.

Тенжель остолбенѣлъ. Онъ смотрѣлъ на Рдзавича и видѣлъ, что грудь его поднимается все быстрѣе и тяжелѣе, какъ при сильномъ припадкѣ астмы, что глаза его становятся все неподвижнѣй, шире и какими-то блуждающими, тѣло дрожить и какъ бы вытягивается. Онъ ничего не могъ понять. Понялъ только, что съ Рдзавичемъ случилось что-то ужасное, но не могъ понять, что. Наконецъ, Рдзавичъ сказалъ: читай...

Тенжель взялъ со столика письмо и сталъ читать: «Я знаю, что причину вамъ большую неприязность, быть можетъ — страданіе. Я знаю, что чувство ваше ко мнѣ не настолько сильно, глубоко и продолжительно, какъ это вамъ кажется и какъ вы, быть можетъ, сами въ это вѣрите, но я не сомнѣваюсь, что вы не относитесь ко мнѣ равнодушно. Мнѣ самой очень больно писать это письмо. Вы знали, что въ дѣйствительности я васъ никогда не любила, я ошиблась, считая минутное увелченъе правдой, мы ошиблись оба. Я давно уже боролась съ собою и въ эти двѣ недѣли вашего отсутствія я рѣшила все. Я не люблю васъ и возвращаю вамъ слово. Вы вѣдь не захотите связывать меня. Письма и все отошлетъ вамъ моя тетка, когда вы



возвратитесь. Я уѣзжаю завтра. Если вы не можете жить безъ меня, то отравимся оба.

Марія Тыжвецкая.

27 апрѣля 1894 г.

Тенжель, прочитавъ письмо, опустилъ руки и оцѣпенѣлъ. Что-то сдавило ему горло и схватило за волосы. А потомъ въ его головѣ мелькнула, должно быть, какая-то мысль, которая показалась ему гадкой, такъ какъ онъ вдругъ отскочилъ, словно увидѣвъ змѣю, плюнулъ и шепнулъ: Тьфу! Тенжель!

А Рдзавичъ, уткнувшись лицомъ въ диванъ, лежалъ, тяжело дыша, жадно вдыхая воздухъ, котораго, казалось, ему не хватало.

— Ромекъ! — крикнулъ Тенжель не своимъ голосомъ. А Рдзавичъ не отвѣтилъ; онъ лежалъ, не шевелясь и вдыхая воздухъ. Прошла долгая минута; онъ приподнялся немного; Тенжель вздрогнулъ, взглянувъ на него. — Что же это? прошепталъ Рдзавичъ. — Что случилось?

Тенжель не зналъ, что отвѣтить. Рдзавичъ, вынувъ изъ бокового кармана портфель, досталъ изъ него письмо въ продолговатомъ блѣдно-розовомъ конвертѣ, подалъ его Тенжелю, и сказалъ: «Читай».

Тенжель сталъ читать.

«Единственный мой, любимый мой! Ты! Ты!

Я страшно рада, что Ромъ сдѣлалъ такую Діану!

Ромъ пайка, Ромъ милый, пусть онъ радуется, что я радуюсь. Приходи сейчасъ. Рыся тоскуетъ безъ своего повелителя. Цѣлую лѣвый глазокъ. Ты мой! Какое ты



далъ мнѣ наслажденье, мой геній! Неужели ты любишь меня? За что ты любишь меня? Какъ ты можешь любить меня? Неужели это правда, что меня ждетъ столько счастья? Развѣ я стою этого? Сумѣю ли я дать тебѣ счастье? Я готова на все, лишь бы ты былъ счастливъ. Я перестану существовать для тебя. Единственный мой, сокровище мое, мое все, жизнь моя! Я бы хотѣла принести для тебя какую-нибудь огромную жертву, я хотѣла бы страдать для тебя, умереть! Что бы ты ко мнѣ ни чувствовалъ, а я люблю тебя! Ты мой! Ты мой! Мой!

Весь городъ говоритъ о твоей Діанѣ. Даже тетка Пожелъская расчувствовалась. Я смѣюсь и плачу отъ счастья. Цѣлую правый глазокъ.

Не думай, что я такъ люблю тебя за то, что о тебѣ много говорятъ. Люблю, потому что люблю. Вѣдь только такая любовь чего-нибудь стоитъ? Ты самъ говорилъ такъ, правда?

Не бойся. Мы будемъ счастливы. Если женщина любить, то она разрушитъ міръ, но дастъ счастье. А я такъ люблю!

Я чувствую, что я теперь лучше, благороднѣе, умнѣе. Любовь такого человѣка, какъ ты, возвышаетъ. Я горжусь тѣмъ, что люблю тебя. Мой орелъ! Я смотрю сверху внизъ на всѣхъ другихъ дѣвушекъ. Ты избралъ меня. Ты — меня! Единственный мой!

Тебя не было уже три дня — правда, ты уѣзжалъ; зачѣмъ же ты уѣзжалъ, недобрый?! Приходи сейчасъ. Жду тебя. Твоя маленькая дѣвочка ждетъ и проситъ.



Радуется ли онъ, что увидить ее? Пускай радуется, потому что меня это радуетъ. Любить?

Во время твоего отсутствія я была въ театрѣ. Я не хотѣла идти, но меня взяли насильно. Сначала мнѣ было очень грустно, что тебя нѣтъ, но потомъ я даже была рада — рядомъ сидѣла какая-то красивая барышня, а ты, навѣрное, влюбился бы въ нее. Ты такой впечатлительный. Цѣлую твои глазки. Ты! Любить, любить, любить, любить, любить, любить

твоя невѣста Рыся.

P. S. А у нея есть кошечка.»

Тенжель положилъ письмо на столъ.

— Съ нимъ я не разставался — прошепталъ Рдзавичъ, взявъ письмо и пряча его въ портфель. — И это та же самая женщина! Какъ можно такъ оттолкнуть меня! Какъ можно! Какъ можно! Какъ можно! Марія! Рыся!

Его охватилъ плачь, который перешелъ въ судороги. Тенжель былъ въ отчаяніи. Онъ обнималъ Рдзавича, цѣловалъ его, ласкалъ и чувствовалъ, что крупныя слезы текутъ по его лицу. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ, что онъ собственно не знаетъ, что случилось, что все запутывается въ какой-то чудовищный узелъ.

Наступилъ вечеръ. Рдзавичъ успокоился и, казалось, уснулъ. Тенжель зажегъ лампу и взглянулъ на него. Онъ лежалъ навзничъ на диванѣ съ побѣлѣвшими, полуоткрытыми губами, блѣдный, какъ трупъ, и,



какъ трупъ, неподвижный. Распухшія, покраснѣвшія вѣки безпомощно опустились на глаза.

— Спать или не спать? — думалъ Тенжель.

Онъ закурилъ папирску и стукнулъ пепельницей; Рдзавичъ не шевельнулся.

— Спать, — прошепталъ онъ, положивъ папиросу, и, поддерживая голову руками, сталъ смотрѣть на спящаго.

— Спать, слава Богу! — шепнулъ онъ снова. — Бѣдный мальчикъ...

Вдругъ онъ почувствовалъ, что что-то тянетъ его въ противоположную сторону; онъ повернулъ голову — это портретъ Тыжвецкой смотрѣлъ на него своими большими темно-синими съ золотымъ блескомъ глазами.

— Что ты сдѣлала, — прошепталъ онъ, — что ты сдѣлала...

И въ его душѣ проснулся страшный гнѣвъ противъ этой женщины; ему хотѣлось броситься на ея портретъ и разорвать его въ клочки. А портретъ смотрѣлъ на него въ упоръ. Взглядъ Тенжеля остановился на этихъ смотрѣвшихъ на него глазахъ, и онъ опустилъ свои глаза. Голова его упала на грудь, а лобъ покрылся морщинами. Черезъ минуту онъ всталъ, подошелъ къ портрету, снялъ его со стѣны, и повернулъ къ ней. Потомъ снова сѣлъ у стола и, спрятавъ руки въ карманы, опустилъ голову.

— Итакъ, Марія разошлась съ Ромаломъ...

Нѣтъ, нѣтъ, даже и теперь самъ передъ собой онъ не



сознается въ этомъ... А впрочемъ что же? Что онъ? Что онъ, Теижель? Просто — Теижель... Если подло то, что онъ чувствуетъ... Вѣдь онъ не хотѣлъ этого, онъ подавлялъ въ себѣ это чувство, насколько хватало силъ. Съ этой стороны онъ чистъ. Подло было то, что онъ долженъ былъ принуждать себя не чувствовать, подавлять это въ себѣ, но ему было такъ трудно, такъ тяжело... Если было подло то, что онъ чувствовалъ прежде, то теперь это было бы еще подлѣе, въ сто разъ подлѣе. А впрочемъ, что онъ такое — Теижель? Онъ и Рдзавичъ... Тотъ — гениальный человѣкъ, а онъ, простой ремесленникъ, каменщикъ, а не художникъ, — кузнецъ... Что она сдѣлала, что она сдѣлала! Рдзавичъ можетъ поплатиться здоровьемъ... Теижель вздрогнулъ, вспомнивъ, что въ семьѣ Рдзавичей господствовало нѣкоторое предрасположеніе къ меланхоліи. Собственно, онъ мало знаетъ объ отношеніяхъ Рдзавича къ Маріи. Почти все время послѣ помолвки Рдзавича онъ просидѣлъ въ Кульчѣ, дѣлая фигуры апостоловъ для мѣстнаго костела. Рдзавичъ присылалъ только открытыя письма и то рѣдко... Теижель видѣлъ ее близко всего разъ, въ театрѣ. Рдзавичъ хотѣлъ представить его, но онъ не захотѣлъ, стѣснялся. Онъ видѣлъ изъ кресель, что въ ложѣ говорятъ о немъ, что Марія смотритъ на него и улыбается. Рдзавичъ должно быть хорошо отзывался о немъ, потому что она улыбалась привѣтливо. Теижель чувствовалъ, что онъ краснѣетъ; это злило его, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ нимъ происходило что-то странное, что-то поднимало



его грудь. Одинъ разъ встрѣтились ихъ глаза, и тогда — когда Тенжель почувствовалъ что-то, чего онъ прежде не чувствовалъ никогда, о чемъ онъ не имѣлъ понятія... И онъ испугался себя самого, испугался Рдзавича, испугался ея... На слѣдующій день послѣ спектакля Рдзавичъ принесъ ему туберозу изъ букета Маріи, посланную «другу жениха». Тенжель взялъ туберозу и не зналъ, что съ ней дѣлать? Чего же проще, какъ спрятать цвѣтокъ отъ невѣсты своего друга?.. Но... А развѣ бы онъ спряталъ этотъ цвѣтокъ, только какъ цвѣтокъ отъ невѣсты своего друга?.. Да?.. Нѣтъ!.. Это подло, подло, тысячу разъ подло и гадко, что онъ вообще можетъ думать о чемъ-нибудь подобномъ, что это смущаетъ его... Онъ хотѣлъ выбросить цвѣтокъ, но не могъ... Всю ночь онъ не спалъ, а утромъ сжегъ цвѣтокъ, а пепелъ завернулъ въ бумагу и спряталъ въ портфель. Потомъ онъ вынулъ его и спряталъ въ комодѣ между письмами изъ дому, изъ деревни. Наконецъ, послѣ полудня, онъ пошелъ къ Вислѣ и бросилъ его въ воду. Потому что можно хранить цвѣтокъ отъ невѣсты своего друга, но онъ не могъ этого сдѣлать, не долженъ былъ... И онъ не могъ? Возможно ли это? Какъ это подло! Это все было такъ недавно, всего двѣ недѣли тому назадъ. И подумать, что случилось...

Рдзавичъ вздрогнулъ; Тенжель взглянулъ на него — тотъ спалъ еще.

— Боже мой, Боже — думалъ Тенжель, — что-то будетъ? Онъ такой хрупкій и нервный. Какъ онъ вы-



держитъ это... Если бъ это былъ хоть другой человекъ... Но это страстная, дикая натура, геліогабаловская разнузданность чувствъ, сила и мощь фантазіи, и сравнительно слабый организмъ... Какъ онъ выдержитъ? А что, если не выдержитъ?.. Господи! — При этой мысли у Тенжеля все закружилось въ головѣ.

— Господи! Восемь лѣтъ они прожили почти неразлучно.

Тенжелю было тогда двадцать два года и, такъ какъ онъ поздно сталъ работать, то только копировалъ въ Академіи Художествъ классическіе образцы. Онъ лѣпилъ голову Юноны и былъ очень доволенъ своей работой. Ему казалось, что онъ работаетъ прекрасно и что копія очень похожа.

Какъ-то разъ, въ ноябрѣ, входитъ онъ въ школьный залъ и застаётъ за своей работой восемнадцатилѣтняго юнца. Довольно высокій, тонкій, смуглый, блѣдный, черные, блестящіе, волнистые волосы, орлиный носъ съ тонкими ноздрями, довольно толстыя губы, страшные, словно стальные глаза, большіе, лучистые, глубокіе. Во всей фигурѣ что-то дерзкое и свободное, что-то легкое и очень молодое.

Тенжель смотритъ на него, а онъ на глину Тенжеля. Такъ проходитъ минута; наконецъ, Тенжель увѣренно спрашиваетъ:

— Что жъ, сударь, похоже?

— Нѣтъ, сударь, не похоже, — отвѣчаетъ юнецъ.

У Тенжеля даже зачесались кулаки: — Ахъ, ты мо-



локосось! Мальчишка! — Но прежде всего онъ такъ смутился, что не нашелся, что сказать.

— Вы такъ думаете? — пробормоталъ онъ.

— Да, — отвѣтилъ мальчикъ.

— Это моя работа.

— Простите ради Бога, я не зналъ.

— Я знаю, что вы не знали. Значить, по вашему, это не похоже?

— Простите, нѣтъ.

— Гм, я думалъ, что это хорошо. Впрочемъ, можетъ быть, вы и правы.

— Видите ли, вотъ здѣсь ваша главная ошибка, — говоритъ юнецъ, и, не спрашивая, можно ли, проводить большимъ пальцемъ по щекъ Юноны. Тенжель сталъ втупикъ — что это?

Это было «coup de maître», прикосновеніе мастера.

И Тенжель сразу понялъ, что здѣсь, дѣйствительно, онъ сдѣлалъ большой промахъ.

— Правда — пробормоталъ онъ — это похоже на Юнону, какъ котъ на мальву. А кто вы?

— Я — Романъ Рздавичъ. Я записался сюда въ классъ скульптуры. Мы будемъ съ вами товарищами.

— Я — Андрей Тенжель. Вы учились уже гдѣ-нибудь?

— Очень мало и то частнымъ образомъ, такъ какъ я кончалъ гимназію. Отецъ не хотѣлъ иначе. Я потерялъ много времени...

— Этотъ дѣйствительно потерялъ много времени... — подумалъ Тенжель.



На слѣдующее утро Рдзавичъ сталъ работать возлѣ Тенжеля и трехъ другихъ товарищей. Работа горѣла у него въ рукахъ; казалось, онъ лѣпитъ глазами, только всматривается. Профессоръ Броннъ удивлялся и повторялъ: господинъ Лдзавичъ, господинъ Лдзавичъ! У васъ большой талантъ, только вотъ эта натула ваша неутомная, ой эта натула! Господинъ Лдзавичъ, господинъ Лдзавичъ!

Товарищи, конечно, злились, а Тенжель нѣмѣлъ отъ удивленія. Онъ не подходилъ къ нему, какъ ребенкомъ еще въ Костжинѣ, въ барской усадьбѣ, когда его звали молодые господа, боялся взять въ руки игрушку, чтобы не испортить ея. Ему казалось, что въ сравненіи съ этимъ смуглымъ, тонкимъ восемнадцатилѣтнимъ мальчикомъ онъ — какой-то грубый, тяжело-вѣсный мужикъ! Онъ обращался съ Рдзавичемъ, какъ съ стекляннымъ предметомъ. Всѣ въ школѣ были на «ты» съ Рдзавичемъ, Тенжель былъ съ нимъ всегда на «вы».

— Я такой же скульпторъ, какъ собака — музыкантъ, — думалъ онъ, — но этотъ... — И онъ дѣлался все застѣнчивѣй и застѣнчивѣй по отношенію къ Рдзавичу.

Прошло около двухъ мѣсяцевъ, а отношенія между ними ни чуть не стали ближе, несмотря на то, что они ежедневно работали другъ возлѣ друга. Тенжель былъ застѣнчивъ, а Рдзавичъ вообще не сближался съ товарищами.

— Онъ смотритъ на насъ, какъ галка на пастернакъ,



но онъ имѣеть на это право, — думалъ Тенжель. Но однажды къ нему подошелъ Рдзавичъ и сказалъ: — Палъ Тенжель, у меня къ вамъ большая просьба.

— Чѣмъ могу служить? — спросилъ Тенжель, чувствуя, что краснѣеть, какъ передъ барышней.

— Видите ли, отецъ прислалъ мнѣ немного денегъ, и я купилъ себѣ небольшой кусокъ мрамора; я хочу изъ него кое-что высѣчь, но не могу обтесать его одинъ, не поможете ли вы мнѣ? Кусокъ небольшой, фута полтора.

— Отчего же, съ большимъ удовольствіемъ. Когда притти къ вамъ?

— Когда хотите. Хотя хорошо было бы начать сегодня послѣ обѣда. У васъ есть время?

— Хорошо. Есть. А можно ли васъ спросить, что вы думаете сдѣлать? высѣчь?

— Ангела жизни.

— Ангела жизни? Что же это такое?

— Видите ли, я хочу сдѣлать что-то рвущееся вверхъ, *vers le ciel*. Я хочу сдѣлать что-то. — Тутъ онъ пересталъ говорить, взялъ кусокъ угля со стола и сталъ рисовать на стѣнѣ. Подъ его рукой съ неизменною быстротой выростали формы крылатой фигуры *en face*. Крылья были распростерты и подняты вверхъ, словно вся фигура и шла и рвалась улетѣть. Нѣсколькими штрихами онъ придалъ лицу ангела выраженіе юношеской силы, порыва, восторженности и чего-то лучистаго. Это, дѣйствительно, была Жизнь...

Тенжель остолбенѣлъ.



— Видите ли, — говорилъ Рдзавичъ, положивъ уголь на столъ, — я хотѣлъ бы сдѣлать что-то такое, что зоветъ за собой мiръ, людей, и несетъ куда-то въ пространство, въ даль, впередъ. Что-то, что кипитъ здоровьемъ, брыжжетъ свѣжестью; когда смѣется — дрожать рощи, позоветъ къ себѣ — тронутся скалы. Я хотѣлъ бы сдѣлать что-то, въ чемъ можно было бы почувствовать зелень луговъ, сіяніе солища, лазурь весны, что-то, что производило бы впечатлѣніе, что съ нимъ потоки рвутся вверхъ, что съ нимъ подымется океанъ. Что-то, понимаете ли вы, что-то такое, что бы казалось, что изъ его глазъ сыплются цвѣты и молніи, которыя играютъ на небѣ. Что-то... Понимаете?

— Понимаю.

— А вы мнѣ можете обтесать?

— Помогу.

— Ну, такъ приходите ко мнѣ. Вотъ мой адресъ.

— Хорошо. Приду сейчасъ послѣ обѣда.

— До свиданія.

— До свиданія.

И они стали работать. Тенжель помогъ Рдзавичу обтесать мраморъ, а онъ началъ лѣпить изъ глины своего Ангела Жизни. Но это оказалось гораздо труднѣе, чѣмъ Рдзавичъ думалъ.

— Не идетъ? — сказалъ разъ Тенжель, останавливаясь передъ глиняной массой на пьедесталѣ.

— Не идетъ! — грустно отвѣтилъ Рдзавичъ.

— Знаете что, не лучше ли отложить это до того





другое, вся остальная жизнь, только средство утолить эту страсть.

— Искусство? Слава? — говорилъ онъ Тенжелю. — Все это сказочная глупость. Если я хочу быть знаменитымъ, то только оттого, что женщины, какъ ночныя бабочки, изъ десяти свѣчей выбираютъ ту, которая горитъ свѣтлѣе другихъ. Поэтому я хочу быть знаменитостью.

— Но такая жизнь истощаетъ, — ворчалъ Тенжель; — у каждаго есть обязанности относительно самого себя.

— Я знаю только одну: искать наслажденій тамъ, гдѣ ихъ можно найти, искать какой-угодно цѣной, лишь бы найти. Скажи мнѣ, какой смыслъ жизни, какъ не пользованіе ею? Все остальное глупость. Дѣлать то, что хочется. Тебѣ пріятно лѣпить только для того, чтобъ лѣпить? Лѣпи. Если бы тебѣ доставляло удовольствіе весь день тереть морковь или пересыпать песокъ изъ горшка въ горшокъ: три и пересынай. А твоя слава? Что такое слава? Забота о мнѣніи другихъ? Что оно мнѣ? Что мнѣ другіе, какое имъ дѣло до меня, если мнѣ нѣтъ дѣла до нихъ!

— Но ты ихъ интересуешь, — уговаривалъ Тенжель.

— Интересно — чѣмъ?

— У тебя талантъ!

— Ага, это значить: намъ нужно куклу, чтобы поиграть. Pfiui, Teufel! Впрочемъ, оставь меня! Я и такъ скоро провалюсь къ чертямъ.

— Ты самъ хочешь этого.



— Вѣдь такъ жить долго нельзя...

— Видишь...

— Ничего не вижу, мнѣ только хотѣлось бы передъ этимъ сдѣлать что-нибудь...

— А сколько бы ты уже сдѣлалъ до сихъ поръ, если бъ хотѣлъ!

— Но не сдѣлалъ... такъ что жъ!

— Не жалко тебѣ? Вѣдь ты пропадаешь. Кѣмъ бы ты уже могъ быть!

— Не бойся, буду еще. Не бойся, я знаю, что я еще буду великимъ скульпторомъ...

— Э, ты только такъ говоришь.

— Впрочемъ, я могу и ничѣмъ не быть, къ чорту все!

Тенжель былъ въ отчаяніи. Годъ шелъ за годомъ, а Рдзавичъ, въ погонѣ за женщинами, почти совсѣмъ не работалъ и существовалъ еще въ качествѣ скульптора только благодаря своему необычайному таланту. Ангелъ Жизни и всѣ другіе проекты были заброшены, онъ лѣпилъ только небольшія статуетки для продажи, лишь бы жить. Онъ работалъ для лавокъ, лѣпилъ Флоръ, Амурчиковъ и Бисмарковъ, посылая время отъ времени кое-что на выставку. Критики не отказывали ему въ талантѣ, но ожидали отъ него гораздо большаго. Тенжель зналъ, что Рдзавичъ въ дѣйствительности могъ дать, и рвалъ на себѣ волосы.

Наконецъ, съ разстроенными нервами, слабого, почти на порогѣ развитія наследственной душевной болѣзни, привезъ онъ Рдзавича, послѣ пятилѣтняго пребыванія за границей, на родину.



времени, когда вы будете больше знать. Вы взялись слишком рано за композицію.

— Мнѣ тоже кажется, что я слишкомъ мало знаю.

— Вѣдь мы только копируемъ классиковъ, а вы хотите уже творить.

— А вѣдь Микель Анжело, вы знаете, сдѣлалъ въ шестнадцать лѣтъ такую статую, что всѣ думали, что это антикъ.

— Это вѣрно, но видите ли...

— О, нѣтъ, по моему, *aut Caesar, aut nihil*, — проговорилъ живо Рдзавичъ. И снова сталъ онъ лѣпить, по все не шло!

А Тенжель напѣвалъ:

Достану я ее, достану,  
Сами приведутъ;  
Но надо подождать,  
Надо подождать.

За это время они очень подружились. Они быстро перешли на «ты». Рдзавичъ импонировалъ Тенжелю своей интеллигентностью, образованіемъ, талантомъ, происхожденіемъ, связями, подкупалъ его своей впечатлительностью, нервностью, чаровалъ его своимъ воображеніемъ. И, въ свою очередь, грубая, открытая, но удивительная честность, сильный и ясный мужицкій умъ Тенжеля привязывали къ нему Рдзавича.

Дружбу ихъ скрѣпили нѣсколькими лѣтъ совместной жизни въ Мюнхенѣ, при разныхъ условіяхъ, и, наконецъ, то, что, послѣ смерти отца, Рдзавичъ оказался



такимъ же бѣднякомъ, какъ Тенжель, даже бѣднѣе его, такъ какъ на долю Тенжеля приходилось въ Костжинѣ двѣ слишкомъ десятины земли, а у Рдзавича не было ничего. У Тенжеля, кромѣ того, были родители, братья, сестры и много близкихъ родственниковъ. А у Рдзавича, мать котораго умерла за нѣсколько лѣтъ до смерти отца, не было близкихъ. Съ дальней родней, за исключеніемъ троюроднаго брата Пшервица, поэта, онъ не поддерживалъ почти никакихъ отношеній. Тенжель чувствовалъ себя не только другомъ, но какъ бы старшимъ его братомъ и опекуномъ, который былъ на четыре года старше молодого человѣка. Взятая на себя Тенжелемъ опека была не легка. Рдзавичъ унаслѣдовалъ отъ бабки своей, испанки, привезенной въ Польшу во время наполеоновскихъ войнъ, романскую страсть къ наслажденіямъ жизни и свойственныя романскимъ народностямъ чувственность и страстность. При его довольно слабомъ здоровьѣ было довольно рисковано давать волю такому темпераменту, и Тенжель боялся за своего друга. А Рдзавичъ не зналъ границъ. Его просто охватило безуміе; не оглядываясь, летѣлъ онъ въ пропасть. Тенжель съ отчаяніемъ сталъ замѣчать, что воображеніе Рдзавича бѣднѣетъ, честолюбіе замираетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ бѣднѣютъ и замираютъ всѣ благородныя инстинкты. Страсть къ жизни, грубой жизни, стала становиться въ немъ самымъ сильнымъ стремленіемъ, убивая всѣ другія. Казалось, онъ живетъ только для того, чтобы искать и находить, что страсть — его главный двигатель, а все



Здѣсь жили они уже второй годъ. Рдзавичъ успокоился немного, главнымъ образомъ, благодаря переменѣ условій жизни, сталъ больше работать и выставилъ гипсовую Діану въ половину натуральной величины, которая сразу дала ему извѣстность. Тенжель, почти успокоенный, уѣхалъ въ Кульчу высѣкать апостоловъ въ мѣстный костель. Черезъ нѣсколько недѣль онъ получилъ отъ Рдзавича письмо, что тотъ уѣзжаетъ въ Кленжъ, подѣ Люблиномъ, лѣпить портретъ какой-то пани Стжелиской, богатой старушки. А потомъ, черезъ нѣсколько дней — записку: «*Viex singe!* Есть здѣсь панна, Марія Тыжвецкая, *en trois quarts* — чудо, въ профиль — заглядѣнье, *en face* — ангель!» Писалъ онъ также о томъ, что тамъ живетъ внучка пани Стжелиской, Ядвига, очень оригинальная, образованная и странная дѣвушка съ такими смѣлыми и отчаянными понятіями, что подчасъ кажется, будто она не совѣмъ въ своемъ умѣ. Кажется, что она довольно «того», да что она ему по сравненію съ Маріей! О Маріи писалъ онъ только, что она ребенкомъ осталась круглой сиротой, что она довольно богата, что ея опекунъ — панъ Стжелискій, но, собственно говоря, у нея нѣтъ никакого опекуна, такъ какъ панъ Стжелискій ни во что не вмѣшивается и только, какъ увѣряетъ его дочь, прекрасно управляетъ своимъ и Маріи имѣніемъ. Дочь говоритъ о немъ, что «отецъ такъ добръ, что его смѣло можно въ ротъ положить».

Нѣсколько недѣль спустя, Рдзавичъ въ лаконическихъ выраженіяхъ сообщилъ, что панна Тыжвецкая —



его невѣста, что онъ совсѣмъ измѣняетъ образъ жизни и снова возьмется за своего Ангела Жизни, такъ какъ теперь онъ хочетъ быть знаменитымъ. Тенжель, прочитавъ это, чуть не расплакался отъ радости. И вотъ прошло только нѣсколько недѣль, онъ въ глубинѣ души чувствуетъ себя подлецомъ, а Рдзавичъ лежитъ блѣдный, какъ трутъ, съ впавшими, синими вѣками, быть можетъ, накаяунѣ сумасшествія. И все это сдѣлала эта женщина съ чудными темно-синими глазами съ золотистымъ блескомъ, портретъ которой онъ только что повернулъ къ стѣнѣ, чтобы чувствовать себя не такимъ подлымъ и слабымъ.

Рдзавичъ спалъ уже съ часъ; смерклося. Въ мастерскую черезъ большое окно лился свѣтъ мѣсяца. Тенжель сталъ смотрѣть на Ангела Жизни.

Послѣ восьмилѣтняго перерыва и громадной траты времени, Рдзавичъ вернулся къ своей прежней темѣ. Онъ совсѣмъ не измѣнилъ своей идеи, взялъ только большій размѣръ, почти въ натуральную величину. Статуя была почти кончена, и черты ангела, хоть и мужскія, живо напоминали черты Маріи. Статуя была великолѣпна!

— Это шедевръ, — думалъ Тенжель. — Ей-Богу, шедевръ; мнѣ съ моимъ талантомъ такъ далеко до Рдзавича, какъ собакѣ до красильнаго ремесла. Ну, пусть его... что случилось, то случилось... Когда онъ выставитъ это, посыплется вѣнки, деньги, отуманитъ его это, забудетъ. Знаю, что онъ сейчасъ возьмется за другую работу. Странно, когда я смотрѣлъ на него,



сердце мое сжималось, и мнѣ казалось, что все кончено, а какъ посмотрю на его работу, мнѣ почти весело. Вотъ что значить искусство! Да! И такое искусство! Этотъ ангелъ такъ полонъ жизни, что въ меня входитъ жизнь. Когда смотришь на него, что-то поднимаетъ тебя вверхъ, какъ говоритъ Рдзавичъ. Что за выраженье! Что за сила! Эти крылья почти шумятъ... Въ этомъ стремленіи есть что-то, какъ будто рѣка впервые вышла изъ источниковъ. Этотъ ангелъ...

Но тутъ Тенжель услышалъ за собою шелестъ, онъ обернулся: Рдзавичъ открылъ глаза и шевельнулся. Они посмотрѣли другъ на друга. У Тенжеля снова заняло сердце и снова онъ не зналъ, что дѣлать — заговорить ли или молчать?

— Ты спалъ? — спросилъ онъ.

— Спалъ, — отвѣтилъ Рдзавичъ довольно громко. — Спалъ. Больше не могу... Больше... — И снова онъ опустилъ голову. Тенжель смотрѣлъ на него и чувствовалъ, что глаза его полны слезъ. Наконецъ, Рдзавичъ сказалъ слабымъ, сдавленнымъ голосомъ:

— Что же теперь будетъ?

Тенжель не зналъ, что ему отвѣтить.

— Что же теперь будетъ? — повторилъ Рдзавичъ, и въ голосѣ его было столько страданія и боли, что Тенжель почувствовалъ, какъ судорога сжала ему горло. Что же онъ могъ отвѣтить ему?

Рдзавичъ смотрѣлъ тупымъ взглядомъ. Казалось, что-то замерло въ немъ. Вдругъ онъ вскочилъ съ дивана, сѣлъ и крикнулъ.



— Нельзя такъ! нельзя такъ! Нельзя позволить за-  
рѣзать себя. Я пойду къ ней. Сейчасъ, сію минуту!  
Другого другая могла бы оттолкнуть, но не меня — она!  
Который часъ? Этого не можетъ быть... Это было минут-  
ное безуміе, какой-то страшный капризь... Я пойду  
къ ней...

— Да вѣдь ея уже нѣтъ здѣсь, — перебилъ Тен-  
жель. — Письмо написано три дня тому назадъ, и она  
пишетъ, что завтра уѣзжаетъ.

— Покажи.

Тенжель подалъ ему письмо.

— Правда.. Но нѣтъ, нѣтъ, я ручаюсь, что она  
здѣсь... Я приходилъ позднѣе. Я пойду къ ней. Это  
ничего, что поздно. Это безумный капризь. Я ручаюсь,  
что она здѣсь... Впрочемъ, не все ли равно?

Онъ сорвался съ мѣста, съ лихорадочной поспѣши-  
мостью переодѣлся и набросилъ пальто.

— Итти съ тобой? — спросилъ Тенжель.

— Поѣдемъ.

Всю дорогу они не сказали другъ другу ни слова.  
Минутная горячность Рдзавича, видимо, прошла, онъ  
грызъ ручку палки. Тенжель сидѣлъ, согнувшись, по-  
ложивъ обѣ руки между колѣнъ.

У воротъ сидѣлъ дворникъ. Онъ зналъ Рдзавича, ко-  
торому не разъ отворялъ ворота, и поклонился ему.

— Паина Тыжвѣцкая уѣхала? — спросилъ Рдзавичъ.

— Уѣхала, баринъ.

— Вы знаете навѣрно? — спрашивалъ онъ, стараясь  
говорить спокойно.



— Я самъ выносилъ вещи.

— Когда она уѣхала?

— Третьяго дня утромъ.

— Барышня уѣхала одна?

— Барыня отвозила барышню, но вчера уже возвратилась.

— Не знаете, куда уѣхала барышня?

— Не знаю, баринъ.

— Подождите... сейчасъ...

Онъ вынулъ визитную карточку изъ портфеля и сталъ быстро писать :

«Ея высокоблагородію пани Юліи Пожелъской. Извините меня, милостивая государыня, что я осмѣливаюсь писать вамъ такъ поздно и въ такой формѣ; но я только что пріѣхалъ, а такъ какъ дворникъ говоритъ, что невѣста моя уѣхала, то мнѣ очень хотѣлось бы знать ея адресъ; надѣюсь, вы не откажете мнѣ дать его. Я не захожу къ вамъ въ виду поздняго часа».

— Отнесите это наверхъ и подождите отвѣта.

Тенжель стоялъ у воротъ, опираясь на палку, Рдзавичъ прошелъ нѣсколько шаговъ по тротуару. Черезъ минуту дворникъ возвратился.

— Есть отвѣтъ?

— Есть, баринъ.

— Хорошо. Вотъ вамъ на водку.

Дрожащей рукой разорвалъ онъ ковертъ и сталъ при свѣтѣ фонаря читать въ полголоса :

«Милостивый Государь! Племянница моя, уѣзжая,



не уполномочила меня дать вамъ ея адресъ, но сказала мнѣ, что возвращаетъ вамъ слово и что увѣдомила васъ объ этомъ письмомъ; я удивляюсь, что вы еще называете мою племянницу своей невѣстой. Письма ваши, оставленные Марыней у меня, вы можете получить, отославъ ея письма ко мнѣ. Уважающая васъ  
Юлія Пожелъская».

Рдзавичъ застоналъ.

— Ромекъ, Ромекъ, — шепталъ Тенжель, хватая его за руку, — Ромекъ, что ты хочешь сдѣлать? Опомнись.

— Теперь я вижу, что это не шутка, это правда! — сказалъ Рдзавичъ.

Они шли бессмысленно впередъ, изъ улицы въ улицу, съ площади на площадь, не говоря ни слова. Тенжель время отъ времени поглядывалъ на Рдзавича, тотъ шелъ совершенно автоматически, уставившись глазами въ землю, никого не видя и только инстинктивно не наталкиваясь на прохожихъ .

— Забылся, — думалъ Тенжель. Кромѣ чувства огромнаго состраданія, которое онъ ощущалъ къ Рдзавичу, ему все приходило въ голову, что Рдзавичъ послѣ пріѣзда ничего не ѣлъ и что онъ, по всей вѣроятности, голоденъ. Немного спустя его больше озабочивало то, что Рдзавичъ голоденъ, чѣмъ все случившееся. Онъ собрался съ духомъ и сказалъ:

— Ты не ѣлъ ничего. Пойдемъ куда-нибудь.

— Хорошо, пойдемъ.

— Куда ты хочешь?



— Куда-нибудь. Миѣ все равно.

Они сидѣли уже нѣсколько минутъ въ кабинетѣ ресторана, и Тенжель боялся говорить съ Рдзавичемъ, даже взглянуть на него. Онъ велѣлъ принести кушанье и вино.

— Какое подать, Ромекъ? — спросилъ онъ тихо.

— Миѣ все равно. Вели принести бутылку шампанскаго.

— Хорошо.

Тенжель уткнулъ глаза въ тарелку и слышалъ, что Рдзавичъ быстро стучитъ ногой по полу и барабанитъ пальцами по столу. Онъ взглянулъ на него. Рдзавичъ былъ блѣденъ, и на лицѣ у него выступили странныя, пунцовыя пятна; губы ссохлись и нѣсколько втянулись, отчего отъ угловъ рта до подбородка выступили двѣ неестественныя морщины; брови то быстро стягивались надъ глазами, то поднимались вверхъ и снова стягивались. Онъ смотрѣлъ въ одну точку и, казалось, ничего не видѣлъ.

Принесли ужинъ. Тенжель почти не ѣлъ. Рдзавичъ зато ѣлъ много и быстро, какъ бы не сознавая, что дѣлаетъ; пилъ онъ тоже много, и вскорѣ бутылка была пуста.

— Вели подать другую, — сказалъ онъ.

— Но...

— Что за «но», я пить хочу.

— Не то, только...

— Нѣтъ денегъ?

— Нѣтъ...



— А сколько у тебя?

— У меня всего семь рублей съ копейками. А у тебя?

— У меня всего четыре рубля. Только послѣзавтра изъ Общества выдадутъ деньги.

— А насъ здѣсь даже не знаютъ.

Рдзавичъ нервно засмѣялся и крикнулъ:

— Человѣкъ!

Вошелъ лакей.

— Послушай, мы забыли деньги. Эта цѣпочка стоитъ болѣе тридцати пяти рублей. Подай сюда три бутылки шампанскаго. Подашь?

— Слушаю, ваше сіятельство.

Когда принесли шампанское, Рдзавичъ налилъ себѣ и Тенжелю бокаль и крикнулъ:

— Послушай, Тенжель, пей за наше здоровье!

— Чье?

— Мое и Маріи. Пей.

Тенжель не хотѣлъ его раздражать; выпили.

— А теперь дальше. Выпьемъ за здоровье ея будущаго мужа.

— Ромекъ...

— Пей! Пей, разъ тебѣ говорятъ! А теперь, Тенжель, выпьемъ за здоровье ея дѣтей. Да здравствуютъ ея дѣти! А теперь, Тенжель, выпьемъ за здоровье ея семьи! Ура, тетка Пожелъская, всѣ бабушки, дядья! Evviva!

— Ромекъ...

— А теперь, Тенжель, да здравствуетъ будущій ея



любовникъ! Да здравствуетъ тотъ, съ которымъ она...  
вышла?

— Нѣтъ.

— Пей! Пей!

— Ромекъ...

Тутъ Рдзавичъ ударилъ бокаломъ по столу, потомъ бросилъ три полныя бутылки на полъ и упалъ лицомъ на руки, страшно зарыдавъ. Подался впередъ на стулъ словно въ судорогахъ и грохнулся на землю безъ сознанія. Тенжель подскочилъ къ нему. Онъ упалъ на спину, пѣна показалась у него на губахъ. Тенжель испугался. Онъ подбѣжалъ къ дверямъ, сталъ звать на помощь и тутъ же встрѣтилъ проходившаго мимо Пшервица.

— Богъ васъ прислалъ, — воскликнулъ онъ. — Онъ тамъ въ кабинетѣ, заболѣлъ.

— Заболѣлъ? Что съ нимъ? — спросилъ Пшервицъ, обезпокоенный тѣмъ, что Тенжель похожъ былъ на мертвеца.

— Онъ внезапно заболѣлъ. Я хочу послать за извозчикомъ, отвезти его домой.

— Но все же, что съ нимъ?

— Право, не знаю... это случилось такъ внезапно...

Пшервицъ ужаснулся, войдя въ кабинетъ: Рдзавичъ лежалъ на спинѣ съ открытымъ ртомъ, съ пѣною на губахъ, въ совершенномъ безпамятствѣ.

Съ помощью людей Рдзавича вынесли и уложили на извозчика, Пшервицъ поѣхалъ съ нимъ.



— Лаура будетъ безпокоиться, но что жь дѣлать. Не могу же я васъ такъ оставить.

Подъ вліяніемъ холоднаго ночного воздуха Рдзавичъ очнулся. Онъ шевельнулся, открылъ глаза, и, чувствуя возлѣ себя кого-то третьяго, спросилъ:

— Тенжель, кто здѣсь?

— Панъ Пшервиць.

— Это хорошо. Юрій, ты знаешь, что случилось?

— Догадываюсь.

Замолчали. Рдзавичъ первый сошелъ съ извозчика и быстро пошелъ въ мастерскую.

Онъ сѣлъ на диванъ, поникъ головою и сказалъ, какъ бы про себя.

— Какъ я буду жить? Какъ я буду жить?

Пшервиць положилъ ему руку на плечо. Тенжель засунулъ пальцы въ волосы, закрылъ лицо и молчалъ.

— Какъ я буду дальше жить, какъ я буду жить?— повторялъ Рдзавичъ страшно грустнымъ, беззвучнымъ голосомъ.

— Что я стану теперь дѣлать? — говорилъ онъ. — Что я стану теперь дѣлать? Я только теперь чувствую, что случилось. До сихъ поръ все мутилось во мнѣ, теперь только я вижу ясно... Что я теперь стану дѣлать?

— Ромъ, бойся Бога! — застоналъ Тенжель.

— Такъ ее потерять, такъ ее потерять, — говорилъ Рдзавичъ беззвучнымъ, надорваннымъ голосомъ. — Такъ ее потерять... Я такъ любилъ эту дѣвушку... Она была для меня всѣмъ, моею жизнью, міромъ моимъ... Что у меня, кромѣ нея? Такъ ее потерять...



Онъ опустилъ голову на руки. Тенжель не открывалъ лица. Пшервицъ машинально водилъ ручкой пера по столу.

— Вы не знаете, какая она была, — продолжалъ Рдзавичъ, — она была такая добрая, такая милая, такая прекрасная.. И потерять ее навсегда, навѣки, на всю вѣчность... Юрій, ты думаешь, что она не вернется?

— Кто знаетъ, — сказалъ Пшервицъ. — Вѣдь мы съ Лаурой разошлись тоже на полтора года, а теперь она снова со мной.

— Да, но Марія не вернется ко мнѣ, не вернется... Ты знаешь, что она не вернется... Это уже пропало навсегда, навѣки пропало...

Тенжель сжалъ пальцы въ волосахъ.

— Зачѣмъ я познакомился съ нею?—говорилъ Рдзавичъ. — Я долженъ былъ многое вынести, много неприятностей, щелчковъ самолюбію, — но я думалъ: это все ничего, я вынесу во сто разъ больше, лишь бы она была моею. Пропастъ даже, но для нея... Да и теперь мнѣ не жаль... если я пропаду, то изъ-за нея, изъ-за моей Маріи...

— Не пропадешь, — перебилъ его Пшервицъ. — И мнѣ такъ казалось. Я думалъ, что сойду съ ума, не было у меня никакой надежды, меня грызла боль и грусть, а все-таки я вытерпѣлъ. Прошло.

— Я не вытерплю. Ты сильнѣе меня. Я чувствую въ себѣ уже смерть.



— Ромекъ, побойся Бога! — застоналъ снова Теи-  
жель.

Рдзавичъ легъ на диванѣ и положилъ руку подъ голову. Глаза его смотрѣли въ потолокъ, но, казалось, что онъ смотритъ внутрь себя. Онъ сталъ говорить:

— Четыре мѣсяца мы были женихомъ и невѣстой... Марія была уже въ Кленжѣ, когда я пріѣхалъ. Когда я ее увидѣлъ, мнѣ показалось, что солнце вошло мнѣ въ грудь. Мнѣ стало вдругъ свѣтло, словно пламя пробѣжало по мнѣ отъ головы до ногъ... А потомъ вдругъ у меня въ глазахъ потемнѣло и весь я задрожалъ. Марія это замѣтила. Между нами съ перваго раза уже было что-то странное, необыкновенное... Съ первой минуты... и теперь, вы видите... Можно-ли этому повѣрить... Какъ можно было... — У него не хватило голоса, онъ замолкъ, но немного спустя, словно не могъ удержаться, снова сталъ говорить:

— Ядвига Стжелиская оказывала мнѣ столько вниманія, что сначала это должно было насъ нѣсколько отдалять. Впрочемъ, я, ницїй и безъ имени, чувствовалъ себя въ этомъ домѣ неловко и боялся, что меня съ первыхъ же шаговъ осадятъ. Чѣмъ былъ я въ сравненіи съ этими людьми, у которыхъ были дворцы, лакеи, экипажи и кареты? Однажды случилось вотъ что. Сидѣли мы всѣ втроемъ внизу въ гостиной. Была зимняя ночь. Снѣжное поле сіяло голубымъ, серебристымъ свѣтомъ отъ лучей мѣсяца, вдали чернѣлъ лѣсъ. Я увидалъ въ окно лисицу, она вышла изъ лѣсу и остановилась. Ядвига принесла стараго вина, мы вы-



пили немного. Вино, ночь, громадное бѣлое пространство заставили меня размечтаться. Марія сидѣла возлѣ меня на козеткѣ, Ядвига Стжелиская вся ушла въ большое старинное кресло. Я говорилъ. Я былъ въ странномъ настроеніи, я чувствовалъ не такъ, какъ всегда. Я говорилъ о моемъ дѣтствѣ, о моемъ прошломъ, о моихъ прежнихъ трудахъ и проектахъ на будущее. Я говорилъ все: сколько перенесъ я бѣдъ, разочарованій. Я имъ рассказывалъ о томъ, какъ въ Мюнхенѣ, выскакивая изъ конки, я потерялъ подошву, а не на что было нанять извозчика. Пришлось идти домой, шлепая оторванной подошвой. Тогда случилось что-то странное. Ядвига Стжелиская встала и быстро выбѣжала изъ комнаты, мы остались одни. Я наклонилъ голову къ ея плечу, она позволила. Я взглянулъ на Марію: она покраснѣла, въ глазахъ у нея свѣтились какіе-то странные огоньки. Она смотрѣла въ пространство. Я наклонилъ голову къ ея плечу: не отодвинулась. Со мной случилось что-то такое, словно меня обнимала сладкая смерть. Голова моя упала ей на плечо, я взялъ обѣ ея руки, цѣловалъ кончики ея пальцевъ. Потомъ, я ужъ не помню, какъ это случилось, я обнялъ ее лѣвою рукой и крѣпко прижалъ къ груди. Она не защищалась, грудь ея быстро и тяжело дышала. Я цѣловалъ ее въ лобъ, въ губы... Тутъ вошла Стжелиская съ заплаканными глазами. Она взглянула на насъ, поблѣднѣла, остановилась на минуту въ нерѣшимости, потомъ взяла наши руки, соединила ихъ другъ съ другомъ и немного подержала въ своихъ рукахъ.



Мы почему-то встали и перешли въ сосѣдную комнату, въ которой не было лампы, и свѣта было столько, сколько давала лампа изъ гостиной и луна. Марія сѣла на большомъ креслѣ старухи Стжелиской, я сѣлъ возлѣ нея на табуреткѣ, Ядвига на подушкѣ, на полу. Мы ничего не говорили. Я обнялъ Марію, словно она была уже моею. Другую руку положилъ я на спинкѣ стула, стоявшаго возлѣ. Вдругъ я почувствовалъ, что Ядвига цѣлуетъ мой большой палецъ, а потомъ говоритъ: «вы такъ умны, а ищите далеко, не видя, что у васъ подъ рукой». Я сдѣлалъ видъ, что ничего не чувствую, — и право не знаю, что она думала.

— Странная барышня, — сказалъ Пшервицъ.

— Мы просидѣли такъ до половины четвертаго утра. Я чувствовалъ, что отданъ на вѣки Маріи и что она уже какъ бы моя... Это была дивная ночь...

Потомъ мы съ ней были, какъ женихъ съ невѣстою, хотя, кромѣ насъ троицъ, никто объ этомъ не зналъ. Ядвига заботилась о насъ. Нѣсколько недѣль промелькнули, какъ сонъ. Между нами все-таки не все было договорено до конца. Я прямо боялся. Мнѣ казалось чѣмъ-то неслыханнымъ, что я женюсь на такой дѣвушкѣ, какъ Марія, молодой, прелестной, богатой.

И, можетъ быть, все бы прошло, какъ сонъ, такъ какъ и Марія, казалось, словно боялась иной разъ и жалѣла. Ей все это должно было казаться чѣмъ-то неожиданнымъ, опьяняющимъ — и я знаю, что это такъ и было. Случилось, что я разъ простудился; думали, что я заболѣлъ тифомъ. Я думалъ, что умру,



и хоть мнѣ жаль было жизни, теперь особенно, и хотя смерть представлялась мнѣ чѣмъ-то ужаснымъ, но я думалъ, что теперь, пожалуй, я согласенъ умереть, при ней. На время болѣзни я былъ помѣщенъ въ отдѣльномъ домикѣ въ саду, чтобъ мнѣ было покойнѣе и всѣмъ безопаснѣе на случай заразной болѣзни. Болѣлъ я недѣлю.

Ядвига приходила и сидѣла при мнѣ по цѣлымъ часамъ. Марія присылала мнѣ цвѣты и писала письма. Такъ сладко писала... Въ ней столько очаровательно-дѣтскаго... Я не знаю, чѣмъ я былъ боленъ, кажется лихорадкой. Когда я снова явился во дворецъ, блѣдный, худой, мы остались одни въ столовой. Марія грустно посмотрѣла на меня, потомъ улыбнулась и сказала, что ей снилось, будто она вышла изъ дому и встрѣтила людей, которые несли гробъ черезъ садъ по направленію къ домику, въ которомъ я болѣлъ. Она спросила ихъ, куда они идутъ и для кого этотъ гробъ? Они отвѣтили, что я очень боленъ и что несутъ его мнѣ. Тогда она пошла за ними и вошла въ мою комнату. Она увидѣла, что я лежу на спинѣ, съ головой, откинутой назадъ, съ закрытыми глазами, блѣдный, почти зеленый. Возлѣ кровати стояли ея дядя, бабушка, Ядвига и много незнакомыхъ ей людей. Всѣ взглянули на нее. Она подошла къ кровати и наклонилась надо мною. Я сталъ тогда открывать глаза и зашевелился, какъ-бы оживая подъ вліяніемъ ея дыханія... Я это все отлично помню и повторяю вамъ слово въ слово, какъ она говорила.



Я взялъ ее за руки и сказалъ ей: «можетъ быть, я буду такъ на яву умирать и вы меня воскресите» — но вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ стало отчего то грустно и морозъ прошелъ по кожѣ. Тутъ же вошла въ комнату Ядвига, взглянула на насъ, смотрѣла долго и сказала намъ: «вы любите другъ друга, такъ вѣнчайтесь» — и ушла.

Я сжалъ крѣпче руки Маріи и спросилъ ее: «хочешь быть моею?» Она прижалась ко мнѣ всѣмъ тѣломъ и шепнула: «Возьми меня...»

Рдзавичъ умолкъ, голосъ оборвался у него въ горлѣ, его стали душить рыданія. Пшервицъ сидѣлъ съ опущеной головой. Тенжель прижималъ глаза кулаками. Потомъ Рдзавичъ снова сталъ рассказывать:

— Это было наше обрученіе. Кольцами мы не обмѣнялись. Мы рѣшили до времени сохранить тайну. Но это было слишкомъ трудно. Ядвига рассказала отцу и бабушкѣ. Оба они очень удивились и какъ бы испугались, но въ общемъ не имѣли ничего противъ. Они совѣтовали только немного подождать, пока у меня не будетъ какихъ-нибудь опредѣленнымъ доходовъ, чтобы не говорили, что я женюсь на деньгахъ. Я и самъ не хотѣлъ иначе. Все казалось такимъ легкимъ, такимъ солнечнымъ. Во мнѣ что-то измѣнилось, что-то ожило. Знакомые, когда я пріѣхалъ въ Варшаву, не узнавали меня. Я самъ чувствовалъ, что во мнѣ бьется другое сердце, что я сталъ лучше, свѣтлѣе, благороднѣе, что я люблю міръ... У меня бывали чудныя минуты. Помню, разъ въ театрѣ она была такъ пре-



лестна, такъ прелестна. Я сидѣлъ за ней. Она громко смѣялась и изъ-за губокъ показывала рядъ бѣлыхъ зубовъ. Вся она была розовая, улыбающаяся, такая свѣтлая, такая золотая, такая моя! Всѣ смотрѣли на насъ. Она видѣла это и откидывалась ко мнѣ назадъ такъ, что дотрогивалась локончиками до моего лица. Кокетничая со мной, она кокетничала съ публикой, и мы вмѣстѣ смѣялись. Она была совсѣмъ моя. А въ другой разъ, тоже въ театрѣ, я сидѣлъ въ креслахъ, въ ложѣ не было мѣста. Она была нездорова, блѣдненькая такая. Оперлась головкой о стѣну и закрыла глаза. Она была такая чудная... Сердце мое рвалось къ ней... Я не знаю отчего, можетъ быть, это дурно, можетъ быть, въ данномъ случаѣ это даже подло, но я вамъ долженъ объ этомъ рассказать...

Разъ, это было еще давно, это было еще въ Кленжѣ, у насъ вышла такая сцена. Я только что всталъ послѣ болѣзни, былъ страшно раздраженъ, на выставкѣ не купили моей работы, портретъ Стжелиской шелъ плохо, что-то злое опутало меня. Марія сдѣлала мнѣ большую непріятность, не представила меня въ качествѣ своего жениха двоюроднымъ братьямъ своимъ, Лешицкимъ, которые пріѣхали въ Кленжъ и не знали ни о чемъ, не сдѣлалъ это и панъ Стжелискій. Я былъ ужасно недоволенъ, хотя Марія оправдывалась, что это еще не официально, что она можетъ написать Лешицкимъ, если я этого захочу. Я былъ золъ и не хотѣлъ съ ней говорить. Я ушелъ къ себѣ. Вечеромъ кто-то стучить, и входитъ Марія, чего прежде никогда



не бывало, блѣдная, нѣсколько сконфуженная и начинаетъ оправдываться. Я не хочу ни о чемъ слышать и говорю, что мнѣ не пришлось бы переносить такихъ непріятностей, если бы меня охотно принимали въ ея семью, но, вѣдь, она знаетъ, что этого быть не можетъ. Я былъ такъ раздраженъ, что вспылилъ. Тогда я позволилъ себѣ такое варварство, котораго я не прощу себѣ до конца жизни, что бы ни случилось. Марія стала передо мной на колѣни, сложила ручки, взглянула на меня и сказала: «Маленькій!» — она меня такъ иногда называла, — а я ей отвѣтилъ: «Встаньте, пожалуйста, это не производитъ на меня никакого впечатлѣнія...»

— И что же? Она упала въ обморокъ, захлопнула тебѣ двери передъ носомъ и ушла? — спросилъ Пшервиць.

— Нѣтъ, встала и выпила стаканъ воды.

— Да? — сказалъ Пшервиць удивленнымъ голосомъ.

Рдзавичъ продолжалъ:

— Она ушла. Я думалъ, что пуцу себѣ пулю въ лобъ, что все уже кончено, я бросился на кровать и сталъ кататься по ней; мнѣ казалось, что въ мозгу у меня что-то теряется и горитъ. Я кусалъ себѣ пальцы до крови. Но черезъ полчаса я получилъ отъ нея записку, въ которой было написано: «Если не сердится, то пусть придетъ». Черезъ минуту я цѣловалъ ея руки и ноги и отдалъ бы за нее охотно жизнь... А теперь что передо мною? У меня такое чувство, словно меня ждетъ одна только смерть.



Тенжель вздрогнулъ на стулѣ, Пшервицъ сказалъ :

— Ты долженъ уѣхать.

— Уѣхать? — сказалъ Рдзавичъ. — Зачѣмъ? Куда?

Развѣ это поможетъ?

— Увидишь, когда уѣдешь.

— Я не хочу жить.

Пшервицъ взялъ Рдзавича за обѣ руки и сталъ говорить :

— Дорогой мой, дорогой мой, жизнь бываетъ страшна, ужасно тяжела, я это знаю такъ же хорошо, какъ и ты, но вынести можно гораздо больше, чѣмъ думаешь, это я тоже знаю. Теперь ты не хочешь жить, я тебя понимаю, но увѣряю тебя, что ты не захочешь умереть. Нѣтъ у тебя денегъ, я тебѣ дамъ, и уѣзжай.

Рдзавичъ пожалъ плечами, Пшервицъ продолжалъ :

— Я все обдумалъ : у тебя нѣтъ денегъ, у Тенжеля ихъ тоже нѣтъ, я могъ бы дать тебѣ сейчасъ самое большее двѣсти-триста рублей, но этого вѣдь мало. Я займу для тебя двѣ тысячи у Стославскаго. Онъ даже не будетъ знать, кому ихъ даетъ ; я займу ихъ, какъ бы для себя. Отдашь ему, когда будутъ деньги, либо прямо отработаешь. Онъ говорилъ мнѣ, что охотно далъ бы тебѣ заказъ. Деньги будутъ завтра, и поѣдешь...

Не договоривъ, Пшервицъ отскочилъ въ сторону, такъ какъ Рдзавичъ всталъ вдругъ съ дивана, схватилъ стулъ и съ силой бросилъ его : «Ангель Жизни» упалъ со стукомъ на полъ и разбился вдребезги.



— Что ты сдѣлалъ, Ромекъ! — крикнулъ, поднимая руки, Тенжель.

— Ты видѣлъ, — отвѣтилъ Рдзавичъ.

## II.

Тенжель получилъ слѣдующее письмо:

Палермо, 3 августа 1894 г.

Я получилъ твое письмо. Я догадываюсь, что мой адресъ послалъ Пшервицу кто-либо изъ здѣшнихъ поляковъ. Ты меня не спрашиваешь ни о чемъ. Видишь, живу. Думаю, что я ее не любилъ; если бы я ее любилъ, то не жилъ бы. Люди, которые любятъ, не живутъ послѣ смерти тѣхъ, которыхъ они любили. А вѣдь Марія для меня умерла.

Живу, значитъ — буду жить. Пшервицъ былъ правъ: я не хотѣлъ жить, но теперь не хочу умирать. Живу и буду жить. Солнце сіяетъ для меня такъ же, какъ для всѣхъ другихъ — отчего же мнѣ не жить? Мнѣ тепло и свѣтло. Если хочешь, пиши. Твой

Романъ Рдзавичъ.

---

Палермо, 18 августа 1894 г.

Второе. Твое открытое письмо получилъ. Живу. Пшервицъ былъ правъ.

---



Неаполь, 27 августа 1894 г.

Дорогой мой! Я ее не любилъ. Если бы я ее любилъ, я не жилъ бы. Она была права — мы ошибались. Но если я ее не любилъ, отчего же мнѣ такъ тяжело?

Мнѣ все кажется, что передо мною пропасть. Мнѣ кажется, что за мной лѣсъ, какой-то страшный, темный, непроходимый боръ, въ который страшно заглянуть. Что я вытерпѣлъ!

Я бросилъ васъ, какъ сумасшедшій. Я не знаю, гдѣ я былъ. Я ѣхалъ и ѣхалъ. Лишь бы подальше... Зачѣмъ? Трудно разсѣять мысли будками стрѣлочниковъ. Не могу больше писать.

---

Сорренто, 8 сентября 1894 г.

Удивительно здѣсь тихо. Я не могъ выдержать въ Неаполѣ. Сяжу теперь передъ открытымъ окномъ и гляжу. Небо очень темное и усѣяно звѣздами. Вдали горы. Тихо, воздухъ благоухаетъ.

Совсѣмъ пусто. Всѣ снятъ. Я долго ходилъ вокругъ гостиницы. Теперь гдѣ-нибудь, тамъ, въ Кленжицкомъ саду, я могъ бы гулять съ нею, съ Маріей, съ моею Маріей... Я называю ее моею, хотя знаю, что она не моя и никогда моей не будетъ. Долго, долго я не могъ повѣрить этому, привыкнуть. Подумай, столько мѣсяцевъ я могъ говорить о ней: «моя». Только теперь я знаю, что значитъ потерять женщину... Чувствовать ее своею... И вдругъ потерять... Знаешь, — думай, что угодно, — несмотря на то, что Марія бросила меня



такъ, что гордый человѣкъ не сдѣлалъ бы этого ни когда, я писалъ ей.

Я писалъ ей, что я у ея ногъ, что я готовъ на все для нея, что если ея семьѣ не нравится, что я художникъ, то я поклянусь, что не возьму въ руки куска глины; если дѣло въ томъ, что я бѣденъ, то я поступлю рабочимъ на фабрику и стану богатымъ... Чего я ей не писалъ! Письмо мнѣ возвратила ея тетка, отвѣчая, что Марія больна и что она, не зная моего почерка, вскрыла письмо, за что извиняется и проситъ меня, по желанію Маріи, больше не писать, такъ какъ письма не будутъ читаться. Она увѣрена, что я не откажу въ ея просьбѣ.

Я думалъ, что сойду съ ума. Можешь ли ты чувствовать то, что я чувствовалъ! Моя дорогая Марія, единственная моя Марія, женщина, которая тысячу разъ повторяла мнѣ: «я твоя», — больна, и я не могу даже узнать, что съ нею?! Потерять навсегда право знать, что съ той, кто была моею собственностью и чьею собственностью я чувствовалъ себя! Первый попавшійся чужой изъ числа ея поклонниковъ можетъ узнать о ея здоровьи, а я, цѣловавшій ея руки и ноги, я, который отдалъ бы за нее свою кровь и весь міръ, я не могу даже спросить, что съ нею! И подумать, что первый попавшійся чужой человѣкъ, о которомъ она не думаетъ и думать не будетъ, можетъ съ нею говорить, можетъ посылать ей цвѣты, можетъ ее обнимать въ танцѣ, а я не могу, не могу! Когда я думаю объ этомъ, во мнѣ поднимается адъ и смерть; мнѣ



кажется, что голова моя лопается и мозгъ куда-то проваливается.

И эта чужая, твердая, холодная рука имѣеть право стать между нами! Ежедневно, каждый часъ кто-то имѣеть право стать между нами; ея родственники слова ей ближе, чѣмъ я, я, который былъ ея женихомъ и долженъ былъ стать ея мужемъ... И она сама, сама даетъ имъ это право!...

Теперь у васъ еще тепло. Если она здорова, то ѣздить въ деревнѣ верхомъ, или сидить въ Варшавѣ, на скачкахъ въ ложѣ. Я вижу ее и всю эту толпу, окружающую ее. Какое право имѣютъ всѣ они въ сравненіи со мной, которому она добровольно присягнула, что не бросить его никогда до смерти, и который ей присягнулъ?! И мнѣ теперь, если бъ я былъ тамъ, нельзя было бы подойти къ ней! Если бы я ей поклонился, она, можетъ быть, не отвѣтила бы мнѣ, мнѣ, который могъ брать ея руки и закидывать ихъ къ себѣ на шею, могъ класть ея головку къ себѣ на грудь и чувствовать, что она моя, моя, вся только моя... Я вижу ее, какъ она улыбается, какъ разговариваетъ, какъ очаровываетъ людей... Думаетъ ли она когда-нибудь обо мнѣ? О, она не можетъ не думать. Такое прошлое, такія минуты не забываются. Луна поднимается надъ горами и такъ тихо... Если бъ я здѣсь былъ съ нею! Мы бы ходили по этому взморью, она опиралась бы на мою руку, я бы обнималъ ея станъ и держалъ ее за руку. Мы бы ходили и не говорили ничего. Сердца наши только бились бы скорѣе и гово-



рили другъ съ другомъ. Вѣдь это могло быть. Я чувствую ее при себѣ... Волосы ея пахнутъ. Я вижу ея глаза, эти чудные темно-синіе глаза съ золотымъ блескомъ. Я слышу ея голосъ. И подумать, что никогда, никогда она не будетъ моею, никогда, никогда, никогда... И жить?...

---

Капри, 19 сентября 1894 г.

Помнишь ли ты сонетъ Пшервица, въ которомъ онъ плачетъ о томъ, что прошло и никогда не вернется, что кануло навсегда въ вѣчность? Ты знаешь, какъ онъ былъ написанъ? Я повторялъ его мысленно вчера, прогуливаясь по взморью. Это ужасно много быть по-этомъ. Пшервицъ издалъ свой циклъ «Умершей» и сонетами своими воскресилъ ее. А что я могу сдѣлать? Какъ же мнѣ высказать мою боль, мое отчаяніе, мою любовь и смерть мою безъ нея — въ камнѣ?...

---

Римъ, 30 сентября.

Я убѣжалъ съ Капри. Блуждаю здѣсь по Ватикану и Капитолію. Господи, что за мраморы! Я смотрю на нихъ, какъ помѣшанный.

Вошелъ я разъ въ какую-то церковь; не знаю, какую. Смеркалось. Передъ Христомъ на крестѣ, гдѣ-то въ боковомъ придѣлѣ горѣла лампада. Я испытывалъ странное чувство, которое превратило мое сердце въ одну большую слезу. Мнѣ казалось, что каменная церковь растетъ куда-то въ небо, что душа моя



покидаетъ тѣло и поднимается все выше и выше въ безконечное пространство. У меня было впечатлѣніе, что стѣны простираются надо мной откуда-то изъ-подъ небесъ. Я сталъ передъ Христомъ и думалъ, что мое сердце разорвется, что я упаду мертвымъ въ этой церкви.

Народъ пѣлъ какую-то религіозную пѣснь. Это была небольшой хоръ передъ однимъ изъ алтарей. Пѣснь расплывалась подъ сводами церкви вмѣстѣ съ запахомъ ладана, съ волнами дыма и мрака. Въ этой пѣснѣ было столько мольбы, столько вѣры, столько надежды... Только мнѣ не о чемъ было просить, я стоялъ одинъ, прислонившись къ холодной мраморной колоннѣ, безъ вѣры, безъ надежды... Того, о чемъ бы я могъ просить, даже Богъ не сумѣлъ бы сдѣлать. Все на землѣ и на небѣ закрыла для меня одна женщина. Наконецъ, стали пѣть какую-то пѣснь, похожую на нашу: «Святой Боже, Святой Крѣпкій, Святой Безсмертный»... Всѣ стали на колѣни, сталъ и я, скорѣе даже упалъ на колѣни, но не отъ смиренія, не для молитвы, а отъ страшной тяжести и боли, которой я не могъ вынести; мнѣ казалось, что если я не согнусь, то она меня сломаетъ, раздавитъ. Голова клонилась все ниже и ниже; наконецъ, я ударился ею о какой-то каменный порогъ— а эта громадная каменная церковь простиралась надо мной изъ-подъ небесъ, простиралась со своимъ мракомъ, глухою тишиной, дымомъ кадила, пѣсней и Христомъ, распятымъ на крестѣ, Который молчалъ надо мною, какъ ночь...



Римъ, 5 октября.

Я не выдержу, я пушу себѣ пулю въ лобъ. Сколько я вытерпѣлъ, какъ я мучаюсь. Я думалъ, что сойду съ ума сегодня ночью — отчего это не случилось?! Вошелъ я вчера въ лавку за сигарами. Чувствовалъ я себя очель утомленнымъ, но довольно спокойнымъ. Къ несчастью, я взглянулъ на стѣну. Тамъ висѣло объявленіе о какомъ-то кофе, который подавала въ чашкѣ дѣвушка. Она была розовая, у ней были темно-синіе глаза и свѣтлые волосы, полная грудь и полныя бедра, голова немножко отклонена назадъ. Я вздрогнулъ, словно кто-то кольнулъ меня въ сердце. Эта дѣвушка на объявленіи заставила меня вспомнить обо всемъ... Сколько разъ Марія, остановившись на ходу, наклоняла такъ голову ко мнѣ, когда я съ ней заговаривалъ, и она оборачивалась! Она стояла такъ и слушала, опираясь на свои пышныя бедра. Она любила такъ слушать меня, а когда я переставалъ, повторяла: говори еще...

Знаешь ли ты, что значитъ имѣть свою женщину? Какъ мы должны быть благодарны ей за то, что она существуетъ, что она родилась. Всюду, всегда устраиваешь ей мѣсто около себя, не можешь подумать о себѣ безъ нея. Утромъ видишь возлѣ себя ея розовое личико, съ полусткрытымъ ротикомъ, съ закрытыми глазами, съ чѣмъ-то дѣтскимъ, кошачьимъ и ангельскимъ на сонной головкѣ. Такъ бы и взялъ эту головку въ руки, положилъ ладони на обѣ ея щеки, приподнялъ немного головку, прижалъ немного лицо, чтобъ ротикъ раскрылся, словно чашечка цвѣтка...



Въ такія минуты женщина дѣлается чѣмъ-то желаннымъ до смерти и вмѣстѣ съ тѣмъ чѣмъ-то святымъ, какимъ-то даромъ неба, какимъ-то неземнымъ богатствомъ, Божьимъ благословеніемъ... Берешь потомъ ея ножки въ руки и цѣлуешь ихъ, и, кажется, будто душу свою въ поцѣлуѣ отдаешь этимъ ножкамъ, этимъ двумъ маленькимъ розово-бѣлымъ ножкамъ, и этимъ маленькимъ пальчикамъ отдалъ бы жизнь свою, все, что у тебя есть и что можетъ быть...

И все это, все я могъ имѣть и къ этому былъ я такъ близокъ... Дорогой мой, пулю въ лобъ, не лучшей ли это конецъ моей муки?

Не могу больше писать. Теперь вечеръ. Становится тихо. Въ такое время ходили мы разъ съ нею по саду. Она оперлась головкой на мое плечо и молчала, а потомъ она сказала мнѣ то, что мнѣ много разъ потѣмъ повторяла: я боюсь только за твое счастье; если ты будешь счастливъ, и я буду... Утромъ въ тотъ же день я спрашивалъ ее, не боится ли она жить со мной, не страшна ли ей мысль, что ей придется жить со мной...

---

Венеція, 15 октября.

Какъ я тоскую, какъ я страшно тоскую! По цѣлымъ днямъ катаюсь я въ гондолѣ, и кажется мнѣ, что жизнь уходитъ отъ меня съ каждымъ ея движеніемъ. Гондольеры замѣтили, что со мной творится что-то неладное: они катаютъ меня, не говоря ни слова и ничего не объясняя. Тихо по ночамъ плаваю я по мертвому городу, по



глухой пустынь каменных стѣнъ, а внутри у меня что-то воетъ и кричитъ отъ боли. Часъ уходитъ за часомъ, мы, молча, плывемъ, и мнѣ кажется, что гондольеръ везетъ мой трупъ, что тѣло мое мертво, а душа моя не можетъ уйти отъ земли и умираетъ въ отчаяніи, и не можетъ ни умереть, ни вернуться въ тѣло, чтобы жить...

Я не осматриваю ничего, я брожу по городу цѣлыми днями, ни до чего мнѣ нѣтъ дѣла. Уѣду отсюда, не знаю еще куда. Если бы я не былъ подлымъ трусомъ, я бы зналъ, куда идти. А вѣдь одна дѣвушка предсказала мнѣ, что я не умру естественной смертью. Она сама умерла и не дождалась. На меня наводитъ странную грусть память о ней именно благодаря этому предсказанію и тому, что она умерла раньше, чѣмъ предсказаніе сбылось. Правда, что все, что умереть, носить въ себѣ какую-то спокойную меланхолю; какая тихая грусть въ умершемъ! Интересно знать, приходятъ ли тебѣ подобныя мысли? Я часто, закрывъ глаза, читаю объявленіе о собственной своей смерти:

Романъ Рдзавичъ,  
скульпторъ,

родился въ 1868 г. — скончался...

Венеція, 26 октябръ.

Я былъ сегодня на Лидо. Ёдутъ туда на небольшомъ пароходѣ, называемомъ *varopetto*, съ *Riva degli Schiavoni* около двадцати минутъ. На Лидо первый разъ



въ Венеціи увидалъ лошадей, поля и какія-то насажденія. Я пошелъ на берегъ моря и легъ на песокъ. За мной былъ зеленый валъ, покрытый травой, за нимъ аллея; передо мной море, на немъ вдали корабли. Море шумѣло и шло къ берегу. Я засмотрѣлся на это итальянское небо, заслушался этого шума и почувствовалъ что-то, чего до сихъ поръ не зналъ. Пишу тебѣ именно объ этомъ. Миѣ показалось, что все, что я прожилъ, можетъ быть, — лишь сонъ, какія-то фантастическія грезы. Прежде всего миѣ стало казаться сномъ то, что я пережилъ съ Маріей; потомъ постепенно все, вся моя жизнь. Кто знаетъ, думалъ я, былъ ли я когда-нибудь въ другомъ какомъ-нибудь мѣстѣ; можетъ быть, я здѣшній, можетъ быть, я всегда жилъ здѣсь? Я такъ сжился, такъ растаялъ въ этомъ морѣ и небѣ, что я смѣло могъ себя такъ спрашивать. Значить, все это неправда, я встану, стряхну съ себя то, что грезилось миѣ на этомъ пескѣ, и стану жить, какъ прежде, той жизнью, о которой я на минуту забылъ, и которая миѣ понемногу возвращается. Потомъ я почти совсѣмъ потерялъ самоощущеніе; миѣ стало казаться, что я часть этого пейзажа, что, можетъ быть, я дерево или камень, которому снилось, что онъ родился въ Топелѣ, потерялъ отца и мать, получилъ три конкурсныхъ награды, былъ въ Мюнхенѣ, безумствовалъ, наконецъ, былъ женихомъ... Странныя мысли, правда?

Былъ женихомъ... Я уже не женихъ. У меня нѣтъ невесты. Когда я вспоминаю, что она называла меня:



мой женихъ — и говорила обо мнѣ: мой женихъ; что она просыпалась и засыпала съ этой мыслью, я знаю, что это такъ было. Когда я это вспоминаю — ахъ, Тенжель, Тенжель, мнѣ не хватаетъ больше силъ...

Она должна чувствовать мое отсутствіе, не можетъ быть иначе. Ей должно быть пусто; думать столько времени о комъ-нибудь, какъ о женихѣ... Вѣдь я же былъ имъ по ея волѣ, даже больше по ея, чѣмъ по моей. Она должна была привыкнуть къ этой мысли такъ, какъ я къ ней привыкъ, она должна меня искать въ мысляхъ такъ, какъ я ее ищу. Правда, я забываю, что я ее люблю, а она меня не любитъ... Знаешь ты, что такое тоска? Когда, лежа тамъ у моря, я пересталъ грезить, какъ дитя, и пришелъ въ себя, я думалъ, что грудь моя лопнетъ. Что это такое, что это?! Отчего я въ какомъ-то чужомъ мѣстѣ на взморьѣ? У насъ вѣдь нѣтъ моря, нѣтъ этихъ серебристыхъ кустовъ, нѣтъ этихъ цвѣтовъ — отчего же я здѣсь, за чѣмъ? Отчего я не у себя съ вами, съ Маріей? Отчего я здѣсь одинъ среди чужихъ, гдѣ я никого не знаю, гдѣ меня никто не знаетъ. Отчего я не знаю, что дѣлаетъ теперь Марія, гдѣ она? Отчего я бросилъ мою мастерскую, мою работу? Отчего я странствую по свѣту безъ цѣли, безъ надобности? Что это такое, что случилось?

Тенжель, я не могу не жаловаться. Смотри на меня, какъ на ребенка, я все же буду жаловаться. Мнѣ слишкомъ больно. Моя боль, похожа на ножъ, который расширяется въ ранѣ! Эти люди, что окру-



жаютъ меня, смотрятъ на меня безучастно; отчего эти проклятые люди не знаютъ, что со мною?! Они должны разступаться передо мной, должны говорить при миѣ тихо, они должны всюду уступать миѣ дорогу оттого, что я несчастенъ. А они не знаютъ ничего, ничего! Шляются, орутъ, смѣются, словно въ человѣкѣ, который ихъ встрѣчаетъ, не умираетъ что-то, словно онъ не несетъ въ ихъ среду смерть...

Съ утра я какъ съ креста снять. Слезы, помимо моей воли, льются изъ моихъ глазъ съ такой силой, словно открылся кратеръ вулкана и сталъ извергать давно накопившуюся лаву. Я не могу жить, не могу... Со мной происходитъ что-то странное. Я уже почти не знаю, кого любилъ и кого потерялъ — я чувствую только, что миѣ ужасно, невѣроятно нужна любовь. Руки мои простираются, грудь моя ждетъ, кого бы можно было обнять, прижать, съ кѣмъ можно было бы слиться въ одно. Во миѣ собрался громаднѣйшій запасъ любви, я вдругъ остался одинъ съ этою взбѣшенной любовью душой, съ взбѣшенными страстями, одинъ — миѣ некого любить, некому говорить: люблю, люблю; миѣ некому цѣловать руки, некому смотрѣть въ глаза, не кѣмъ заслушиваться, не съ кѣмъ дышать однимъ воздухомъ, некому, хоть мысленно, впиться губами въ губы. Я словно бѣшенный конь, у котораго вдругъ исчезла земля изъ подъ ногъ и онъ повисъ на лету надъ пропастью. Онъ долженъ летѣть, а некуда.

Изъ громаднаго моего чувства я не создаю ничего: боль и тоска не любовь. Миѣ нужно дышать любовью,



мнѣ надо уйти въ нее, утонуть, погибнуть въ ней. Я хочу любить, я хочу говорить объ этомъ, я хочу излить изъ себя этотъ океанъ чувства, иначе грудь моя лопнетъ. Была ли когда-нибудь какая-то Марія? Не знаю, но мнѣ все равно. Я знаю, что я влюбленъ, что каждая косточка во мнѣ, каждый нервъ, каждая капля крови, — любовь; я долженъ израсходовать этотъ громадный запасъ, не то онъ убьетъ меня, какъ паръ, что разрываетъ закрытый сосудъ.

Мои руки протягиваются ко всему, къ женщинамъ, которыхъ я вижу изъ окна, къ небу, къ деревьямъ въ сосѣдномъ саду, къ солнцу, къ свѣту, къ морю. Я хотѣлъ бы обнять, обнять, обнять, прижать что-то къ себѣ, слиться съ чѣмъ-то въ одно. Я чувствую просто боль въ рукахъ отъ напрасной жажды объятій, какую-то странную боль въ груди, которой не къ чему прижаться... Не могу больше писать, кровь заливаетъ мой мозгъ.

Я бѣгаю цѣлыми часами по городу, какъ безумный. Я долженъ сдерживаться, чтобъ не броситься къ первой попавшейся женщинѣ, не упасть ей къ ногамъ и не крикнуть ей: люблю тебя, люблю тебя!

Я забралъ вечеромъ въ гондолу какую-то итальянку, — я даже не узналъ бы теперь ея лица. Я цѣловалъ кончики ея пальцевъ, ноги ея, ботинки, я думалъ, что сожгу ее своимъ дыханіемъ, сольюсь съ ней въ одну пылающую массу, какъ два металла, расплавленные огнемъ. Я шепталъ ей: ато! ато! словно эта дѣ-



вушка была моей любовницей, или молодою женой. Сначала она улыбалась, потом и она стала дрожать.

А теперь миѣ такъ жалко, такъ жалко себя и Мариі. Вѣдь мое чувство, моя жажда любви должна была бы стать нашимъ общимъ достояніемъ. Я долженъ былъ бы нуждаться въ ея любви, и она должна была бы чувствовать это. Пойметъ-ли она, что она теряетъ, сколько теряетъ?! Развѣ я не долженъ былъ бы цѣловать такъ ея ноги и говорить ей: люблю тебя; лежать у ея ногъ и превратиться въ одну великую, какъ міръ, жажду любви...

---

Пяцца, 8 ноября 1894 г.

Я здѣсь уже недѣлю. Золото смѣняется женщинами, женщины смѣняются золотомъ. Миѣ кажется иной разъ, что дукаты принимаютъ видъ женщинъ, а женщины золотятся дукатами. Я играю; пока выигрываю, но мало. Я купаюсь въ морѣ и тоню въ вихрь здѣшней бѣшеной жизни. Къ чорту все! Неужели миѣ умирать оттого, что меня бросила какая-то барышня! Будетъ съ меня! Во миѣ сгорѣло все, остался лишь пепель и прахъ. Я писалъ тебѣ письма. Это не было даже тѣнью того, что со мной было. Душа моя превратилась въ пустынную степь, степь послѣ пожара. Я не оживу больше, у меня не хватитъ уже силъ страдать. Либо пулю въ лобъ, либо «жить».

Именно, жить! Часъ тому назадъ я простился съ великолѣпной итальянкой, Эмилией Локателли, потомъ игралъ. Я выигралъ двѣсти франковъ. Завтра ѣду съ



Эмилией въ Ментону. У нея прекрасные черные волосы и тѣло, какъ мраморъ. *Vogue la galère!*

Я не буду уже тѣмъ, чѣмъ долженъ былъ быть, но я хочу жить, я еще пока не превратился въ грязь. Что такое люди? Живые трупы. Борьба со смертью, съ разрушеніемъ организма при каждомъ глоткѣ, при каждомъ дыханіи — это жизнь. Въ каждомъ волосѣ у тебя зародышъ трупа, каждый шагъ уменьшаетъ силу жизни. Все это только минутное и тщетное сопротивленіе смерти. Мы умираемъ все время отъ зачатія до конца. Ахъ! забыть объ этомъ, проклясть эту подлую, очертѣвшую участь и жить!

Что получилъ я за то, что бросилъ одной женщинѣ къ ногамъ мой талантъ, мое имя, мои стремленія и мечты, силы мои, душу мою, жизнь мою, мозгъ мой и кровь?! Что? Она поиграла мной и бросила, какъ ненужный хламъ!

А, можетъ быть, и мнѣ только казалось, что я ее люблю? Можетъ быть, она была права, говоря, что мы ошиблись? Можетъ быть, даже лучше, что мы не будемъ принадлежать другъ другу, что она бросила меня? Что такое женщина? Развѣ не такой же живой трупъ, какъ и я? Въ этомъ роскошномъ тѣлѣ каждая косточка, которую ты нащупаешь, — скелеть. Глаза, которые взглядомъ своимъ превращаютъ жизнь твою въ рай или адъ, смотрятъ на тебя изъ черепа!

Ахъ! Еслибъ у женщинъ внутри тамъ, подъ кожей и мускулами, былъ мраморъ!

Теперь, однако, надо брать ихъ такими, какія онѣ



есть. Пользоваться ими! Купаться въ нихъ! Лишь бы больше! Лишь бы больше! И ради одной польки, жаждущей ощущеній и громкой славы, холодной кокетки, лишать себя жизни? Что я для нея? Пара перчатокъ, которую она бросила, когда онѣ надоѣли. Можетъ быть, мой преемникъ будетъ не такъ глухъ, какъ я, который бросился къ ея ногамъ: иди по мнѣ, топчи— пройди и уйди!

Ницца, 17 ноября.

Первый разъ встрѣтилъ я сегодня знакомыя лица. Помнишь ты тѣхъ двухъ барышень, съ которыми мы встрѣтились какъ-то зимой въ Краковѣ, двухъ блондинокъ? Старшая изъ нихъ повыше, съ плечами, какъ у служанки, младшая — мужицки-красная, курносая. Ходили онѣ съ немолодой французенкой и всегда были въ синихъ пальто. Мы всегда удивлялись, что у нихъ, по твоимъ словамъ, такія «плоскомысленныя» лица.

Онѣ сидѣли въ *Café de la Régence* съ матерью и съ какимъ-то молодымъ человѣкомъ, говорили по-польски — но лишь только я сѣлъ за столикъ, какъ онѣ стали говорить по-французски, забывая, что во Франціи никого этимъ не удивишь. Старшая была замужемъ за молодымъ человѣкомъ, который сидѣлъ съ ними. Я присматривался къ нимъ и мнѣ было жалко его, такъ какъ жена давала ему понять каждымъ словомъ, каждымъ взглядомъ, что она оказываетъ ему громадное благодареніе, позволяя любить себя. Если она разгрызаетъ такую же «царевну» съ нимъ съ глазу на



глазъ, то я его поздравляю. Стоило бы разъ навсегда сбавить снеси этимъ польскимъ «царевнамъ» и «царицамъ». Есть чѣмъ гордиться, что у ней молъ рыба кровь, если она сама рыба? Когда я смотрѣлъ на ея холодное и чопорное обращеніе съ мужемъ, мнѣ это живо напоминало Марію, которая своимъ холодомъ и чопорностью съ людьми приводила меня въ отчаяніе. Хотя я, можетъ быть, по моей наивности, и не люблю, когда изъ гостиной дѣлаютъ будуаръ, но все же, будучи женихомъ и невѣстою, обращаться другъ съ другомъ, какъ простые знакомые... Но стоило намъ остаться однимъ, Марія сейчасъ же превращалась въ самое избалованное и шаловливое дитя. Она сама уживалась звуками уменьшительныхъ и ласкательныхъ словъ, звуками чувства. Я все это прекрасно видѣлъ, былъ увѣренъ, что подъ всѣмъ этимъ кроется правда... Такіе скачки бывали иногда такъ неожиданны, что не разъ мнѣ было трудно повѣрить, что это женщина, которая о себѣ говоритъ «бобо», а обо мнѣ «ти», выговариваетъ слова, какъ ребенокъ, шалить со мной, какъ ребенокъ, что она — холодная, извѣстная своей красотой и чопорностью, Марія Тыжвецкая; что одна и та же женщина при людяхъ официально подаетъ мнѣ руку, а черезъ полчаса прижимается къ моей груди и становится предо мной на колѣни... А письма ея, эти страстные, ласковыя письма... Кто же изъ ея знакомыхъ, зовущихъ ее неприступною, повѣрилъ бы, что она можетъ писать такія письма, что она можетъ такъ чувствовать. Я не разъ долженъ былъ самъ себѣ повто-



рять, что это Марія Тыжвецкая — та, въ которую влюблено полѣ Варшавы, царица всѣхъ баловъ, за одну улыбку которой мужчины пошли бы въ огонь и въ воду, а не найденная гдѣ-то въ лѣсу дѣвочка, которая не видѣла, кромѣ меня, ни одного живого человѣка, которая смотритъ мнѣ въ глаза и спрашиваетъ, нравится ли мнѣ эта царица баловъ. Теперь я все это отлично понялъ: она ласкала не меня, она ласкала себя самое. Я былъ для нея чѣмъ-то, благодаря чему она могла наслаждаться своей собственной лаской. Я увѣренъ, что, если она говорила: люблю, это только затѣмъ, чтобы сказать это слово, а не затѣмъ, чтобы сказать это слово мнѣ. Я увѣренъ, что, если она слушала съ очаровательной улыбкой то, что я говорилъ ей, то лишь оттого, что это были слова влюбленнаго человѣка, а не оттого, что это были мои слова. Когда я цѣловалъ ея руки, она прижималась не ко мнѣ, а къ мужчинѣ, который любитъ. Она становилась на колѣни не передо мной, а передъ собственнымъ своимъ воображеніемъ, передъ собой самой. Оттого она не упала въ обморокъ и не бросила меня, послѣ того, что я ей сказалъ. Я не обидѣлъ ея, я не былъ собой, я былъ предметомъ, который олицетворялъ влюбленнаго. Она писала не мнѣ, она писала самой себѣ. Во все время нашей связи я былъ лишь представителемъ самого себя, я былъ представителемъ человѣка, котораго любятъ, но не собою. Она едѣлала со мною самимъ только одно — бросила меня. Она вдругъ очнулась и увидѣла, что иллюзія влюбленнаго и любящаго мужчины по-



степенно приближается къ тому, чтобы перестать быть иллюзіей, такъ какъ бракъ положилъ бы конецъ иллюзіямъ — вотъ она и отступила. У нея не было никакого чувства ко мнѣ и оттого ей легко было бросить меня, не оглядываясь. Призраки иллюзіи исчезли, какое же ей дѣло до меня? Теперь я вижу все это, понимаю, все для меня ясно. И когда я объ этомъ думаю, то для меня совершенно ясно, что придетъ какой-то другой человѣкъ и скажетъ Маріи: люблю. Знаешь ли ты, что значитъ сказать женщиѣ: люблю? Придетъ кто-нибудь другой, а я — буду жить! Я знаю это, я буду даже смотрѣть на Марію, любимую другимъ, буду смотрѣть, какъ въ нее проникаетъ та неуловимая часть души человѣка, которая выходитъ изъ него и переливается въ любимую женщину. Ахъ! Ахъ, если бъ нашлось теперь какое-нибудь существо, въ которомъ все было бы лаской, умомъ и добротой, съ которымъ бы меня ничего не связывало, кромѣ моей боли; оно обняло мою голову руками, чтобъ я могъ не глядѣть, не видѣть, не воображать себѣ ничего, не помнить. Не помнить! Не помнить! Нѣтъ болѣе адской муки, чѣмъ память. Я помню все, каждое движеніе, каждое слово, каждый взглядъ Маріи. Я помню каждое пожатіе ея руки, и каждое слово мое кажется мнѣ недостаточно мягкимъ, глубокимъ, сердечнымъ. Я вижу теперь, какъ не умѣлъ я цѣнить минуты, проведенныхъ съ нею. Мнѣ казалось такимъ естественнымъ и такимъ простымъ, что я съ ней. Я не только потерялъ ее, но даже не сумѣлъ воспользоваться тѣмъ, что былъ съ ней. Я потерялъ время,



которое было предназначено мнѣ, а время это не вернется уже никогда, никогда. Какимъ другимъ былъ бы я теперь при ней. Но это уже ушло навѣки!

---

Ницца, 24 ноября 1894 г.

Я отыгрался и выигралъ до сихъ поръ три тысячи франковъ.

Всталъ сегодня утромъ около шести часовъ и вышелъ на берегъ. Было прелестно. Море было какимъ-то молодымъ, свѣжимъ, серебристо-бѣлымъ, серебристо-синимъ, блѣдно-розовымъ, переходящимъ сразу въ темный, почти черный цвѣтъ, какъ у Бѣклина. Дальше оно золотилось тысячами разноцвѣтныхъ огней, едва шевелясь, необыкновенно спокойное. Солнце поднялось на безмѣрно-свѣтломъ, какъ лазурь моря, небѣ. Открылся безграничный просторъ. Горы розовѣли и золотились, золото разливалось по деревьямъ и домамъ, всюду невозмутимая тишина и божественная красота.

Разноцвѣтные огни на морѣ мѣнялись быстро, одни тухли, другіе зажигались. Все быстро мѣнялось и на такомъ пространствѣ, что я не зналъ, что терялъ, глядя въ сторону Италіи, и что, глядя направо, къ Франціи. А вообрази себѣ, каково должно быть въ ту же минуту у Неаполя, у Александріи, на британскомъ берегу, въ норвежскихъ фіордахъ и тамъ гдѣ-нибудь у полюса, и въ дубовыхъ лѣсахъ Кленжа — всюду, всюду... Мнѣ показалось тогда, что должны быть какія-то эфирныя существа, безконечно болѣе чуткія,



чѣмъ мы, и одаренныя способностью видѣть тысячи цвѣтовъ, неуловимыхъ для насъ, которыя видятъ сразу весь міръ, небо, море, землю. Мнѣ казалось, когда я гулялъ по этому взморью, что такіе эфирные, воздушные духи, такіе эльфы лежатъ на этихъ скалахъ, опершись на руки, и смотрятъ. То, что дѣлается въ мірѣ, слишкомъ велико для людей — такъ это должно дѣлаться для кого-нибудь другого. Думалъ ли ты когда-нибудь о томъ, куда дѣвается цвѣтъ, который исчезъ? Вѣдь ничто не гибнетъ. Думалъ ли ты когда-нибудь, куда дѣвается человѣческій взглядъ? Положимъ, тотъ, на кого ты смотришь, отражается въ твоёмъ глазѣ, но, вѣдь вмѣстѣ съ тѣмъ и ты во взглядѣ даешь часть себя. Что сдѣлалось со взглядами Маріи? Когда я гулялъ у моря среди безмѣрной тишины, купаясь въ этой огромной сферѣ воздуха и свѣта, я сталъ думать о себѣ, и все показалось мнѣ такимъ маленькимъ, блѣднымъ. Дорогой мой, что значитъ чувство человѣка въ сравненіи съ тѣмъ, что происходитъ въ мірѣ, не слишкомъ ли мы уходимъ въ себя, не слишкомъ ли мы замыкаемся въ свои чувства за счетъ нашихъ высшихъ ощущеній? Есть, вѣдь, люди, для которыхъ міръ не существуетъ, которые живутъ лишь своей внутренней жизнью. А между тѣмъ міръ кругомъ ихъ такъ безбреженъ, что въ немъ можно утонуть.

Дорогой мой, любовь моя къ Маріи можетъ меня убить, а вѣдь она такъ ничтожна въ сравненіи съ тѣмъ, что я могу понять, о чемъ я могу думать.

Вокругъ меня огромное движеніе вселенной, извѣч-



ная переменна матеріи, движенія, свѣта и теплоты, безконечная жизнь бытія. Деревья растутъ, падаютъ, гниютъ, новыя вырастаютъ на гниющихъ пняхъ среди темныхъ кустовъ и папоротниковъ... Звѣзды гремятъ гдѣ-то въ пространствѣ и звучатъ неразгаданныя туманности родящихся міровъ... А здѣсь, среди насъ, что за движеніе народовъ, что за ураганъ мыслей и дѣлъ! Что же въ сравненіи съ этимъ любовь? Не слѣдуетъ ли сказать за Мицкевичемъ: «hic obiit Gustavus, natus est Conradus»?

Дорогой мой! Что долженъ былъ чувствовать человекъ, который могъ это подумать! Понимаешь ли ты: за ними, гей за ними, соколиные мои глаза! — За чѣмъ? За чѣмъ? За этимъ водоворотомъ міра, за тучею міродѣяній! Какова должна быть душа, у которой подъ ногами клубилось все, — міръ и вѣчность, — душа, которая носилась надъ жизнью, какъ нѣкогда Духъ Божій надъ водами. А что мы?! Что мы — карлики?! Миѣ кажется, будто что-то поднимаетъ мою грудь и плечи, что-то шумитъ у меня надъ головой! Господи! Вверхъ! Вѣдь духъ существуетъ. О, если бѣ пронестись по землѣ, какъ пламенный вихрь — зажигать, свѣтить, сіять огнями... Если бѣ мчаться, какъ ураганъ самума, отъ котораго задрожали бы океаны и рѣки обратились вспять... Если бы стряхнуть съ себя все, что связываетъ и тянетъ внизъ, если бы взлетѣть и помчаться въ безконечность, какъ орелъ... Какой просторъ, какая даль! Впередъ, впередъ! Въ безконечность, въ вѣчность... Вотъ такъ жить!..



И, дорогой мой, бываютъ и прекрасныя смерти. Голова прландца Роберта Эммэ, увѣнчанная неувядаемыми лаврами, пала... Если бы такъ умереть... Что въ сравненіи съ этимъ мое чувство къ Маріи, мое несчастье? Оттуда, сверху, съ этихъ высотъ идейныхъ силъ, идейныхъ чувствъ, мыслей и дѣлъ, я чуть вижу Марію, чуть замѣчаю ее. Что значить любовь женщины въ сравненіи съ величіемъ человѣческой души? Не пойдёмъ ли мы туда, ввысь? Видишь ты эту безмѣрность, блескъ, слышишь шумъ? Море ли поднимается и несетъ меня на волнахъ куда-то въ безконечную даль, въ безконечную высь?...

---

Вѣна, 30 ноября.

Я проигрался совсѣмъ. Возвращаюсь. Я останавливаюсь передъ этимъ словомъ, какъ передъ пропастью. Какъ я тамъ буду жить? Какъ я буду существовать тамъ, гдѣ я былъ женихомъ Маріи? Какъ я буду ходить по тѣмъ же улицамъ, ходить по тѣмъ же домамъ, смотрѣть на тѣхъ же людей? Я вѣдь не сумѣю вырвать всего изъ памяти и не сумѣю думать, чувствовать и жить такъ, какъ до знакомства съ Маріею. Я не думалъ о томъ, что мнѣ придется возвратиться. Мнѣ казалось, что я всегда буду далеко отъ васъ, отъ родины, гдѣ-то въ мірѣ, одинъ, съ моею болью, съ моею тоской, съ моею мукой; мнѣ казалось, что я буду вѣчно блуждать, не думая ни о чемъ и ни о комъ, кромѣ нея. Я долженъ вернуться, долженъ снова работать, какъ



прежде, встрѣчаться съ людьми и приспособляться къ нимъ и приспособлять ихъ къ себѣ. Я жилъ теперь, словно на высокой башнѣ, на которую никто не можетъ взобраться.

Никогда я не жилъ такъ исключительно для себя, такъ гордо. Я построилъ себѣ громадный храмъ страданія, въ который никто не могъ войти, и теперь я схожу къ людямъ, въ среду людей. Нельзя высказать, что я перестрадалъ, а мнѣ все-таки жаль, что я бросаю эту башню, этотъ храмъ страданій. Я отсюда уже чувствую Варшаву. Полгода тому назадъ я чуть не выбиралъ на улицахъ камни поглаже, думая, что буду водить по нимъ Марію. Ты не знаешь, что за блаженство, когда любимая женщина взглянетъ на тебя, какъ дитя, и скажетъ: не знаю, скажи... Какъ я вернусь туда, брошенный, какъ ненужный хламъ?! Сколько ироническихъ и насмѣшливыхъ взглядовъ придется мнѣ вынести! А всѣ тѣ, кто когда-то завидовалъ мнѣ, кто такъ хотѣлъ быть на моемъ мѣстѣ! Соперники! Словно лоси изъ-за самки! Счастливая любовь одѣваетъ весь міръ серебристо-синею пеленой, все украшаетъ, но несчастная показываетъ жизнь во всей ея отвратительной наготѣ.

Въ первое время послѣ нашего разрыва мнѣ казалось, что я не долженъ надѣвать на себя то же платье, которое я носилъ, будучи ея женихомъ. Мнѣ казалось, что я все шелъ, шелъ, шелъ, что вся жизнь моя до сихъ поръ была только безсознательнымъ стремленіемъ къ одной цѣли: соединиться съ Маріей. Мнѣ ка-



залось, что все, что случалось со мной дурного и хорошаго, всё мои радости и горести, всё мои болѣзни и приключенія, вся жизнь моя была стремленіемъ къ одной дѣли: къ Маріи. Когда я смотрѣлъ въ мое прошлое, мнѣ казалось, что все такъ логически вытекало одно изъ другого, чтобы довести меня до одной точки. Моя женитьба на Маріи, которая сначала меня почти ужасала, казалась мнѣ естественнымъ результатомъ моей жизни. Вдругъ все оборвалось, все свалилось въ пропасть; и мнѣ приходится жить, какъ прежде, ѣсть, пить, одѣваться въ то же платье, въ тѣ же сапоги! Помню, когда я уѣзжалъ, у меня былъ кусокъ мыла, которымъ я мылся, будучи женихомъ. Я такъ ударилъ его о землю, что онъ разлетѣлся. Я бы охотно поступилъ такъ со всѣмъ — и съ самимъ собою. Однако, когда я вспомню, что Марія бросила меня такъ безучастно, такъ эгоистически, не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что со мною будетъ, какъ я это приму, какъ я это вынесу... Вѣдь она не знала, что я ее такъ мало люблю, что я не выскочу въ окно и не сойду съ ума... Бросить такъ легко, безъ одного взгляда, безъ вопроса: что ты сдѣлаешь съ собой? Это равносильно тому, чтобы ударить кого-нибудь по головѣ, плюнуть на любовь, на сердце...

Я чувствую, что попалъ въ какой-то омутъ, что что-то кипитъ вокругъ меня; мнѣ кажется, что солнце попало въ водяную бездну и то выплываетъ, то погружается; мнѣ кажется, что наводненіе гонитъ на меня свои мутныя, грязныя и пѣнистыя воды, а я стою



одинъ на какомъ-то столбѣ посреди водъ. Я безъ силъ, безъ мысли, безъ воли, живой трупъ. Только одно воспоминаніе упорно привязывается ко мнѣ — я было забылъ о немъ совсѣмъ. Какъ-то разъ, еще до нашей помолвки, когда между нами стали только-что завязываться отношенія, Марія была какъ-то странно раздражена и недовольна. Она долго играла на роялѣ, — помню, прелюдію Шопена, — а я сидѣлъ угрюмо въ углу. Вдругъ она перестала играть, быстро встала и сказала мнѣ: плохо, что я стала на вашей дорогѣ, я приношу людямъ несчастье, — и вышла изъ комнаты. Потомъ я забылъ объ этомъ, я былъ такъ счастливъ, — а у ней было предчувствіе того, что будетъ... Вотъ она и прошла мимо меня, какъ ангелъ смерти...

---

Краковъ, 10 декабря.

Письмо твое прибыло сюда позже меня. Инфлюэнція прошла и я ѣду дальше. Я умѣю цѣнить твою деликатность, что ты никогда ни однимъ словомъ не задѣлъ моей трагедіи. Я иначе не могъ бы писать тебѣ, а это не разъ было для меня большимъ облегченіемъ. Я возвращаюсь — возвращаюсь тотъ же, но совсѣмъ другой. Въ жизни моей что-то лопнуло, порвалось что-то такое, что не вернется никогда. Я знаю, я буду жить, какъ прежде, но жизнь моя разъ навсегда разрублена на двѣ части. Болѣзнь отрезвила меня, словно раскаленный камень выпалъ у меня изъ головы, я смотрю впередъ совершенно ясно. До сихъ поръ



у меня были огорченія и непріятности; какъ у всѣхъ людей, они оставляли послѣ себя болѣзненную память и больше ничего. Теперь на днѣ моей души лежитъ что-то, что тамъ навсегда останется, отзовется на всемъ, на все повліяетъ. Рана моя заживетъ, но не будетъ вылѣчена, я знаю. Судьба рѣшила сломать мою жизнь и выбрала для этого женщину, ее, Марію. Такъ было суждено. Когда я заглядываю въ мою душу, мнѣ вспоминаются журавли, которыхъ я видалъ у насъ въ Гопелѣ. Я пошелъ охотиться на утокъ съ нашимъ старымъ лѣсникомъ, Бартекомъ. Свѣтало. На краю болота мы увидѣли трехъ журавлей, которые сейчасъ же поднялись вверхъ, два очень быстро, третій съ трудомъ и отставая. Я спросилъ Бартека, отчего этотъ журавль такъ тяжело поднялся и летитъ медленнѣе другихъ, и онъ мнѣ объяснилъ, что иной разъ подстрѣлятъ птицу, пуля пробьетъ ей крыло, рана потомъ заживаетъ, но такая птица не будетъ уже летать такъ, какъ прежде. Я помню, что онъ сказалъ: этотъ журавль, баринъ, не перелетитъ уже моря. Упадетъ.

Мнѣ было тогда тринадцать лѣтъ и я никогда позже не думалъ объ этихъ журавляхъ, но теперь я хорошо вижу и болото, и зарождающійся день, и угрюмое, мертвое старое русло рѣки, поросшее тростникомъ. Видишь ли — моя душа, какъ этотъ журавль, въ ней навсегда останется слѣдъ удара. Жизнь моя — море. Пролетѣть его съ подстрѣленнымъ крыломъ, съ раненою душой, я не сумѣю, «упаду», какъ говорилъ



Бартекъ, упаду и погибну. Я знаю это, чувствую и спокойно смотрю въ глаза судьбѣ. Ничто не измѣнитъ ея. Чѣмъ скорѣе погибну я въ этомъ мѣрѣ, тѣмъ лучше; я ее такъ любилъ, такъ любилъ эту дѣвушку... Никто не будетъ ея такъ любить, никогда она не пойметъ безконечности этой любви.

Я говорю тебѣ: я спокойно смотрю въ глаза моей судьбѣ — не жалуясь, не бросаюсь изъ стороны въ сторону, не проклиная — я спокоенъ, мнѣ только ужасно грустно, безконечно грустно. Я такъ ее любилъ!

Но я не войду въ безымянную толпу, которая ежедневно уходитъ изъ мѣра въ бездны мрака. Во мнѣ рождается новый мѣръ воображенія, новое творческое могущество. Передъ глазами моими вырастаютъ статуи, о какихъ вы думаете даже не можете. Мраморъ дрожитъ передо мною, когда я на него смотрю. Мнѣ кажется, что мнѣ довольно ударить ногой въ мраморныя горы, чтобъ изъ нихъ явились бы высѣченныя формы, какъ Минерва изъ головы Юпитера. Я чувствую, какъ я расту. Я могу погибнуть рано, но не войду уже въ безымянную толпу. Рука моя — рука титана. Я буду лѣпить великановъ. Я брошу новое теченіе въ ваше искусство, я повлеку васъ за собой, какъ вихрь — облакъ. Все, все пало въ моей жизни, во мнѣ осталось одно только чувство, одно слово, самое гордое изъ всѣхъ словъ: я!

У ногъ моихъ гробъ съ моимъ сердцемъ. Не разъ мнѣ кажется, что у меня умеръ кто-то близкій. Иной



разъ меня тянетъ пойти на какое-то кладбище, стать на колѣни у чьего-то гроба и молиться за какое-то дорогое, умершее существо, — это мое собственное мертвое сердце у моихъ ногъ. Сколько надеждъ похоронено, ахъ, сколько! Я такъ любилъ эту дѣвушку, такъ ее любилъ, мнѣ такъ плохо жить безъ нея. Я уже больше никогда не сяду у ея ногъ, не возьму ея ручекъ, не прижму ея къ своей груди, не наклонюсь къ ней и не буду шептать ей: моя... Никогда не услышу я ея голоса... Я могу ее встрѣчать, могу видѣть ее, могу жить рядомъ съ ней, но никогда уже она не заговоритъ со мной, никогда не улыбнется мнѣ. Никогда я не услышу ея... Ахъ! какъ мнѣ жаль ея голоса, ея словъ, звука воздуха на ея зубкахъ... Какъ мнѣ жаль... Она для меня умерла, она никогда не заговоритъ со мною... Никогда, никогда, никогда...

### III.

Въ прихожей въ дверяхъ стоялъ Рдзавичъ.

— Войди, пожалуйста, — сказалъ Пшервицъ, протягивая руку.

— Нѣтъ, нѣтъ... Я пришелъ только просить тебя, чтобъ ты какъ-нибудь извинился за меня передъ Стославскимъ. Онъ видѣлъ меня на улицѣ, я не могу притвориться больнымъ, а мнѣ ужасно не хочется идти къ нему.

— Знаешь что, Биша, это Рдзавичъ, я узнаю его



по голосу, — громко сказала Лаура сестрѣ, прислушиваясь къ разговору изъ сосѣдной комнаты. — У него, вѣрно, есть дѣло къ Юрію, но онъ, пожалуй, не войдетъ, хотя тамъ разговариваетъ. Мнѣ хочется его увидѣть.

— Здравствуйте, — сказалъ Рдзавичъ, цѣлуя ея руку, — я не бываю теперь рѣшительно нигдѣ.

— Хорошо, но вѣдь мы близкіе родственники. Вы бы меня очень огорчили. У насъ только моя сестра.

— Съ этими чудными волосами и съ этимъ полнымъ огня лицомъ?

— Да.

Разговоръ шелъ о самыхъ обыденныхъ вещахъ, тѣмъ не менѣе обѣ женщины боялись, какъ бы не затронуть больного мѣста Рдзавича. Спустя немного, Рдзавичъ спросилъ:

— Что жъ, ты избавишь меня какъ-нибудь отъ этого обѣда?

— Нѣтъ, тебѣ необходимо итти. Стославскій знаетъ уже, кому онъ оказалъ услугу, и, если бы ты не пошелъ, можно было бы подумать, что ты избѣгаешь его.

— Какую же услугу оказалъ вамъ Стославскій? — спросила съ наивнымъ любопытствомъ Лаура.

Пшервиць нахмурился, но Рдзавичъ сказалъ очень просто:

— Онъ одолжилъ мнѣ по просьбѣ Юрія денегъ. Если ужъ надо итти, я пойду.

Биша должна была сдѣлать кое-какія покупки и



ушла, забравъ съ собой Пшервица. Рдзавичу пришлось его подождать.

Лаура чувствовала себя нѣсколько неловко; она рѣшительно не знала, о чемъ говорить съ Рдзавичемъ. Онъ былъ совершенно спокоенъ, но она была слишкомъ женщиной, чтобъ не чувствовать, что это спокойствіе только виѣшнее и неестественное.

Рдзавичъ молчалъ и мялъ въ рукахъ шляпу, наконецъ, спросилъ:

— У вашей сестры много дѣтей?

— Вѣдь вы знаете, двое, дѣвочка и мальчикъ.

Видно было, что Рдзавичъ хочетъ о чемъ-то говорить, но не рѣшается. Наконецъ, онъ сказалъ:

— Я хотѣлъ бы васъ спросить... — онъ остановился и посмотрѣлъ на Лауру, желая узнать, догадывается ли она, о чемъ онъ хочетъ говорить. Но Лаура не понимала, и онъ докончилъ: — Я хотѣлъ бы васъ спросить, не слышали ли вы... Я даже удивляюсь, что спрашиваю объ этомъ... — голосъ его оборвался.

Лаура стала сразу серьезной, слегка кивнула головой въ знакъ того, что понимаетъ и сказала:

— Очень мало. У насъ немного общихъ знакомыхъ. Она была въ Варшавѣ, я ее встрѣчала и на улицѣ, и въ театрѣ. Возможно, что она и теперь здѣсь.

Рдзавичъ вздрогнулъ.

— И вы ничего не знаете? — спросилъ онъ.

— Почти ничего. Знаю, что она много выѣзжаетъ.

— Я не сомнѣвался, но — онъ посмотрѣлъ на Лауру, она отвѣтила на его взглядъ:



— Нѣтъ, ничего не слыхала, — сказала она. — Вы столько видѣли теперь за границей — начала она, чтобы переменить разговоръ.

Рдзавичъ подумалъ немного, потомъ грустно улыбнулся и сказалъ:

— Вы очень добры, у васъ такой голосъ и такіе глаза, какъ майское утро, — говоря это, онъ поцѣловалъ у ней руку.

— Я бы хотѣла быть доброй, — сказала тронутая Лаура.

— Юрій очень счастливъ. У него свой домъ, своя мебель, своя точка опоры — и у него своя женщина. Я только теперь понимаю, что за блаженство можетъ быть въ обладаніи такой простой чашкой, какъ та, что видна отсюда изъ столовой, если она общая у меня и любимой женщины. Я понимаю, какой дорогой можетъ казаться тонка печей отъ сознанія, что намъ обоимъ будетъ тепло. Двѣ бѣлыя руки, наливающія чай по вечерамъ, могутъ казаться чѣмъ-то неземнымъ, ангельскимъ. И въ толпѣ, среди людей, сознаніе: это моя женщина...

Онъ умолкъ и прикусилъ губы.

— Не сомнѣвайтесь, — сказала Лаура, — еще придетъ вашъ часъ.

— О, да, мой часъ уже пришелъ.

— Что вы думаете?

— Что я — подлый трусъ и больше ничего. И кромѣ того, дуракъ. Я боюсь того, что неминуемо.

— Романъ...



— Не будемъ говорить объ этомъ. Я не хочу казаться вамъ смѣшнымъ, не хочу выставлять на показъ свое несчастье. Будемъ говорить о другомъ. Юрій много пишетъ?

— Много. А вы работаете надъ чѣмъ-нибудь?

— Я недавно пріѣхалъ, только что началъ. Очень возможно, что буду лѣпить грушу: фавнъ и нимфа въ тростникѣ.

— Мнѣ кажется, это скорѣе тема для живописи.

— Да я вѣдь живописецъ въ скульптурѣ, — улыбнулся Рдзавичъ. — У меня, впрочемъ, даже есть картина, я думаю ее послать на выставку. Это будетъ первая.

— Я знаю, что вы пишете давно, но не думала, что такъ, чтобы можно было бы выставлять, — сказала Лаура.

— Я пишу такъ же давно, какъ и лѣплю, и даже не знаю, отчего я спеціально не занимаюсь живописью. Всюду въ академіяхъ я учился тому и другому, и мнѣ говорили, что я бы смѣло могъ быть и живописцемъ. Я всегда отличался тѣмъ, что работалъ очень быстро, приблизительно вдвое скорѣе моихъ товарищей. Оттого у меня было время выучиться обоимъ искусствамъ.

— Что вы изобразили на своей картинѣ? — спросила Лаура, думая выжать изъ Рдзавича *à propos* этой картины все, что можно, а потомъ рассказать все это мужу, какъ свои собственные взгляды. Лаура ничего



не смыслила въ картинахъ и была мишенью ядовитыхъ насмѣшекъ мужа по этому поводу.

— Эту картину я назвалъ Вампиръ, — сказалъ Рдзавичъ. — Ее трудно рассказать, но, если вамъ угодно, приходите, пожалуйста, съ Юріемъ въ мою мастерскую.

Въ это время въ комнату вошелъ Пшервицъ и, положивъ руку на плечо жены, сказалъ :

— Биша вернется немного позже, а мы сейчасъ пойдемъ.

Лаура взяла руки мужа, посмотрѣла на него и сказала :

— Собственно говоря, я не должна позволять тебѣ бывать у Стославскаго изъ-за этой его Миси. Что тамъ ни говори, а все же это скандалъ. Живутъ они уже шесть лѣтъ, какъ мужъ съ женою, въ одномъ домѣ, не обвѣнчавшись. Миѣ часто говорятъ, что ты не долженъ тамъ бывать.

— Дорогая моя, — живо сказалъ Пшервицъ, — если ты больше цѣнишь миѣніе первыхъ попавшихся филистеровъ, чѣмъ мое... Было бы очень хорошо, если бы у каждой жены богатаго мужа было такое сердце, какъ у нея. Въ дурное общество я никогда не хожу, хотя бы потому, чтобы не оскорблять тебя.

— Если бы она, по крайней мѣрѣ, не показывалась, эта Мися. Пускай ихъ живутъ другъ съ другомъ, если хотятъ, но зачѣмъ же выставлять это на показъ?

— Напротивъ, — сказалъ Пшервицъ, — гораздо лучше, если у нихъ есть смѣлость открыто высказывать свои убѣжденія.



— Отчего же Стославскій не женится на ней?

— Онъ, можетъ быть, и женился бы, да она не хочетъ. Она говоритъ, что можетъ ему надоѣсть, ему лучше бы жениться на дѣвушкѣ изъ его среды; ты вѣдь знаешь, что она незаконная дочь модистки, вотъ она и не хочетъ стать на его дорогѣ. Она говоритъ, что сейчасъ бы ушла и сдѣлалась бы учительницей въ заведеніи для падшихъ женщинъ. Она много знаетъ, выучилась всевозможнымъ женскимъ работамъ, хорошо играетъ и поетъ, говоритъ по-французски, немало по-нѣмецки и по-англійски. Она все учится, такъ какъ, слава Богу, есть возможность.

— По твоему, эта Мися какой-то идеаль, — сказала Лаура. — Ты говоришь о ней съ такимъ увлеченіемъ! — она взглянула на мужа съ гримаской избалованнаго ребенка и пожалала плечиками. — Ну, такъ идите. Я знаю, что не должна тебѣ это позволять, но я тебя и такъ балую; ничего не подѣлаешь. Я тебѣ вѣрю и понимаю, что въ жизни нельзя всегда судить по шаблону. До свиданія, не забывайте о насъ, панъ Романъ. Пааа, Юрикъ, пааа!... — говоря это, она сдѣлала низкій реверансъ и свою собственную гримаску, при которой носъ ея какъ-то стягивался, губы вытягивались и сжимались, а круглый подбородокъ поджимался немного и опирался о воротничекъ.

Стославскій былъ *bête noire* всего такъ называемаго общества. Богатый наслѣдникъ страшно богатаго дяди, красивый, умный и симпатичный, онъ въ продолженіе шести лѣтъ уже жилъ съ дѣвушкой, взятой



изъ небольшого моднаго магазина. Всѣ маменьки, у которыхъ были дочери-невѣсты, и всѣ дочки, желавшія богато выйти замужъ, превращались въ змѣй и въ ядовитыхъ ящерицъ, когда кто-нибудь упоминалъ при нихъ фамилію Стославскаго. На бѣду, эта «безстыдница», «эта Мися», «эта пани Стославская» была чуть ли не самой красивой женщиной въ городѣ.

Стославскій уѣхалъ съ Мисей на два года за границу, а, когда они возвратились, у дѣвушки были манеры парижанки, одѣвалась она, какъ миссъ изъ лондонской аристократіи. Послѣ возвращенія, Стославскій сталъ держать открытый домъ и приглашать на обѣды, которыми онъ и прежде славился. Сначала немного мялись; тотъ, кто приходилъ на обѣдъ, держалъ это въ тайнѣ. Стославскій посмѣивался и продолжалъ приглашать. Обѣды были отличныя, сигары и вина перваго сорта, гости стали болѣе смѣлыми. Партія маменекъ и дочекъ неоднократно поднимала шумъ, что Стославскій развращаетъ молодежь, втягивая ее въ общество пздшихъ женщинъ, но въ виду отличной кухни, отличнаго вина и лучшихъ сигаръ, которыхъ можно было брать въ карманъ, сколько угодно, шумъ не достигалъ цѣли. Впослѣдствіи Стославскій постарался избавиться отъ гостей, приходившихъ къ нему только ради кухни, вина и сигаръ, и на субботнихъ его обѣдахъ стали встрѣчаться люди, приходившіе сюда для того, чтобы свободно поговорить обо всемъ, что творится и о чемъ пишутъ на свѣтѣ. Тогда сталъ бывать тамъ и Пшервицъ, который не бывалъ бы тамъ, если бъ жена



протестовала, но она не настаивала, видя, что мужу хочется тамъ бывать. Они часто расходились во взглядахъ и часто ссорились, но въ сущности все, что кто-нибудь изъ нихъ дѣлалъ, было хорошо.

Пшервицъ съ Рдзавичемъ пришли какъ разъ во время; уже садились за столъ. Гостей было довольно много, все мужчины, единственной женщиной была Мися. Рдзавичъ не зналъ никого, кромѣ Тенжеля, который тоже былъ приглашенъ; за столомъ онъ сѣлъ между нимъ и Пшервицемъ. Противъ него осталось одно пустое мѣсто.

— Древскій опаздываетъ, — отозвался низкій басовый голосъ съ конца стола.

Рдзавичъ посмотрѣлъ на говорящаго: это былъ громадный мужчина съ просѣдью, съ высокимъ выпуклымъ лбомъ, орлинымъ носомъ, съ густыми усами; выпуклые, круглые, сѣрые глаза, короткая борода и короткая шея, надутое выраженіе лица, не далекое, но доброе: это былъ прекрасный типъ польскаго шляхтича, лицо до такой степени типичное, что исключался даже вопросъ, красиво ли оно или некрасиво. Шляхтичъ носилъ бѣлый жилетъ съ синими горошинками, въ свѣтломъ галстухѣ видѣлась громадная золотая шпилька съ какимъ-то камнемъ.

— Что это за шляхтичъ? — спросилъ Пшервица Рдзавичъ.

— Капитанъ Іеронимъ Іосифъ Эаддей Наполеонъ Конаръ-Коваржевскій, герба Прусъ Первый. Развѣ онъ уже не сказалъ тебѣ всего этого?



— Не успѣлъ, Мися его позвала.

— Когда въ отвѣтъ на все это я ему сказалъ только: Андрей Тенжель, то онъ взглянулъ на меня, какъ арбузь на капусту, — сказалъ Тенжель.

— Это дальній родственникъ Стославскаго, что-то въ родѣ его приживальщика, управляющій деревенской больницей и пріютомъ для бѣдныхъ, которые Мися устроила въ Полетовѣ на Украинѣ. Замѣчательная фигура. Былъ когда-то на военной службѣ, былъ даже драгунскимъ поручикомъ у Гарибальди, но все мы его называемъ капитаномъ, впрочемъ, онъ не сердится и за полковника. Подожди, дай ему немного нагрузиться. Онъ говоритъ тогда глупѣйшіе экспромты стихами.

— А! Вотъ и панъ Древскій, — воскликнула привѣтливо Мися, — здравствуйте, мы васъ ждемъ съ супомъ.

Древскій поклонился и сѣлъ; онъ былъ знакомъ со всѣми, кромѣ Рдзавича, противъ котораго ему пришлось сидѣть.

— Вы знаете, какъ меня зовутъ, вы слышали? — сказалъ онъ, протягивая руку.

— Рдзавичъ.

— А, это вы авторъ Діаны? Это послѣдняя женщина, которой я увлекся.

— Жалѣю васъ, что послѣдняя, — сказалъ Рдзавичъ съ улыбкой.

— Фи! — сказалъ Древскій и махнулъ рукой.

Рдзавичъ взглянулъ на него. Древскій былъ человекъ лѣтъ двадцати-пяти-шести, — кожа да кости, — совсѣмъ плѣшивый, блондинъ, съ глазами неопредѣлен-



наго цвѣта, съ квадратнымъ лбомъ, съ длиннымъ, тонкимъ носомъ, съ блѣдными, тонкими и широкими губами, съ длинной, клинообразной бородой. Рука, которую онъ положилъ на столъ, была узкая, обтянутая выцвѣтшей кожей, похожею на ту, какая была на его лицѣ.

Рдзавичъ до сихъ поръ не видалъ ни въ комъ такой смѣси вызывающаго цинизма, даже нахальства, съ какимъ-то грустнымъ, эгоистическимъ безучастіемъ; сразу было видно, что организмъ Древскаго изношенъ до послѣдней степени.

— Кто это такой? — спросилъ тихо Тенжеля Рдзавичъ.

— Я слышу, что вы спрашиваете, — сказалъ Древскій. — Я, сударь, докторъ, который не выдержалъ ни одного экзамена. Но, если захочу, то выдержу, поѣду куда-нибудь въ деревню и буду жить, какъ животное.

— Можетъ быть, это самое лучшее, — сказалъ Рдзавичъ.

— Не «можетъ быть», но навѣрное. Что тамъ ни говори, а человѣкъ такое же животное, какъ и всѣ, немного только другое.

— Въ томъ-то и дѣло, что немного другое.

— И въ этомъ главная трагедія человѣчества. Но нѣтъ ничего дурного, чтобы не было къ лучшему. Человѣческій умъ создалъ великую вещь.

— Что такое?

— Возможность кончить игру, свободу дѣйствій. У меня всегда съ собой на всякій случай вотъ это, —



одинъ для меня, другой для любителя, — онъ вытащилъ изъ кармана жилета два завернутыхъ по аптекарски порошка.

— Васъ должно удивлять, что я съ вами говорю, словно мы десять лѣтъ знакомы. Это ужъ моя привычка.

— Меня ничто не удивляетъ, это моя привычка, — отвѣтилъ Рдзавичъ.

Древскій взглянулъ на него пристально, выпилъ немного вина, нахмурилъ брови и умолкъ.

— Съ Древскимъ что-то сегодня неладно, онъ сильно раздраженъ, — шепнулъ Пшервицу сидящій возлѣ него Стославскій.

— Господинъ Пшервицъ, — сказалъ немного спустя Древскій, — вы поэтъ; какъ вамъ кажется, что тамъ?

— Гдѣ тамъ?

— Ну, тамъ, по ту сторону.

— Тамъ? Почему мнѣ знать?

— Ужасно пріятно подумать, что если съ вами здѣсь капутъ, то и тамъ точно камень канулъ въ воду, безъ слѣда, даже травка не дрогнетъ.

— Дрогнетъ, господинъ Древскій, — сказалъ Рдзавичъ.

— Дрогнетъ? — спросилъ бессмысленно Древскій.

— Вѣдь въ ту минуту, — сказалъ Рдзавичъ, — когда вы умираете, смерть человѣка можетъ отразиться на вершинахъ Гималайскихъ горъ и на днѣ Атлантического океана, всюду. Вѣдь мы неотдѣлимая часть вселенной, все, что происходитъ во вселенной, не мо-



жетъ не отозваться на насъ и, наоборотъ, мы вліяемъ на нее. Полетъ мотылька у береговъ Амазонки вліяетъ на соціальный вопросъ, а Пелопонесская война вліяетъ до сихъ поръ на мостовую въ Амстердамѣ. Вы говорите, что человѣкъ пропадаетъ, какъ камень, безъ слѣда, но камень не пропадаетъ. Появляются круги на поверхности, одиѣ частички воды двигаются, другія доходятъ до береговъ, потрясаютъ ихъ и такъ далѣе до безконечности. Движеніе становится потомъ неосязаемымъ, но оно есть, такъ какъ нѣтъ причинъ для его прекращенія. Есть одно *regretium mobile*: движеніе матеріи. Послѣ нашей смерти дрогнетъ не только травка, но и полярное сіяніе.

— Паяъ Рдзавичъ совершенно правъ, — отозвался сидѣвшій вблизи тридцатилѣтній мужчина, въ очкахъ на свѣтло-голубыхъ глазахъ, съ темною красивой бородой.

Рдзавичъ зналъ его уже немного. Это былъ Янъ Коваль, сынъ мѣщанина изъ мелкаго мѣстечка, ботаникъ, человѣкъ съ европейской извѣстностью въ ученомъ мірѣ; но варшавская публика о немъ почти не слыхала, никогда его не причисляли къ «звѣздамъ», когда говорили о модныхъ знаменитостяхъ артистическаго и псевдо-научнаго міра.

Авторъ нѣсколькихъ, посвященныхъ ботаникѣ, трудовъ на польскомъ и англійскомъ языкѣ, онъ никогда не думалъ о пріобрѣтеніи виднаго и доходнаго мѣста, да и думать не могъ. Врагъ всякаго рода карьеризма, всякаго рода обществъ взаимнаго преклоненія и обо-



жанія, врагъ «провинціальной» популярности, человекъ цивилизованный въ полномъ значеніи этого слова, онъ зналъ одну догму: правду; одно средство карьеры: трудъ; и съ этимъ девизомъ «правда и трудъ», онъ шелъ въ міръ, пріобрѣтая все болѣе и болѣе крупное имя въ Англіи, Франціи и Германіи. Онъ не искалъ мѣста при какомъ-нибудь казенномъ или частномъ учебномъ заведеніи, такъ какъ Стославскій учредилъ значительную стипендію для занимающихся естествознаніемъ, съ условіемъ писать ученые труды на польскомъ и на одномъ изъ западно-европейскихъ языковъ; стипендію эту онъ далъ Ковалю, думая вмѣстѣ съ тѣмъ открыть въ Варшавѣ частный ботаническій музей, по примѣру музея Дзедушицкихъ въ Львовѣ. Двѣ недѣли тому назадъ Коваль возвратился изъ Бразиліи съ богатымъ матеріаломъ, надъ которымъ онъ думалъ работать здѣсь, а потомъ принять участіе въ научной экспедиціи въ глубь Афірики.

— Онъ у меня вышелъ лучше всѣхъ, — говорилъ о немъ Стославскій, который помогалъ множеству молодыхъ людей, соперничая, такимъ образомъ, съ подвальной благотворительностью Миси. Коваля онъ, кромѣ дружбы, чрезвычайно уважалъ, какъ умную голову и «европейскую знаменитость».

Древскій посмотрѣлъ на Коваля и, сметая крошки хлѣба на полъ, сказалъ:

— Конечно, панъ Рдзавичъ правъ и, если вообще надо чего-нибудь стыдиться, то я стыжусь того, что такая простая мысль не пришла мнѣ въ голову.



Я думалъ не разъ о смерти, эта тема такъ же хороша, какъ всякая другая.

— Но, можетъ быть, ее перемѣнить? — отозвался Пьервицъ. — Вы дѣлаете изъ обѣда кладбище. Кажется, панъ Коваль, вы привезли какіе-то сказочные цвѣты изъ Бразиліи?

— Простите меня, пожалуйста, — сказалъ вдругъ Древскій, вставая отъ стола. — Я долженъ выйти на минуту узнать въ Европейской гостиницѣ, пріѣхала ли моя мать. Я получилъ сегодня утромъ письмо. Сейчасъ прійду.

— А гдѣ ваша мать? — спросила Мися.

— У пани Швальбе, Знаете? Она урожденная Вырай-Пшемская; мать моя тамъ уже два мѣсяца служить бонной при дѣтяхъ, въ деревнѣ.

Древскій сказалъ это совершенно спокойно, но всѣ почувствовали себя нѣсколько неловко за него. Онъ слегка поклонился и вышелъ.

— Что за странная личность, — сказалъ кто-то.

— Ахъ, это очень несчастный человѣкъ, — сказала Мися; — съ истощеннымъ организмомъ, больной, безъ тѣни воли, безъ тѣни энергіи, ищущій только забвенія по какимъ-то вертепамъ. Сколько я его ни уговаривала, чтобъ онъ взялся за работу, все напрасно. Если онъ не хочетъ держать экзамены, то вѣдь Тадеушъ могъ бы ему выхлопотать какое-нибудь мѣсто; онъ будто соглашался, но только будто. Онъ скрываетъ это, но я вижу, что онъ крайне огорчается, что мать его должна служить. Но намъ онъ ничего не сказалъ,



вѣдь мы бы для нея что-нибудь придумали. Онъ невозможенъ тѣмъ, что самымъ ненужнымъ образомъ открываетъ свои интимныя дѣла передъ людьми, которыхъ видитъ въ первый разъ, а того, что надо и кому слѣдуетъ, не скажетъ.

— Я зналъ, какъ же, зналъ Древскихъ, — сказалъ капитанъ Конаржевскій. — У нихъ было имѣніе недалеко отъ Кутна. Она была прелестной женщиной. Но этого молодого Древскаго я знаю очень мало; кажется, вижу его всего въ третій разъ.

— Мы возьмемъ Древскую отъ этихъ Швальбе, правда, Мися? — сказалъ Стославскій.

— Конечно, дорогой мой, сейчасъ же. Только какъ бы это сдѣлать, чтобы онъ не обидѣлся?

— Мы подумаемъ объ этомъ, — сказала Стославскій. — Я люблю этого Древскаго. Онъ очень хорошій малый, хотя мнѣ ни въ комъ не приходилось встрѣчать такого полного отсутствія нравственности и этическихъ принциповъ, какъ у него. Притомъ у него страннѣйшій умъ, онъ можетъ подвергать анализу самыя тонкія человѣческія чувства, а такихъ словъ, какъ патріотизмъ, общественная польза, такихъ самыхъ элементарныхъ понятій онъ словно совсѣмъ не поимаетъ. При всемъ томъ онъ предпочтетъ всегда сказки Андерсена или Гофмана — Гюисмансу, Мендесу, Бодлэру, а къ гусямъ въ полѣ и грязной дѣвкѣ, пасущей ихъ, онъ можетъ присматриваться по цѣлымъ часамъ.

— Ну, это *decadens decadentissimus*, — замѣтилъ кто-то изъ гостей.



— Да, странная натура, — продолжалъ Стославскій.

— Я затащилъ его какъ-то къ себѣ въ деревню. Взялъ онъ въ одну руку Метерлинка, въ другую Верлена и ушелъ. Жду его къ обѣду, нѣтъ... Иду искать и нахожу его передъ корчмой, углубившагося въ «Les sept princesses», а въ корчмѣ свадьба, и мужики отплясываютъ оберка такъ, что уши трещать. Онъ доказывалъ мнѣ потомъ, что контрастъ даетъ много эффектовъ, и что, на примѣръ, «Пана Тадеуша» лучше всего читать подъ звуки балладъ или прелюдій Шопена, ради такого же контраста духа этихъ произведений. Впрочемъ, онъ съ однимъ и тѣмъ же чувствомъ вслушивается въ краковякъ и въ «Danse macabre».

— Ну, а какой онъ сынъ? — спросилъ Коваль, — Какъ онъ съ матерью?

— Я думаю, что такъ, какъ со все́ми. Насколько я его знаю, онъ способенъ къ величайшему самопожертвованію, и я увѣренъ, что онъ охотно ходилъ бы въ одной рубашкѣ по морозу, лишь бы матери его было тепло въ шубѣ, но сдѣлать для нея что-нибудь, измѣнить свои привычки, этого онъ не умѣетъ. Онъ будетъ испытывать внутреннюю борьбу, но не захочетъ шевельнуть пальцемъ.

— Или не сможетъ, — сказалъ Коваль.

Двери открылись, и въ дверь вошелъ Древскій. Онъ былъ блѣднѣе прежняго, и на губахъ его играла неестественная улыбка.



— Что ты такъ скоро вернулся? — спросилъ Сто-  
славскій. — Ты вѣдь не могъ дойти даже до угла.

— Не надо было, — отвѣтилъ Древскій, стараясь  
сказать это возможно безучастнѣе, даже съ отгѣнкомъ  
юмора.

— Какъ такъ?

— Я видѣлъ мать.

— Гдѣ?

— На козлахъ, — сказала Древскій такъ же, какъ  
прежде.

— Какъ это, на козлахъ? — спросила Мися съ уди-  
вленіемъ.

А Древскій, усаживаясь на прежнемъ мѣстѣ, ска-  
залъ съ дѣланымъ спокойствіемъ и съ тѣмъ же от-  
гѣнкомъ торжественнаго юмора:

— Господа, какъ вы думаете, если вамъ пятьде-  
сять семь лѣтъ, то вы очень устанете, проѣхавъ  
50 верстъ на козлахъ? *Nota bene*, если вы не кучеръ  
и не лакей по происхожденію, — добавилъ онъ, отвѣ-  
чая на нахально-горделивый взглядъ молодого, бога-  
таго выскочки, получившаго дворянство нѣсколько лѣтъ  
тому назадъ, которому удалось какъ-то попасть на  
обѣды Стославскаго. Никто не отвѣчалъ, а Древскій,  
окинувъ взглядомъ присутствующихъ, выпилъ большой  
стаканъ мадеры.

— Ну, пить я еще могу, а остальное давно прахомъ  
пошло! — Онъ выпилъ другой стаканъ и обратился къ  
Рдзавичу: — Что вы думаете о кирпичѣ, который на-  
даетъ человѣку на голову?



— Что, если бы тотъ, на чью голову онъ упалъ, вышелъ изъ дому секундою раньше или позже, то кирпичъ не упалъ бы ему на голову, — отвѣтилъ Рдзавичъ.

— Вотъ видите, и я такъ думаю. Но отчего онъ вышелъ именно тогда, а не раньше и не позже?

— Чтобы на это отвѣтить, надо знать первопричину всего.

Барабанщикъ и трубачъ—

Два брата, надо вамъ знать,—

сказалъ серьезно на концѣ стола капитанъ Конаржевскій.

— Видите... Но, впрочемъ, все равно, продолжалъ Древскій. — Выпейте со мной; эта мадера отличная. У насъ тоже бывала хорошая, я еще помню. Знаете что, послѣ двухъ-трехъ рюмокъ хорошаго вина или коньяку я становлюсь еще туда-сюда; какъ видите, меня такъ съѣла «любовь» — слово это онъ выговорилъ какъ-то особенно, — что на мнѣ остались только кожа да кости. Это она, «пѣннорожденная и златокудрая Венера», какъ говоритъ гдѣ-то господинъ Пшервицъ, подкосила меня. А теперь даже начинаетъ смѣяться надо мною, словно мнѣ восемьдесятъ лѣтъ, а не двадцать шесть... Видите ли, моя мать проѣхала отъ деревни Тжемскихъ, то есть 50 верстъ. Я встрѣтилъ экипажъ. Если бы я вышелъ на полминуты раньше или позже отсюда, я бы его не встрѣтилъ. Вполнѣ естественно, что моя мать ѣхала на козлахъ.



Пани Швальбе и ея сестра, Мадзя Вырай-Тжемская, сидѣли на заднемъ сидѣньи, двое дѣтей на переднемъ, а моя мать на козлахъ. Это вполнѣ естественно. Не могла же mademoiselle Мадзя или кто изъ дѣтей сидѣть на козлахъ; они маленькія, могли бы упасть, но вѣдь не разорилась бы пани Швальбе, у которой два милліона, ради которыхъ она и вышла за своего мужа, если бы наняла крестьянскую повозку, разъ ужъ ей жаль было своихъ лошадей... Это стоило бы два, три рубля... Мама не казалась мнѣ даже усталой. О, совсѣмъ нѣтъ.

Капитанъ Конаржевскій запѣлъ какую-то непонятную пѣсенку, а потомъ забарабанилъ своими громадными пальцами маршъ, который онъ называлъ пьемонтскимъ. Древскій, какъ бы улучивъ минуту, когда вниманіе всѣхъ сосредоточилось на капитанѣ, всталъ изъ за стола и прошелъ въ сосѣдную комнату.

— Отчего у него такое довѣріе ко мнѣ? — думалъ Рдзавичъ. — Ему еще хуже жить, чѣмъ мнѣ... А, можетъ быть, онъ оттого говорилъ такъ со мною, что и я живымъ умираю...

— Изъ этого Древскаго и собака ничего не вылижетъ, — пробормоталъ Тенжель.

Между тѣмъ кто-то изъ гостей сталъ рассказывать о послѣдней драмѣ Гауптмана, которую онъ видѣлъ въ Берлинѣ, такъ что прошло минутъ десять, пока Мися спросила, наконецъ, Стославскаго, куда дѣлся Древскій?



— Пошелъ туда, — отвѣтилъ Стославскій, показывая на сосѣдную комнату.

— Что онъ тамъ дѣлаетъ? — И Мися встала и пошла за Древскимъ въ сосѣдную комнату.

— Этотъ будущій докторъ со своей мамашей не особенно былъ здѣсь нуженъ... *C'est dégoûtant!* — замѣтилъ вполголоса, дѣлая гримасу, молодой выскочка. — Развѣ обѣдъ кажется вамъ сегодня хуже? — сказалъ живо Пшервицъ и, обращаясь къ Рдзавичу, шепнулъ: — Стославскій принимаетъ этого болвана, это какой-то его родственникъ, но я знаю, что они оба съ Мисей терпѣть его не могутъ.

Вдругъ изъ глубины комнатъ раздался страшный крикъ Мисы; всѣ вскочили.

— Оставайтесь, пожалуйста! — крикнулъ Стославскій и побѣжалъ туда. Онъ тотчасъ же возвратился блѣдный, испуганный, крича:

— Воды, скорѣе! Мися въ обморокъ! Древскій отравился...

Тенжель схватилъ графинъ съ водою и побѣжалъ за Стославскимъ. Въ третьей комнатѣ за столовой, въ кабинетѣ для куренія, лежала въ обморокъ Мися, Древскій сидѣлъ у стола на стулѣ, окоченѣвшій и посинѣвшій, съ руками въ карманахъ, съ откинутой головой, съ пѣной на губахъ, мертвый.

Мися вскорѣ пришла въ себя.

— Посмотрите, не бьется ли у него еще сердце? — спросила она со стула, на которомъ посадилъ ее Стославскій. — Надо сейчасъ же послать за докторомъ...



— Нѣтъ, сердце уже не бьется, — сказалъ Тенжель, положившій руку на грудь Древскаго.

— Это ужасно, ужасно... Такая смерть, — говорила въ ужасѣ Мися.

Между тѣмъ гости и прислуга столпились около трупа. Рдзавичъ увидалъ на столѣ бумажку, которую ему показывалъ Древскій.

— Тутъ что-то написано, — сказалъ онъ показывая на клочекъ, лежавшій возлѣ бумажки, въ которой былъ ядъ. — Это къ вамъ, господинъ Стославскій, адресъ подписанъ.

Стославскій взялъ и сталъ громко читать дрожащимъ отъ волненія голосомъ:

«Простите меня, пожалуйста, что я надѣлалъ вамъ хлопотъ, я бы могъ такъ же хорошо отравиться и въ другомъ мѣстѣ, но я сегодня специально настроенъ и боюсь, что это можетъ пройти, а съ меня уже довольно. Кто-то весьма остроумно замѣтилъ, что жизнь достаточно плоха, чтобы рѣшить покончить съ нею, но чтобы это сдѣлать, нуженъ поводъ. Я, наконецъ, нашелъ поводъ. Этотъ поводъ во мнѣ. Мнѣ во всякомъ случаѣ слишкомъ не по себѣ, и я не хотѣлъ бы, чтобы это продолжалось дольше, но мнѣ было бы также неприятно, если бъ мнѣ пришлось стараться, чтобы было иначе. Я выбираю среднее: выхожу въ отставку и избѣгаю того и другого. Знаете, что? Вы дѣлаете такъ много добра людямъ, у васъ столько денегъ, назначьте моей матери рублей тридцать, а то и пятнадцать пожизненной пенсіи, пусть она ѣстъ сухой хлѣбъ,



но не ѣздить на козлахъ у пани Швальбе, урожденной Вырай-Тжемской. Видите, я васъ прошу объ этомъ безъ всякой церемоніи. Во всякомъ случаѣ я благодаренъ козламъ, а то, если бы не они, то я бы еще коптиль небо, и мать моя, пожалуй, пріѣхала бы когда нибудь въ Варшаву сзади экипажа, вмѣсто чемодана, съ пани Швальбе, урожденной Вырай-Тжемской. Я увѣзжаю въ увѣренности, что вы будете помнить о моей матери до ея отъѣзда, то есть, говоря яснѣе, до ея смерти. На тѣ тысячу двѣсти рублей, которыя я вамъ долженъ, вы можете поставить крестъ, другіе же мои кредиторы — какіе угодно знаки, смотря по ихъ вѣроисповѣданію. У пани Михалины цѣлую ручки и благодарю ее прежде всего за фланелевый поясъ, который она прислала мнѣ во время болѣзни, и, кромѣ того, я прошу ее не оставлять мою мать. Я мчался бы отсюда, какъ на свадьбу, если бы былъ увѣренъ, что кромѣ денегъ она дастъ ей еще немного своего сердца. Всѣмъ моимъ знакомымъ я желаю, чтобъ они такъ же мало боялись смерти, какъ я, когда подвернется случай. Скажите пану Рдзавичу, что онъ мнѣ очень понравился и что я ему этого желаю прежде всѣхъ. У него слишкомъ глубокіе глаза, чтобъ онъ могъ кончить дурно, такъ называемой естественной смертью. Что же неестественнаго въ моей? Развѣ я не такъ же окоченѣлъ, какъ если бы умеръ отъ воспаленія легкихъ или тифа? По всей вѣроятности, у меня немного пѣны на губахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, я просилъ бы господина Рдзавича, чтобы онъ обратилъ вниманіе на бли-



жайшее сѣверное сіяніе, отразится ли на немъ моя смерть? Займитесь моею матерью, которую отдавъ мнѣ на попеченіе мой отецъ передъ своимъ переѣздомъ съ Краковскаго предмѣстья на кладбище. «Мать свою ты долженъ ставить выше всего». — сказалъ онъ. Она и была высоко, на козлахъ. Велите меня ежечь, если можно, впрочемъ, это мнѣ все равно.

Tout à vous  
Игнатій Древскій».

Воцарилась глубокая тишина. Немного спустя, Мися встала съ кресла, подошла къ тѣлу Древскаго, перекрестила его голову и, положивъ руку на голову, сказала мягкимъ, тронутымъ голосомъ:

— Спи спокойно, клянусь тебѣ, что буду для твоей матери дочерью до смерти...

Пшервицъ взялъ ея руку, пожалъ ее сердечно и сказалъ: — Вы такъ же добры, какъ моя жена.

Мися вдругъ немного попятилась назадъ, посмотрѣла на него минутку, потомъ обняла его шею и, прижимая голову къ его груди, проговорила съ плачемъ:

— Какъ? Вы не стыдитесь? Вы не стыдитесь сравнивать меня съ своей женой? Вы не стыдитесь меня?

Рдзавичъ стоялъ надъ трупомъ Древскаго и думалъ прежде всего о томъ, что этотъ человекъ минуту тому назадъ жилъ; онъ чувствовалъ, что всѣ думали о томъ же. Въ то же время онъ почти безсознательно понималъ, что эта мысль — самая простая, которая могла прійти въ эту минуту въ голову, и самая есте-



ственная. Онъ смотрѣлъ на Древскаго и видѣлъ его удивительно тихое, холодное спокойствіе. Длинный носъ сдѣлался еще длиннѣе, блѣдное лицо совсѣмъ побѣлѣло, пѣна на губахъ засохла. Онъ сидѣлъ на креслѣ съ откинутой головой, съ руками въ карманахъ; никто не смѣлъ его коснуться. Всѣ говорили вполголоса, съ какимъ-то почтеніемъ. Прислуга, которая до сихъ поръ относилась къ нему слегка свысока, такъ какъ онъ плохо одѣвался и никогда не давалъ «на водку», смотрѣла на него теперь съ уваженіемъ.

— Какой онъ баринъ теперь, — думалъ Рдзавичъ, — какъ онъ теперь *du haut de sa grandeur* можетъ смотрѣть на мелкія, людскія дѣла. Онъ теперь выше всего... Или скорѣе онъ ничто во всемъ...

Стославскій велѣлъ послать за докторомъ и дать знать полиціи. Гости стали одинъ за другимъ, не прощаясь, уходить домой. Стославскій не позволилъ трогать тѣла, чтобъ полиція нашла его въ томъ положеніи, какъ его застали. При Древскомъ остались только онъ, Мися, Пшервицъ съ Тенжелемъ, капитанъ Конаржевскій и Рдзавичъ.

— Какъ дать знать бѣдной матери? — шепнула Мися.

— Все-таки необходимо дать знать; вѣдь сейчасъ же разойдется по городу и будетъ въ утреннихъ газетахъ, — сказала Пшервицъ.

— Но какъ дать ей знать? У меня не хватаетъ смѣлости... И притомъ, развѣ я могу пойти туда? Въ глазахъ здѣшнихъ людей такая женщина, какъ я, не



смѣетъ дать знать матери, что ея сынъ отравился... здѣсь у насъ... Я это вполне понимаю... Что дѣлать?

— Я пойду къ госпожѣ Древской, — отозвался капитанъ Конаржевскій. — Отъ стараго знакомаго ей легче будетъ услышать... Я видѣлъ матерей, зарѣзанныхъ дѣтей которыхъ пра мнѣ живыми бросали въ огонь... Я пойду къ ней, мы будемъ вмѣстѣ плакать о нашихъ потерянныхъ дѣтяхъ...

Стославскій съ удивленіемъ посмотрѣлъ на капитана; онъ былъ не женатъ и никогда не вспоминалъ до сихъ поръ о какихъ бы то ни было потерянныхъ дѣтяхъ.

— Пойдемъ отсюда, — шепнула Мися, — я начинаю бѣяться.

— Я здѣсь еще немного побуду, я останусь, — сказалъ Рдзавичъ.

Тенжель взялъ его за руку.

— Зачѣмъ ты здѣсь останешься? — сказалъ Тенжель. — Пойдемъ.

— Нѣтъ, я останусь на минуту.

— Снимите, пожалуйста, съ него маску, — сказалъ Стославскій. — Я сейчасъ велю принести гипсъ. А теперь пойдемъ.

Рдзавичъ остался одинъ съ трупомъ Древскаго. Въ комнатѣ было почти темно; только изъ третьей комнаты видѣнъ былъ свѣтъ. Имъ овладѣлъ нервный страхъ; онъ было двинулся къ дверямъ, чтобъ пойти за другими, но вмѣсто этого какъ бы нарочно совсѣмъ притворилъ двери.

Почти совершенно смерклося; тѣло Древскаго на



креслѣ потеряло форму и контуры и казалось чѣмъ-то темнымъ, продолговатымъ. Рдзавичъ боялся отойти отъ дверей и держалъ ручку. Но, снова преодолевъ себя, онъ бросилъ ее и шагнулъ къ Древскому. Онъ почувствовалъ, что холодныя мурашки забѣгали по его спинѣ, и хотѣлъ было убѣжать, но вмѣстѣ съ тѣмъ сказалъ себѣ: «Чего я, собственно говоря, боюсь?.. Что это такое?.. Человѣческое тѣло, только мертвое. Чего же бояться?» Онъ подошелъ къ отравившемуся и, повторяя себѣ, что нечего бояться, положилъ ему руку на лобъ. Лобъ былъ холоденъ и производилъ впечатлѣніе окостенѣвшей кожи. Рдзавичъ не отнималъ руки и чувствовалъ, что между нимъ и этимъ мертвымъ человѣкомъ существуетъ какая-то связь, какая-то близость. Прежде всего ему казалось, что ихъ сближаетъ то, что между ними стоитъ только жизнь, т. - е. то, что во всякое время можетъ перестать ихъ отдѣлять и что вполне зависитъ отъ его воли. У Древскаго остался еще одинъ порошокъ; онъ могъ бы это сдѣлать сейчасъ же. Значитъ, кромѣ этой паутины, которую такъ легко порвать, ихъ ничто не отдѣляетъ. Отчего этотъ человѣкъ обращался отдѣльно къ нему въ своемъ письмѣ? Значитъ, онъ былъ одною изъ послѣднихъ мыслей Древскаго... Древскій какъ бы предсказывалъ ему такой же конецъ... И не онъ одинъ это предсказывалъ. Рдзавичъ почувствовалъ, что тѣло его слегка, но какъ-то тревожно задрожало. Отчего именно противъ него нашлось сегодня за столомъ свободное мѣсто для Древскаго? Иначе они не говорили



бы другъ съ другомъ, и Древскій не написалъ бы того, что написалъ. И отчего именно сегодня Древскій отравился? Кто знаетъ; можетъ быть, если бъ онъ не встрѣтился съ нимъ, и они не говорили бы о смерти, онъ бы этого не сдѣлалъ? Онъ былъ очень возбужденъ. Если бъ онъ разговаривалъ съ кѣмъ-нибудь другимъ, то навѣрное вышелъ бы немного позже или немного раньше отъ Стославскаго и не увидѣлъ бы своей матери на козлахъ пани Швальбе, а это во всякомъ случаѣ было толчкомъ, побудившимъ его покончить съ собой. Рдзавичъ чувствовалъ, что онъ, хотя и случайно, но до нѣкоторой степени былъ все же одною изъ причинъ смерти Древскаго. Вдругъ ему показалось, что трупъ зашевелился. Онъ такъ испугался, что чуть не вскрикнулъ и не бросился къ дверямъ. Но тотчасъ подумалъ, что, по всей вѣроятности, у него самого дрогнула рука; это и показалось ему движеніемъ мертваго тѣла. Теперь, однако, онъ больше не былъ въ состояніи держать руку на лбу Древскаго; что-то ее сбрасывало. Онъ снова сталъ бояться, и страхъ все увеличивался. Ему стало казаться, что до сихъ поръ у него было что-то общее съ мертвецомъ, съ его недавнею, еще неостывшею жизнью, теперь же Древскій сталъ чѣмъ-то чуждымъ, страшнымъ. Онъ отскочилъ къ дверямъ, а потомъ побѣжалъ къ нимъ съ такимъ страхомъ, словно какая-то ужасная, холодная, мертвая рука гналась за нимъ. Онъ выбѣжалъ въ другую комнату и захлопнулъ двери. Здѣсь было свѣтло, въ дверяхъ стоялъ Тенжель.



— Что ты здѣсь дѣлаешь? — спросилъ Рдзавичъ, стараясь скрыть страхъ.

— Я ждалъ тебя. Я хотѣлъ было уже войти. Я безпокоился.

— Миѣ хотѣлось узнать, какія чувства испытываешь наединѣ съ мертвымъ. Отца я совсѣмъ не боялся, хотя и былъ моложе. Можетъ быть, оттого, что онъ былъ такъ же прекрасенъ послѣ смерти, какъ при жизни, и лежалъ на цвѣтахъ съ улыбкою несказаннаго спокойствія. Теперь я испугался, надо признаться... Ты уходишь?

— Я хочу снять маску. Помоги миѣ.

— Нѣтъ, я больше туда не войду...

— А куда ты пойдешь?

— Не знаю, въ городъ. Пшервица нѣтъ?

— Они ждутъ извѣстій отъ капитана или его самого. Стославскій...

Тенжель не кончилъ; они вдругъ услышали незнакомый женскій голосъ: «Гдѣ онъ!?» И увидѣли пожилую сѣдую женщину въ темномъ бѣдномъ платьѣ, опирающуюся на руку Конаржевскаго. За нею шли Мися, Стославскій, Пшервицъ и лакей Стославскаго.

— Мать! — шепнулъ Тенжель.

Женщина прошла мимо Тенжеля и Рдзавича, не вида ихъ, несмотря на то, что глаза ея даже остановились на минуту на нихъ. Глаза ея были какъ бы стеклянные, широко открытые и неподвижные, какъ все лицо, которое было теперь не лицомъ, а символомъ страшнаго отчаянiя. Тенжель отворилъ двери въ тем-



ную комнату; туда упалъ блескъ лампъ и освѣтилъ бѣлое лицо Древскаго и его окоченѣвшее тѣло съ откинутою головой и руками въ карманахъ.

Пани Древская пронзительно крикнула:

— Игнась!

И, унавъ возлѣ кресла на колѣни, обняла тѣло сына руками и прижала къ нему свою сѣдую голову и губы. Она не плакала, не тряслась отъ рыданій, не стонала, она застыла на трупѣ и казалась такою же мертвою, какъ онъ. Мися и Конаржевскій стали возлѣ пани Древской на колѣни, Тенжель и Стославскій стояли вблизи, блѣдные, какъ полотно. Пшервица не было въ комнатѣ. Рдзавичъ думалъ: «Однако, она не умираетъ, не умираетъ... Не умираетъ она такъ же, какъ онъ не умеръ, потерявъ Марію. А онъ бы жилъ, если бы такъ стоялъ на колѣняхъ возлѣ ея трупа»? При этой мысли что-то сжалось въ немъ, его дыханіе захватило отъ ужаса. Вѣдь и Марія будетъ такимъ же холоднымъ, застывшимъ и страшнымъ трупомъ... Ему было страшно жаль Древскую, но теперь ему вдругъ стало ужасно больно и жалко Марію: и ее тоже ждетъ смерть, да, смерть, къ которой она ежедневно приближается... Ему хотѣлось бѣжать къ ней, обнять ее голову, прижать къ груди и повторять ей: «бѣдная ты, бѣдная!»! Смерть казалась ему какимъ-то живымъ реальнымъ существомъ, отъ котораго ему хотѣлось бы закрыть Марію собой, своей жизнью, съ которымъ онъ могъ бы бороться изъ-за Маріи.



— Пришелъ докторъ и полиція, — отозвался вполголоса лакей, обращаясь къ Стославскому.

Рдзавичъ пришелъ въ себя, взглянувъ еще разъ на замерзшую у трупъ сына пани Древскую, и быстро вышелъ изъ комнаты, а потомъ на улицу. Свѣжій воздухъ сразу ошеломилъ его, у него помутилось въ головѣ.

Было около восьми часовъ вечера. Снѣгъ падалъ большими влажными бѣлыми хлопьями. Тротуары и улицы были покрыты толстой мягкой пеленой, въ которую погружались ноги. Свѣтъ фонарей изъ-за стенокъ, залѣпленныхъ влажнымъ снѣгомъ, казался матовымъ, едва виднымъ. Не было слышно ни топота лошадей, ни скрипа саней, одни звонки глухо звучали. Люди съ поднятыми воротниками, съ зонтиками двигались безъ шума. Было тихо и туманно.

Рдзавичъ шелъ, не думая ни о чемъ. Прежде всего онъ чувствовалъ, что онъ на свѣжемъ воздухѣ и что онъ совершенно одинъ и совершенно свободенъ. У него было чувство какого-то облегченія, а вмѣстѣ съ тѣмъ сознаніе, что съ нимъ случилось что-то страшное. Прежде чѣмъ снова думать о смерти Древскаго, мысль его повернула въ другую сторону. Пани Пшервиць не знала навѣрное, въ Варшавѣ ли Марія, но думала, что она здѣсь, была почти увѣрена въ этомъ. Онъ могъ бы съ ней встрѣтиться... При этой мысли его бросило въ жаръ такъ, что онъ долженъ былъ ловить воздухъ губами, ноги задрожали подъ нимъ, сердце стало быстро биться. Съ минутою ему казалось, что



онъ упадетъ въ обморокъ. Расширенными глазами онъ сталъ смотрѣть впередъ. Передъ нимъ шагахъ въ пятнадцать шли двѣ дамы подъ зонтиками. Одна изъ нихъ сзади была совсѣмъ похожа на Марію... Можетъ быть, это она?! Въ немъ родились сразу три страстныхъ желанія: убѣжать и скрыться; догнать и обратить на себя вниманіе; догнать, посмотрѣть, но остаться незамѣченнымъ... Но въ ту же минуту по другую сторону улицы Рдзавичъ увидѣлъ снова двухъ дамъ, изъ которыхъ одна также могла быть Маріей... Онъ быстро пробѣжалъ нѣсколько шаговъ впередъ, потомъ остановился, сошелъ съ тротуара на улицу, простоялъ немного въ неувѣренности, повернулъ назадъ, хотѣлъ итти за тѣми и снова остановился... Мимо проѣзжали кареты, въ каждой изъ нихъ могла быть Марія; каждая изъ дамъ, закутанная въ шубу, въ быстро мчащихся саняхъ, могла быть ею... Наконецъ, онъ рѣшился; онъ почти побѣжалъ за тѣми двумя дамами, которыхъ онъ увидѣлъ раньше. По мѣрѣ того, какъ онъ приближался, сердце его билось все сильнѣе, и ему становилось все жарче, онъ почти вспотѣлъ. Добѣжалъ до нихъ и хотѣлъ убѣжать... Подошелъ... Это могла быть она, она, Марія, та Марія, которая была его невестою, которую онъ прижималъ къ груди, съ которою они столько пережили вмѣстѣ, Марія, которая должна была быть его женой, съ которою его ничто не должно было раздѣлять, она — любимая, желанная... она — потерянная... Еще шагъ, и вотъ передъ нимъ та женщина, о которой онъ тосковалъ, о которой онъ такъ



плакалъ, о которой онъ думалъ го цѣлымъ днямъ, которую онъ звалъ по цѣлымъ ночамъ. Еще шагъ, и передъ нимъ его любимая Рыся, которую онъ когда-то спросилъ: «Хочешь быть моею?» А она прижалась къ нему всѣмъ тѣломъ, шепнула: «возьми меня!»...

Сколько разъ они были другъ съ другомъ, голова съ головой, сердце у сердца... И теперь ихъ раздѣляетъ всего одинъ шагъ... И онъ этого шага не можетъ, не смѣетъ сдѣлать! Ахъ, можетъ быть, все это былъ сонъ! Можетъ быть, они никогда не разставались, можетъ быть, онъ вышелъ изъ дому, чтобы ее встрѣтить и пойти куда-нибудь вмѣстѣ... Они будутъ сидѣть другъ возлѣ друга, одни, и будутъ разговаривать. Такъ, словно у нихъ одна общая душа, у которой двѣ гармонически настроенныя струны, и они будутъ такіе свои, такіе ясные и добрые для людей...

Сколько разъ они сидѣли свои, свѣтлые... Она снова будетъ время отъ времени склонять украдкой свою милую головку къ его плечу и протягивать ему за стуломъ ручку или шепнетъ ему: «ты, маленькій!» Сколько разъ бывало такъ, сколько разъ... Люди казались ему тогда какими-то тѣнями, они почти не существовали для него, а онъ смотрѣлъ на нихъ такъ лучезарно... Онъ чувствовалъ въ себѣ такое широкое, большое сердце; отъ нея плыло къ нему какое-то благородное чувство симпатіи къ людямъ и такой высокой, солнечный умъ. Они разговаривали иногда о самыхъ простыхъ вещахъ, а тѣмъ не менѣе его душа измѣнялась и перерождалась подъ вліяніемъ малень-



кихъ сладкихъ словъ Маріи. Душа его какъ-то кристаллизовалась, очищалась. Благодаря Маріи, онъ бросалъ землю и душою возносился въ небеса; онъ чувствовалъ, что душа его превращается въ громадный лучезарный цвѣтокъ. Могла ли она, эта женщина, его добрый гений, могла ли она его бросить!... Нѣтъ, не можетъ быть, чтобы она больше ничего не чувствовала къ нему! Если бы онъ теперь подошелъ къ ней, протянулъ ей руку, взялъ ее за руку и шепнулъ бы ей грустно: «Смотри, это я, я тебя люблю, какъ прежде, даже во сто разъ болѣе, я столько вытерпѣлъ, я такъ грустилъ, я жить не могу безъ тебя. Вѣдь ты сказала мнѣ: «возьми меня», — вѣдь мы не разъ сидѣли голова съ головой, сердце у сердца, вѣдь ты клялась мнѣ, что не бросишь меня никогда, что бы ни было»...

Вдругъ другая женщина сказала довольно громко: «Яника, *lève tà robe*, грязь ужасная». Это была не Марія... Онъ повернулъ и почти побѣжалъ за другими. Онъ такъ хотѣлъ ее увидѣть! Но найти ихъ онъ не могъ. Онъ заглядывалъ въ боковыя улицы. Не зная, куда итти. На другомъ тротуарѣ онъ снова увидѣлъ женщину, похожую на Марію. Мракъ и густой снѣгъ не позволяли хорошенько разглядѣть прохожихъ даже на небольшомъ разстояніи. Ему пришло въ голову, что если одна изъ этихъ дамъ, которыхъ онъ не могъ найти, была дѣйствительно Марія, то, можетъ быть, онѣ пошли къ Пожелъской. Онъ повернулъ по направленію къ квартирѣ Пожелъской, быстро прошелъ мимо воротъ и остановился на углу улицы, откуда онъ, въ



сущности, не могъ видѣть, кто войдетъ въ домъ. Стать ближе онъ боялся, онъ не хотѣлъ, чтобъ его увидѣлъ кто-нибудь изъ знакомыхъ или прислуги Пожельскихъ. Надъ нимъ бы стали смѣяться. Онъ простоялъ такъ минутъ пятнадцать, наконецъ, подумалъ, что ничего не дождется, что Марія Богъ знаетъ гдѣ или дома у тетки Пожельской и искать ее по улицамъ нѣтъ смысла. Онъ быстро зашагалъ въ ту сторону, въ которую шелъ, выйдя отъ Стославскаго. Шелъ все быстрѣе и нервнѣе, не обращая ни на кого вниманія. Онъ встрѣтилъ нѣсколько женщинъ въ длинныхъ, скрывающихъ фигуру ретондахъ съ пушистыми высокими воротниками. Онѣ могли походить на Марію, но онъ старался этого не замѣчать. Вошелъ въ ресторанъ и, снявъ шубу, занялъ мѣсто въ углу, за чѣмъ-то въ родѣ буфета, на которомъ стояла посуда. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ возвратился въ Варшаву, въ ресторанахъ и кондитерскихъ онъ всегда усаживался на мѣнѣ всего бросающихся въ глаза мѣстахъ; ему казалось, что люди, знавшіе его въ лицо, будутъ смотрѣть на него съ ироническимъ сожалѣніемъ потому, что Марія порвала съ нимъ, или, въ сущности, бросила его. Онъ никакъ не могъ сообразить, что это не такъ важно и касается только его. Ему казалось, что въ городѣ только объ этомъ и говорятъ и ничѣмъ другимъ не интересуются.

Въ ресторанѣ было почти совсѣмъ пусто.

Рдзавичъ велѣлъ подать себѣ ужинъ и взялъ первую попавшуюся газету. Въ залу вошла небольшая кучка молодыхъ людей, въ игривомъ настроеніи духа,



по всей вѣроятности возвращающихся съ вечеринки; одѣты они были по-визитному. Рдзавичъ не былъ знакомъ ни съ однимъ изъ нихъ. Они казались молодежью изъ зажиточнаго элегантнаго дворянскаго класса. По большей части всѣ они были розовые, красивые, съ пробормомъ посрединѣ головы, въ красивыхъ галстукахъ, въ которыхъ торчали безвкусныя булавки, — манеры ихъ были свободныя, салонныя, но безъ врожденнаго благородства, лица самонадѣянныя, у нѣкоторыхъ плутоватыя, у другихъ поношенныя и циничныя, на которыхъ видно было практическое знакомство съ жизнью, но безъ признака болѣе глубокихъ мыслей, мыслей высшаго полета. Практическая, неглубокая, плоская, обыденная интеллигентность и стремленіе къ самому пошлomu удовлетворенію своихъ страстей, вотъ характерныя черты этой молодежи. Изъ толпы слегка выдѣлялся молодой полный блондинъ, характерный деревенскій типъ. Они стали ѣсть и пить. Кто-то велѣлъ подать шампанское. Разговоръ сталъ оживляться. Они говорили такъ громко, что Рдзавичъ, сидѣвшій неподалеку, могъ слышать каждое слово.

— Будете въ слѣдующій вторникъ? — отозвался молодой, двадцатилѣтній брюнетъ.

— Конечно! — отвѣтилъ ему другой брюнетъ, немного постарше, — я, по крайней мѣрѣ, буду. Эти фиксы у однихъ только Жимильскихъ пріятны.

— Ну, нѣтъ! — сказалъ третій, — но, что тамъ можно очень пріятно провести время, съ этимъ я согла-



сень. Жимильская приглашаетъ всегда такихъ красивыхъ женщинъ, словно мужу ея восемьдесятъ лѣтъ.

— Э, ему все равно.

— Но сознайтесь, — отозвался второй брюнетъ, — паша Марыня «такъ-таки самая красивая», какъ говорятъ въ Литвѣ. Правда, панъ Кололяскій? — добавилъ онъ, обращаясь къ полному блондину.

— О, это правда, что ваша Марыня прекрасна, какъ мечта, — отвѣтилъ онъ со вздохомъ.

— Да здравствуетъ наша Марыня!

— И да здравствуетъ ея новая жертва, почтенный шляхтичъ изъ-подъ Клецка, панъ Валерій Кололяскій!

Все обратились къ полному блондину и стали чокаться съ нимъ; онъ старался быть развязнымъ, но покраснѣлъ и смѣшался.

— Э, изъ этого ничего не выйдетъ, — сказалъ первый брюнетъ, — ему пришлось бы имѣть дѣло со всеми нами. Мы не позволимъ ее взять.

— Да здравствуетъ наша Марыня!

— Ура ея глаза!

— Ура ея губы!

— Ура ея бюстъ!

— Ура ея вкусъ!

— А какой у нея вкусъ? — спросилъ кто-то.

— Ну, ты навѣрно не въ ея вкусъ.

— По всей вѣроятности, ты?

— Послушай, какъ говорить Меркуціо о Юліи?

— Нѣтъ. Это о доннѣ Розѣ, клянусь здоровьемъ Господа Бога, — отозвался носовой голосъ.



— Да здравствуютъ ея ноги и все, что близко!

— Да здравствуетъ все, что...

— Тесъ! Панъ Кололяскій хочетъ говорить.

Панъ Кололяскій, опасаясь, по всей вѣроятности, что разговоръ станетъ слишкомъ свободнымъ, поднялъ рюмку, крикнулъ, и, какъ бы желая положить всему конецъ, началъ:

— Да здравствуетъ все!... — Источникъ его красно-рѣчія изсякъ, и онъ запылся.

— Этотъ тостъ до дна, господа! — воскликнулъ кто-то.

Громко смѣясь, выпили тостъ.

Рдзавичъ, спрятавъ лицо за газету, чувствовалъ, что ему становится то холодно, то жарко, что онъ то блѣднѣетъ, то краснѣетъ. Онъ былъ увѣренъ, что говорятъ о Маріи, хотя никто не назвалъ ея фамиліи. Закрывшись газетой, сжавъ губы, онъ не думалъ ни о чемъ, стараясь не пропустить ни одного слова.

— Фи, — медленно отозвался въ носъ плѣшивый, худой господинъ лѣтъ тридцати слишкомъ, съ поношеннымъ лицомъ, въ очень высокомъ воротничкѣ, съ моноклемъ.

— Фи, вы говорите объ этой барышнѣ, какъ о своей, а тѣмъ временемъ этотъ прекрасный джентльмэнъ изъ Украйны стянетъ ее у васъ изъ-подъ носа, *passez moi le mot.*

— Стасъ Божевскій?

— А Богъ его знаетъ, Стасъ ли онъ или Ясъ. *Mais, ma foi,* клянусь моимъ гербомъ... — Тутъ онъ мимохо-



домъ взглянулъ на тѣхъ, у которыхъ не было никакихъ гербовъ. — Она такъ и льнетъ къ этому украинцу. Хотя миѣ-то все равно, но я хотѣлъ бы быть въ его шкурѣ хоть на минутку, клянусь здоровьемъ Господа Бога.

— Если тебѣ, Пенташекъ, все равно... — началъ кто-то изъ молодыхъ людей.

— Прежде всего не называй меня Пенташкомъ, ты знаешь, что я этого не люблю, хотя миѣ все равно, какъ меня величаютъ. Но, *ma foi*, — гарсонъ, подай миѣ сигару, — она такъ и льнетъ къ этому украинцу. Надо сознаться, что онъ мужчина, словно дубъ на показъ. Это должно быть что-то съ лѣвой руки; въ порядочныхъ дворянскихъ домахъ теперь уже не водятся такіе сыновья. Объ этомъ говоритъ гдѣ-то Шекспиръ, хотя миѣ бы больше правилось, если бы это говорилъ лордъ Бэконъ. *Ma foi*, клянусь здоровьемъ Бога.

— Ну, это бабушка на-двое сказала. Она вѣдь уже была невѣстой, — сказалъ второй брюнетъ, — была влюблена, говорятъ, страшно, а потомъ — гошъ! — и женихъ вылетѣлъ, какъ камень, за окошко, и дѣлу конецъ!

— Ну этого нельзя считать, — сказалъ плѣшивый мужчина въ моноклѣ. — Я слыхалъ эту исторію, это былъ какой-то художникъ, скульпторъ, чортъ его знаетъ. Она поиграла съ нимъ, и баста. *Ma foi*, она выйдетъ за этого украинца. *Garçon*, зажги миѣ *segaro*!

Кровь ударила въ голову Рдзавича съ страшной силой: ему казалось, что голова его лопнетъ. Онъ старался закрыться газетой, но ему казалось, что всѣ



смотреть на него и видеть его сквозь газету. Онъ услышалъ, какъ лакей, проходя мимо, шепнулъ своему товарищу :

— Что это, онъ все читаетъ и читаетъ?

— Онъ не читаетъ, а подслушиваетъ, — отвѣтилъ другой.

Кровь прилила къ лицу и къ головѣ Рдзавича еще болѣе сильной волной. Ему хотѣлось встать, выйти, броситься на разговаривающихъ, можетъ быть, ударить по лицу гарсона, и въ то же время мелькала мысль, что видъ у него такой, что онъ не можетъ показаться; и какое-то адски мучительное любопытство заставляло его оставаться. Въ головѣ у него помутилось, въ глазахъ потемнѣло.

Разговоръ продолжался. Кто-то спросилъ :

— У этого Божевскаго большое состояніе?

— Не особенно, — сказалъ второй брюнетъ, — но все-таки тысячь десять въ годъ, а послѣ смерти дражайшихъ родителей еще кое-что капнетъ. У нихъ около Житомира два имѣнія и домъ въ Кіевѣ. Но у нихъ есть еще двое дѣтей, маленькихъ. Онъ думаетъ теперь открыть у себя въ имѣніи стеклянный заводъ вмѣстѣ съ Каролемъ Мойвилломъ и Константиномъ Сѣдловскимъ изъ Любачки.

— Ma foi, Мойвиллы — это вельможи. Но отчего же съ двумя такими порядочными фамиліями...

— Два брата Мойвилла должны были выйти изъ клуба въ Кіевѣ изъ-за карточной исторіи, — замѣтилъ



съ видимымъ удовольствіемъ одинъ изъ тѣхъ, у которыхъ не было никакого герба.

— Но все-таки они остались князьями Мойвиллами. Но какъ же туда попалъ этотъ Сѣделко?

— Какой Сѣделко? Сѣдловскій.

— Ну, нѣтъ, *souez moi*, Сѣделко. Какой-то ихъ прадѣдъ, родоначальникъ, былъ конюхомъ у послѣдняго Висневецкаго и подавалъ ему лошадей. Оттого его и называли Сѣделко, а какъ его звали до того времени, это ужъ одинъ Богъ знаетъ. Его сынъ назывался уже Сѣдловскимъ и купилъ дворянство. Отсюда начало великаго рода Сѣдловскихъ, клянусь Богомъ. А сколько приданаго у Тыжвецкой?

— У Марини ровно сорокъ двѣ тысячи помѣщены подъ первую закладную на шесть съ половиною процентовъ; я знаю объ этомъ отъ Яся Лешицкаго, — сказалъ первый брюнетъ.

— У нихъ, значить, будетъ около тринадцати тысячъ рублей въ годъ, — сказалъ господинъ, котораго называли Пенташкомъ. — Съ этимъ, *ma foi*, кое-какъ можно жить. Я потерялъ почти все мое состояніе и живу.

— Что ты могъ потерять? — замѣтилъ кто-то.

— *Ma foi*, у меня было кое-что. Три тысячи морговъ пахатной земли и три тысячи лѣса. Когда я потеряю все, *ma foi*, я поверну портреты предковъ къ стѣнамъ, и валяй въ приказчики. Будь я проклятъ. Я рассчитываю на васъ, господинъ Куфкэ. Только пожалуйста, надѣюсь, что вы не будете подчевать меня



лукомъ, терпѣть не могу его запаха. Гарсонъ, дай зубочистку. У васъ въ лавкѣ не было еще Тыпольскаго, а? Вотъ-те на! Смотрите, *ma foi*, нашъ украинецъ! Съ кѣмъ это онъ?.. Что это за типъ? Пьянъ, покачивается. *Quel drôle de pistolet.*

Рдзавичъ мелькомъ взглянулъ изъ-за газеты. Къ сидѣвшимъ за столомъ подошелъ молодой, двадцативосьмилѣтній мужчина, высокій, прекрасно сложенный и очень красивый.

Рдзавичъ сталъ въ него всматриваться. У него были темнорусые густые волосы съ проборомъ съ боку, съ одной стороны волосы слегка закрывали лобъ; большіе, свѣтлые, прекрасные голубые глаза, орлиный носъ, густые, длинные, темнорусые такъ называемые польскіе усы, породистыя губы, продолговатый овалъ лица. Одѣтъ онъ былъ по послѣдней модѣ, но безъ крикливаго шика; отъ всей его фигуры и манеръ вѣяло очень хорошимъ тономъ и небросающей въ глаза благородной небрежностью. Это былъ прекрасный польскій типъ, одинъ изъ тѣхъ людей, о которыхъ говорятъ, что при ихъ входѣ дѣлается какъ-то свѣтлѣе въ комнатѣ. Выраженіе лица интеллигентное, открытое, веселое, съ симпатичнымъ культурнымъ молодечествомъ. Все это вмѣстѣ съ легкимъ сантиментализмомъ глазъ и съ чувственною сладостью губъ дѣлало его съ перваго же взгляда симпатичнымъ. Это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, о которыхъ женщины говорятъ, что они непобѣдимы, и къ которымъ даже мужчины льнутъ почти безъ зависти; одинъ изъ тѣхъ,



которые побѣждаютъ безъ всякихъ усилій, а только тѣмъ, что они родились съ даромъ побѣждать. Это бессознательные художники, своего рода интуитивные гении; ихъ можно бы назвать гениями изящества.

— Здравствуйте, — сказалъ онъ звучнымъ баритомомъ, любезно раскланиваясь. — Позвольте присѣсть. Я въ обществѣ капитана Конажевскаго. Позвольте вамъ представить, господа: капитанъ Иеронимъ Наполеонъ Конаръ Конаржевскій.

— Юзефъ Тадеушъ герба Прусъ Первый, — добавилъ капитанъ, покачиваясь и неувѣренно раскланиваясь.

— Мой ближайшій сосѣдъ на Полѣсьи, — заключилъ Божевскій, — мой старый знакомый.

— На рукахъ его носилъ, ей Богу. Что вы пьете, господа? Бѣлое?

— Клико, капитанъ. Садитесь, пожалуйста.

— Клико? Я предпочитаю сэкъ! Уфъ!

— Сейчасъ будетъ и сэкъ! Не угодно ли вамъ, капитанъ, сигару?

— Что за странный тонъ! — процѣдилъ Тыпольскій. — *Ma foi*, замѣчательная фигура. Гарсонъ, сигары.

— Капитанъ сегодня оторченъ, — сказалъ Божевскій, садясь и взявъ машинально зубочистку изъ пачки, — отравился его питомецъ и сынъ его давнишней пріятельницы, иѣкій Древскій.

— Древскій? Кандидатъ въ лѣкаря? — подхватилъ



первый брюнетъ. — Худой такой? Я зналъ его. Это онъ? Отравился? Когда?

— На рукахъ я его носилъ, ей Богу. Мать его крестилъ. Сколько я потратилъ на него. Онъ спалъ на моей кровати, ходилъ въ моихъ воротничкахъ.

— Какъ же это такъ, вѣдь онъ былъ худой, а вы, капитанъ, не во гнѣвъ вамъ будетъ сказано, *ma foi*, немного въ родѣ Фальстафа, — замѣтилъ Тыпольскій.

— У меня были старые воротнички, оставшіеся съ тѣхъ временъ, когда я могъ смѣло ходить въ корсетѣ, — отвѣтилъ капитанъ.

— У этого Древскаго была мать, она служила бонной у моихъ кузеновъ Швальбэ. Что же старуха, а? — продолжалъ брюнетъ.

— Э, есть о чемъ толковать! — сказалъ второй брюнетъ. — Что же, проводили вы дамъ? — Божевскій утвердительно кивнулъ головой.

— Мариня божественна? А? — спросилъ первый брюнетъ.

Божевскій прищурилъ глаза, улыбнулся, но ничего не отвѣтилъ.

— Признайтесь, вѣдь влюбились? Это не стыдно, мы все влюблены. Но на васъ такъ глядеть — любо посмотреть! Я думалъ, что вы распухните отъ комплиментовъ пани Пожелъской.

Божевскій снова улыбнулся и выпустилъ колечко дыма.

— *Ma foi*, какъ вы это красиво дѣлаете. Если бы стоило на свѣтѣ что-либо дѣлать, то я бы этому вы-



учился. Клянусь здоровьемъ Бога. Гарсонъ, зажги мнѣ сигару.

— Ну, что же Мариня, а? — приставалъ брюнетъ. — Не сердитесь на насъ, пожалуйста, что мы васъ такъ мучимъ, но, видите ли, Тыжвецкая — это, такъ сказать, дочь полка. Мы все вълюблены въ нее, все носимъ въ бутоньеркахъ камелии, душимся *Vera Violetta*, пишемъ на бумагѣ геліотропъ, такъ какъ это ея любимые духи и цвѣтъ. Мы ея лейбъ-гвардія. Мы основали наше общество лѣтомъ, на водахъ, ужасно весело было! Мы подкупили купальщицу, которая водила насъ на какой-то чердачокъ, откуда было отлично видно, какъ Мариня купалась. Тѣсно бывало иной разъ ужасно, мы тамъ должны были тѣсниться втроемъ, вчетверомъ. Но зато — что видѣли!

— Мы рѣшили тамъ, — прервалъ второй брюнетъ, — что если никто изъ насъ не будетъ ея мужемъ, то все-таки она получитъ его только отъ насъ. Вы должны заручиться нашимъ благоволеніемъ.

— Ну, что вы, шутите! — сказалъ Божевскій, улыбаясь и стараясь скрыть подъ улыбкою непріятное чувство, которое видѣлось у него на лицѣ.

— Нѣтъ, мы совсѣмъ не шутимъ. Мы все знаемъ Мариню недавно, всего полгода, прежде она не бывала въ нашемъ обществѣ, и мы знали ее только по слухамъ да по баламъ, — но знаемъ мы ее хорошо. Она, повидимому, занята вами. Когда къ вамъ присѣла Бронни Щербская (вотъ озорникъ дѣвушка!) и эта прекрасная госпожа Нотвейнъ (тамъ можно смѣло), Мариня



покраснѣла и была такъ не въ духѣ, что сначала чуть было не назвала меня идиотомъ, хотя вообще она со мной любезна, а потомъ совсѣмъ не хотѣла разговаривать.

— А мнѣ она посоветовала, чтобъ я изъ-за фиксовъ не забывалъ объ экзаменахъ, — сказалъ первый брюнетъ. — Я бы ей показалъ экзамены, если бы она захотѣла...

— Ma foi, и мнѣ влетѣло отъ этой бабы-яги. Что, есть у васъ на Украйнѣ такія? Эта Тыжвецкая, вотъ женщина! Ахъ, да, панъ Куфкэ, не забудьте пожалуйста — ежедневно послѣ обѣда удѣлять мнѣ полчасика на Словацкаго. Клянусь здоровьемъ Господа Бога — гарсонъ, сигару, отсырѣла, подай другую! — люблю я этого демократическаго поэта.

— Что же, какъ вы распрощались? — спросилъ снова первый брюнетъ у Божевскаго. — Что она вамъ сказала на прощаніе? Крѣпко пожала вамъ руку, а?

— Панъ Беръ, панъ Божевскій джентльменъ, — сказалъ плѣшивый мужчина съ моноклемъ. — Je vous demande pardon, monsieur de Borzewski, что я осмѣлился за васъ отвѣтить, — добавилъ онъ, кланяясь съ шаржированной вѣжливостью въ сторону Божевскаго. — Вы говорили о какомъ-то Древскомъ, который отравился или утонулъ въ сѣрной кислотѣ! Это изъ тѣхъ извѣстныхъ Древскихъ съ Полѣся, а?

— Нѣтъ, это изъ маленькихъ, — отвѣтилъ кто-то.

— Фи! — пробормоталъ плѣшивый мужчина, махнулъ рукой и положилъ ногу на ногу.



Гдзавичъ не зналъ, что дѣлать. Голова у него шла кругомъ, онъ чувствовалъ ознобъ. Видѣлъ, что на него смотритъ прислуга, заинтересованная его упорнымъ чтеніемъ одной и той же газеты съ двумя страницами текста и двумя страницами объявленій. Онъ хотѣлъ было переждать кутящую компанію, но къ нимъ приносили все новыя и новыя бутылки. Онъ, можетъ быть, рѣшился бы пройти мимо нихъ; по всей вѣроятности, никто изъ этой компаніи не зналъ его даже въ лицо, но онъ опасался, что его замѣтитъ капитанъ Конаржевскій. Этотъ, барабая своими громадными пальцами о столъ, напѣвалъ вполголоса:

Un Musulman, très brave garçon  
Portait sa femme et caleçons;  
On lui a dit: vous êtes chocolat,  
il leur répond: Kif, kif, Allah!..

— Я слышалъ это въ Ниццѣ, — сказалъ Тыпольскій. Капитанъ же повторилъ:

Kif, kif, Allah!..

И сталъ барабанить пьемонтскій маршъ съ такой силой, что посуда зазвенѣла.

Божевскій, жалуясь на головную боль, ушелъ. Випо стало дѣйствовать. Одни перебивали другихъ, разговоръ дѣлался все свободнѣе. Говорили о многомъ, но главнымъ образомъ о Маринѣ Тыжвецкой. Языки развязались... Восхищались, строили всевозможныя до-



гадки, выражали желанія самыя что ни есть сальныя, безъ всякихъ оговорокъ, все называли по имени. Въ Рдзавичѣ все кипѣло; онъ могъ бы встать, бросить кому-нибудь изъ этихъ господъ свою визитную карточку или вызвать всѣхъ вмѣстѣ, виновныхъ и невиновныхъ, могъ бы заставить ихъ молчать, пригрозивъ, что первому, кто скажетъ что-нибудь неприличное о Маріи, онъ разобьетъ голову бутылкой. Онъ могъ это сдѣлать, но по какому праву? По праву брошеннаго поклонника, отставнаго жениха? Эти господа, безъ сомнѣнія, приняли бы вызовъ, но прежде разсмѣялись бы ему въ лицо, узнавъ, кто онъ. Если бы эти господа говорили что-нибудь о добромъ имени, о чести Тыжвеккой, то каждый благородный человѣкъ имѣлъ бы право защитить ее. Но они ничуть не оскорбляли ее чести: они говорили объ ея губахъ, бюстѣ, плечахъ, бедрахъ и ногахъ, говорили о томъ, о чемъ говорить могъ имъ запретить только человѣкъ, находящійся въ исключительномъ положеніи относительно Маріи; а онъ — ея брошенный поклонникъ, отставной женихъ. Марія, узнавъ обо всемъ, могла бы разорвать знакомство съ этими господами, которые говорили о ней, какъ о первой попавшейся кокоткѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ она могла бы спросить, по какому праву панъ Рдзавичъ играетъ роль ея рыцаря? А, можетъ быть, узнавъ, что несмотря на все, что случилось, онъ вступился за нее, сталъ одинъ противъ нѣсколькихъ... Можетъ быть, если бы у него была дуэль, если бы онъ былъ раненъ, можетъ быть, она вернулась бы къ нему, вошла бы въ



комнату, гдѣ бы онъ лежалъ, наклонилась бы надъ нимъ, протянула бы ему обѣ руки и шепнула бы ему: «люблю»... Можетъ быть, тотъ сонъ ея, о которомъ она говорила въ Кленжѣ, былъ предсказаніемъ того, что должно случиться на яву... Можетъ быть, онъ будетъ лежать блѣдный, какъ трупъ, а она наклонится надъ нимъ, оживитъ его своимъ дыханіемъ, однимъ тѣмъ, что она съ нимъ, его Марія, его чудная Рыся, любимая!.. А можетъ быть — онъ умретъ за нее... Въ такомъ случаѣ онъ останется навсегда въ ея памяти, какъ грустное, тихое угрызеніе совѣсти, какъ тоскливая, полная меланхолии боль... Она пойдетъ за его гробомъ блѣдная, грустная... Выроютъ могилу, и она броситъ горсточку земли на его гробъ... Она будетъ украшать его могилу цвѣтами, а фотографію поставитъ на столикъ... Она выйдетъ замужъ, будетъ матерью, но до конца жизни она будетъ его, она будетъ принадлежать его тихой, грустной, полной меланхолии памяти...

Вдругъ по командѣ капитана все общество встало и запѣло хоромъ:

Un Musulman, très brave garçon,  
Portait sa femme et caleçons;  
On lui a dit: vous êtes chocolat,  
Il leur répond: Kif, Kif, Allah...

И вышли изъ зала.

На минуту остался Кололяскій, которому дали очень темного сдачи съ радужной сторублевки. Рдзавичъ сейчасъ же заплатилъ по счету и вышелъ на улицу



Съ другой стороны улицы слышался хоръ :

On lui a dit: vous êtes chocolat,  
Il leur répond: Kif, Kif, Allah...

Рдзавичу казалось, что его кто-то сильно ударилъ обухомъ по головѣ. Выпилъ онъ всего двѣ рюмки со-терна, а шель, какъ пьяный, почти покачиваясь.

Прежде всего онъ былъ полонъ гнѣва на всю эту шайку, въ которой для однихъ мать отравившагося человѣка была «старухой», другіе смерть эту оцѣнивали въ зависимости отъ того, былъ ли онъ изъ тѣхъ «извѣстныхъ Древскихъ»; наконецъ, эта шайка плоскихъ, заурядныхъ, глухихъ «шикарей» была «лейбъ-гвардіей» Маріи, ея ближайшимъ обществомъ, кругомъ ея поклонниковъ... Въ немъ поднялся гнѣвъ на Марію: какъ она могла позволить, чтобъ такіе болваны называли ее «дочерью полка»?! Какъ она могла?! Какъ ее можетъ удовлетворять такое общество, такое общество?! Какъ она можетъ находить въ немъ удовольствіе?! А если оно ей пріятно?.. Если это — тотъ кругъ людей, который она лучше всего понимаетъ, съ которымъ она лучше всего гармонируетъ, въ которомъ она чувствуетъ себя особенно удобно и свободно? Если... Его Марія! Его Марія! А, можетъ быть, ему только казалось, можетъ быть, онъ ее идеализировалъ, можетъ быть, ея интеллектъ такой же, какъ у этихъ людей, можетъ быть, она простая, заурядная, шаблонная барышня, какъ всѣ, такая же обыкновенная, такая же плоская, такая же глупая!..



Онъ топнулъ ногой о снѣгъ, голова поднялась у него такъ же гордо, какъ тогда, когда еще молодымъ мальчикомъ, не имѣя за собою ничего, онъ былъ приглашенъ на собраніе художниковъ. Тамъ были «старыя фирмы» и «молодыя звѣзды», онъ, однако, входя, поднималъ голову, словно чувствовалъ, что не пройдетъ нѣсколькихъ лѣтъ, какъ среди молодыхъ звѣздъ онъ будетъ первою, а для старыхъ фирмъ станетъ опаснымъ соперникомъ.

И на эту голову Марія любила класть руки, гладить ее и говорить, будто она горда, что можетъ касаться этой головы... Такъ недавно... Такъ недавно...

А, можетъ быть, онъ дѣйствительно самъ ее сдѣлалъ другою женщиною, отличною отъ другихъ, съ болѣе свѣтлыми мыслями, съ золотистою душой... Можетъ быть, только онъ... Можетъ быть, это правда, что идеаль прекраснаго бываетъ несравненно чаще въ воображеніи мужчины, который любитъ, чѣмъ въ душѣ любимой женщины.

Можетъ быть, Марія такая же, какъ другія, заурядная, пустая, глупая! И онъ, и онъ! Что онъ падалъ къ ея ногамъ?.. Это ничего, можно стать на колѣни передъ всякой красивой женщиной, но онъ весь былъ у ея ногъ, бросилъ къ ея ногамъ свои мысли, свои чувства, свою фантазію и трудъ, всю свою душу... И она ничего не понимала, а притворялась, что понимаетъ, такъ какъ у нея хватало женскаго ума только на то, чтобъ казаться интеллигентной, а на самомъ дѣлѣ она была плоской, пустой, глупой, «дочерью пол-



ка» такихъ болвановъ, собственностью такой лейбъ-гвардіи!

Но нѣтъ, нѣтъ! Чѣмъ же она виновата, что ее окружаютъ такіе люди, что тетка Пожелская вводитъ ее въ такое общество, понятное только для нея самой? Что же это доказываетъ? Вѣдь все эти люди сами заявили, что ни одинъ изъ нихъ не пользуется ею особенной симпатіей. Ей нравится Божевскій, но какъ же онъ отличается отъ нихъ всѣхъ...

И Божевскій представился воображенію Рдзавича какимъ-то чуднымъ пограничнымъ рыцаремъ, какимъ-то романтическимъ идеаломъ, о которомъ еще мечтаютъ польскія женщины. Только такой человѣкъ могъ обратить на себя вниманіе Маріи, только такого могла она полюбить, и только такой былъ достоинъ ея любви. Что онъ въ сравненіи съ Божевскимъ? Въ сравненіи съ его здоровьемъ, закаломъ, мужской силой, которой вѣяло отъ всего него, — онъ, слабый, нервный, разстроенный? Что значить его искусство въ сравненіи съ способностью Божевскаго дѣйствовать? Что значить извѣстность, служащая забавою для общества, тамъ, гдѣ прочное положеніе даютъ только состояніе, связи и дѣйствительная потребность общества въ человѣкѣ? Какое положеніе заняла бы Марія, живя съ нимъ, и какое получила бы — живя съ Божевскимъ? Пусть сегодня онъ сломаетъ руку, перестанетъ лѣпить, пусть у него не пойдетъ работа, пусть онъ выйдетъ изъ моды: самъ онъ не будетъ значить ничего, нужда будетъ грозить имъ. Положеніе Божевскаго отъ



этого не зависить, его жены также; если бы Божевский даже умеръ, останется фундаментъ жизни — состояніе. Впрочемъ, если Марія думаетъ даже о нихъ обоихъ, то какаѣ разница! Божевскій, не думающій о завтрашнемъ днѣ, свободный, долженъ обладать тѣмъ милымъ, ровнымъ настроеніемъ духа, той свободой и симпатичнымъ обращеніемъ съ людьми, которое свойственно людямъ, не знающимъ ни тяжелыхъ мыслей, ни тяжелыхъ положеній въ жизни. А онъ? Сколько разъ онъ мучилъ Марію и приставалъ къ ней, онъ — дикій, разстроенный фантазеръ, иной разъ почти бѣшенный въ ласкахъ, иной разъ почти сумасшедшій въ прихотяхъ и капризахъ. Какъ смѣшна, ребяческа и жалка его «артистическая» натура въ сравненіи съ джентльменскимъ изяществомъ и спокойствіемъ такого Божевскаго, который къ тому же такъ красивъ, что ни одна женщина не сумѣетъ бороться съ нимъ.

И Рдзавичъ почувствовалъ, что если бы онъ встрѣтилъ теперь Божевскаго, то покорно сошелъ бы съ его дороги и посторонился, ибо такіе люди, какъ Божевскій, имѣютъ полное право проходить съ поднятой головой по серединѣ улицы, мимо такихъ, какъ онъ, такихъ нулей, тѣмъ болѣе жалкихъ, что у нихъ смѣшная и дурацкая претензія имѣть кое-какое значеніе среди людей... Если бы онъ могъ сдѣлать это сію минуту, онъ взялъ бы Марію за руку, привелъ бы къ Божевскому и отдалъ бы ее ему, говоря: вотъ человѣкъ, достойный тебя и созданный для тебя, будь его... А ему самому останется только покориться судь-



бѣ. Это слово показалось ему спасеньемъ: да, онъ долженъ покориться. Онъ станетъ работать, будетъ лѣпить, всю жизнь вложить въ свой трудъ, онъ будетъ жить гдѣ-нибудь тихо, на чердакѣ, неизвѣстный, забытый. Онъ будетъ лѣпить статуи въ костелахъ и монастыряхъ, — смѣшно было бы теперь заниматься чѣмъ-нибудь другимъ и искать извѣстности. У него будетъ старая прислуга и запыленные стекла, спиртовка и канарейка, которую онъ будетъ кормить крошками хлѣба и сахара, и, наконецъ, онъ умретъ, какъ каменка. «Lux in tenebris lucet...»

Въ такомъ настроеніи, встрѣтивъ по дорогѣ собаку, которая дохла отъ голода и холода, онъ пришелъ домой. Онъ не торопясь сталъ раздѣваться, и ему казалось, что онъ старый чиновникъ какого-нибудь вѣдомства. Онъ надѣлъ туфли, только лишь бы надѣть, и съ наслажденіемъ думалъ о кровати, хотя ему ни спать, ни лежать не хотѣлось; онъ систематически разложилъ на столѣ книги и перья, вытеръ чернильницу. Ему хотѣлось, чтобы вокругъ него было тепло, тихо и чисто, какъ у отставного старичка-чиновника. Когда онъ разбиралъ бумаги на столѣ, ему попался пучокъ цвѣтовъ, собранныхъ гдѣ-то надъ Дунаемъ во время послѣдней поѣздки въ Вѣну; онъ собиралъ ихъ для Маріи, а она уже тогда рѣшила бросить его... Онъ такъ и не отдалъ ихъ ей, не успѣлъ...

Онъ подперъ голову руками и задумался. Ему стало такъ жалко этихъ цвѣтовъ, такъ глубоко грустно... Онъ рвалъ ихъ въ такую минуту, когда, если бы ему



сказали, что Марии нужно его сердце, онъ сказалъ бы ей: бери!

Онъ рвалъ ихъ въ такую минуту, когда, сходя съ ума отъ тоски, онъ блуждалъ по чуждымъ лугамъ, надъ чуждой рѣкой, и ему казалось, что душа его растетъ въ волнахъ сладкаго чувства... Онъ такъ спѣшилъ къ ней, къ ней! Никогда съ тѣхъ поръ, какъ шумятъ волны этой рѣки, никто не тосковалъ на ея берегахъ такъ сильно, такъ искренно, такъ безконечно...

Его губы были полны словъ о ней, для нея, къ ней... Вокругъ было такъ пусто, что онъ могъ говорить громко, и онъ говорилъ... Онъ звалъ ее по имени, уменьшалъ ея имя, ласкалъ его, чувствовалъ раздражающую сладость тысячекратнаго ласковаго повторенія звука ея имени... Она казалась ему такой маленькой, такой миленькой, такой далекой... Онъ чувствовалъ странную пустоту въ рукахъ оттого, что не можетъ сжать ея ручекъ... Онъ рвалъ цвѣты и говорилъ имъ о ней. Онъ говорилъ имъ, что онъ ее любитъ и что требуетъ ея любви, что если бы онъ могъ, то взялъ бы ея на руки и несъ бы межъ колючекъ, чтобъ думать, что онъ несетъ ее, и она не чувствуетъ боли; онъ говорилъ имъ, этимъ цвѣтамъ, что онъ хочетъ ее обнять и прижать къ груди, цѣловать ея губы и шею, лежать у ея ногъ и смотрѣть ей въ глаза, а потомъ превратить ея кровь въ пламя, чтобъ она кипѣла, какъ его кровь; онъ говорилъ имъ, что она его прекраснѣйшій сонъ, что онъ создалъ цѣлый мiръ изъ



золота и зелени, изъ лазури и серебристо-розовыхъ цвѣтовъ, мѣръ тишины и спокойствія, тепла и благоуханья, что онъ огородилъ гдѣ-то волшебный и заколдованный лугъ, безконечно дивный, — куда онъ хочетъ повести ее и гдѣ онъ думаетъ вмѣстѣ съ ней жить; онъ говорилъ имъ, что онъ бросаетъ къ ея ногамъ всю свою душу со всѣмъ, чѣмъ она богата, что онъ даетъ ей все сердце со всѣмъ, что оно можетъ чувствовать...

Онъ говорилъ этимъ цвѣтамъ, сорваннымъ у береговъ Дуная.

А она?

Она отвернулась и ушла...

Ушла холодная, спокойная, безъ слова прощанія, не подавъ на прощаніе руки — спокойная, холодная, безъ жалости, какъ камень...

Конечно! Она права, сдѣлавъ такъ, какъ сдѣлала, она поступила хорошо, умно, трезво, честно... Она перестала любить, не обманывать же было ей! Но она ушла такъ спокойно, такъ холодно, ничуть не жалѣя. Уходя, она стала такъ похожа на другихъ женщинъ, которыя отворачиваютъ лицо навсегда.

А онъ грезилъ о ней, какъ о чемъ-то другомъ, непохожемъ на другихъ женщинъ..

Онъ влилъ въ ея душу все самое прекрасное изъ всѣхъ женскихъ душъ; онъ взялъ все самое прекрасное изъ всѣхъ женскихъ сердецъ и влилъ въ ея сердце... Онъ сдѣлалъ изъ нея женщину, передъ которой



падаютъ на колѣни не только затѣмъ, чтобъ выпросить у нея наслажденіе...

А она? Неужели правда, что самое прекрасное — то, о чемъ мы грезимъ? Она... Она поддавалась впечатлѣнію минуты. Это вполне понятно; впечатлѣніе минуло — это также вполне понятно. Не связывать же ей было всю жизнь съ человѣкомъ, котораго она не любитъ, котораго она, собственно говоря, никогда не любила, котораго она перестала любить: оттого только, что она необдуманно, спѣша, не помня ни о чемъ, дала ему слово? Она клялась, что что бы ни случилось, она не броситъ его; но можно ли придавать значеніе такой клятвѣ, можно ли считать ее серьезной? Клятву молодой неопытной дѣвушки! Впрочемъ, все объясняетъ и оправдываетъ, все обезоруживаетъ одно: не любить...

Нѣтъ обязанностей, нѣтъ обязательствъ, нѣтъ клятвъ при этомъ словѣ: не люблю. Живемъ мы вѣдь только одинъ разъ, единственное счастье на свѣтѣ, это — любовь: неужели не искать ея какою угодно цѣной, неужели отречься отъ эгоизма и собственнаго счастья, которое — единственная цѣль жизни, неужели противорѣчить самому себѣ, чтобъ быть въ мірѣ съ кѣмъ-нибудь другимъ, жертвовать собою, чтобъ другой не жертвовалъ? Если ужъ непременно нужна жертва, то пусть ею будетъ тотъ, кто любитъ болѣе, или тотъ кто любитъ безъ взаимности: ему будетъ легче. Жертва ради любимаго существа можетъ переимѣнить адъ въ небо, но жертва безъ



любви можетъ быть только адомъ. И кто онъ, чтобы требовать такой жертвы, принять такую жертву? Только... только отчего Марія ушла такъ спокойно, такъ холодно, такъ безъ сожалѣній?..

Онъ думалъ иной разъ, чего не думаетъ влюбленный, онъ думалъ, что, если бы что-нибудь помѣшало ихъ браку, то все-таки между ними навсегда останется какая-то связь, какая-то связь душъ и сердецъ, какое-то общее настроеніе и общность, родственность мыслей... А здѣсь ничего, ничего изо дня въ день, изъ часа въ часъ... Ничего, ничего и ничего...

И вотъ онъ снова въ мірѣ, какъ въ безмѣрной пустынѣ, какъ въ безбрежномъ океанѣ, на утлой лодкѣ, безъ цѣли, безъ земли, безъ дороги, какъ прежде, до знакомства съ Маріей... Снова та же страшная пустота въ жизни, въ которой нѣтъ любви, то чувство парія среди связаннаго любовью общества; то чувство внутренней нищеты, страшной нищеты, стыда, униженія: вѣдь все любимы, только не онъ!

Все могутъ быть любимы, все женщины хотятъ любить, только у него нѣтъ такой женщины, только его женщина любить не хочетъ! Взаимная любовь — такая необходимая потребность жизни, такое неминуемое условіе ея полноты, что онъ, не любимый, словно не полный человѣкъ, обиженный въ сравненіи съ другими, человѣкъ, который ниже другихъ.

Ему вспомнилась одна подробность изъ разговора въ ресторанѣ, и онъ почувствовалъ такую боль, что еле сдержался, чтобъ громко не застонать. Сколько разъ



онъ думалъ о томъ лѣтѣ, которое онъ долженъ былъ провести съ Маріей въ горахъ. Свадьба была назначена въ ноябрѣ, и они думали поѣхать въ Закопане. Марія никогда не была тамъ. Рдзавичъ бывалъ тамъ часто во время каникулъ съ Пшервицемъ, который жилъ неподалеку. Блуждая по горнымъ пустырямъ, — онъ, для котораго женщина была всегда осью жизни, а любовь самымъ горячимъ, величайшимъ желаніемъ и потребностью, — сколько часовъ протрадалъ онъ оттого, что онъ здѣсь одинъ, сколько часовъ мечталъ, что будетъ здѣсь когда-нибудь съ любимой женщиной, и какъ ему, какъ имъ будетъ хорошо... Она грезила ему тамъ такою прекрасною, рисовалась его воображенію такъ пластично, тамъ онъ почти слышалъ ея голосъ, тамъ онъ почти чувствовалъ ея руку, видѣлъ ея взглядъ; тамъ онъ создалъ себѣ идеалъ женщины, которую онъ любилъ и которая любила его. Она была передъ нимъ вездѣ, на крутыхъ утесахъ, надъ пропастями и въ долинахъ у шумящихъ водъ. Онъ почти велъ ее за руку, эту тѣнь своего воображенія, почти помогалъ ей переходить черезъ ручьи, почти окутывалъ ее отъ холода, почти говорилъ ей: «смотри, смотри!» — Вѣдь я ее приведу сюда когда-нибудь — думалъ онъ — вотъ это я ей покажу, сюда помогу ей взобраться, здѣсь она проведетъ ночь... моя, моя, мой рай, мой міръ... Онъ зналъ, что онъ будетъ говорить, и что она будетъ ему отвѣчать. Онъ слышалъ цѣлые разговоры съ этой женщиной, онъ улыбался, думая, какъ ея любовь будетъ развиваться и расти, какъ бу-



детъ расцвѣтатъ и постепенно превращаться въ какое-то безмѣрное, громадное чувство; онъ хотѣлъ быть болѣе любимымъ, чѣмъ любить. Онъ мечталъ быть здѣсь съ своей невѣстой, и когда онъ сталъ женихомъ Маріи, то почти радовался, что свадьба отложена до осени и что мечты его сбудутся; онъ принадлежалъ къ числу людей, которые любятъ свои грезы такъ же, какъ дѣйствительность.

Марія должна была пріѣхать въ Закопане съ Стжелескими, туда должны были прибыть и Пшервицы, самые близкіе Рдзавичу люди, здѣсь должны были сблизиться двѣ семьи, а вмѣстѣ съ тѣмъ должно было сбыться то, о чемъ онъ грезилъ, о чемъ мечталъ, чего хотѣлъ. Они много говорили объ этомъ лѣтѣ съ Маріей, она даже заказала себѣ соответственный костюмъ; они не могли поладить только насчетъ башмаковъ. Она говорила, что лучше подбитые гвоздями, а онъ доказывалъ, что это необходимо только на ледникахъ и снѣгахъ, чего въ Татрахъ нѣтъ. Программу прогулокъ они старались распределить такъ, чтобы кухня не слишкомъ уставала, такъ какъ она не можетъ очень быстро подниматься въ гору. Марія помнила обо всемъ; и о томъ, что Пшервицъ любитъ молоко съ коньякомъ, и что пани Лауръ бѣлый цвѣтъ къ лицу; она хотѣла взять пару бутылокъ отличнаго коньяку, а пани Лауръ сшить бѣлый суконный «сердакъ», легкій, безъ мѣха, обшитый тонкимъ золотымъ галуномъ. Она все знала и обо всемъ помнила. «О чемъ же мнѣ помнить, какъ не о томъ, что касается тебя



и твоихъ? Кому же угождать, какъ не твоимъ? — говорила она, — мы оба сироты и должны создать себѣ родственный кружокъ, чтобъ намъ обоимъ было тепло. Притомъ, я люблю тебя, я люблю и тѣхъ, кого ты любишь, а такъ какъ я очень люблю, то твоя семья кажется мнѣ еще болѣе близкой, чѣмъ моя. Увидишь, какъ намъ будетъ пріятно и хорошо! Эта Лаура будетъ чудной, я влюблюсь въ нее. Я боюсь, что буду ревновать тебя къ ней. Впрочемъ, пусть только тебѣ будетъ хорошо, и люби ее даже больше меня. Я такъ радуюсь, что буду тамъ съ тобою, что ты все это мнѣ покажешь, я буду смотрѣть твоими глазами и чувствовать твоею душою. Мы полетимъ высоко, правда, дорогой мой? Ты возьмешь меня на крылья и понесешь вверхъ, я хочу выучиться у тебя думать и видѣть. Можетъ ли быть большее счастье, какъ быть съ тобою, съ такимъ человѣкомъ, какъ ты, далеко отъ будничной жизни, въ такомъ мірѣ, какъ тамъ?!»

Между тѣмъ, взявъ съ собою свою лейбъ-гвардію, она поѣхала черезъ два мѣсяца послѣ этого куда-то на воды, гдѣ проводила время такъ, какъ можно проводить въ такомъ обществѣ, то-есть, какъ первая попавшаяся свѣтская кокетка. У другой женщины они не были бы лейбъ-гвардіею, другую они бы бросили, если бы она была даже красивѣе, послѣ первой же неудачной попытки. Стадо павіановъ... ея лейбъ-гвардія! Онъ хотѣлъ ея, хотѣлъ со всей страстностью своей страстной натуры. Онъ хотѣлъ ея такъ, какъ можетъ хотѣть мужчина женщину, а они дѣлали изъ



нея... они считали ее чуть ли не своею общею любовницею! Кровь кипѣла въ немъ, и онъ сжималъ руки до боли. И ей было пріятно въ ихъ обществѣ? Она не понимала того, что она представляетъ для нихъ...

Онъ даже самъ себѣ не хотѣлъ сказать этого слова... А, можетъ быть, она даже дала имъ право такъ думать, позволяла имъ... Да, навѣрное, это было такъ, но это не ея вина. Такъ ее воспитали тетки Пожельскія, которыя говорили ей, что женщинѣ все можно потому, что она женщина, что единственная цѣль жизни — это нравиться возможно большому числу мужчинъ. Надо пользоваться всякими средствами, и только не заходить слишкомъ далеко. Каждая женщина должна, прежде всего, во что бы то ни стало подчинять мужчинъ, что достигается легче всего, когда дѣйствуешь на ихъ звѣрскіе инстинкты. И въ это стадо попала Марія, у которой были все данныя, чтобъ быть бѣлой статуей женской красоты. И вотъ въ этой женщинѣ, у которой было двѣ души, одна принесенная въ міръ вмѣстѣ съ рожденіемъ, другая, данная ей расчетомъ и окружающими: изъ нихъ сдѣлался хаосъ добра и зла, смѣсь врожденныхъ благородныхъ инстинктовъ и стремленій съ грязью понятій и чувствъ, впитанныхъ извнѣ, изъ душъ обыденныхъ людей, которые составляютъ фонъ общества, людей, которыхъ Гейне удачно охарактеризовалъ:

Doch wenn wir im Koth uns fanddn  
Da verstanden wir uns gleich.



Этотъ хаосъ, эта смѣсь разбили ему жизнь. Зажавъ глаза кулаками, онъ наклонился надъ столомъ, а въ груди у него поднимался страшный плачь надъ своимъ несчастіемъ и надъ Маріей, которая могла быть другой, надъ этой дѣвушкой, которая могла быть величайшимъ даромъ и милостью Бога, а стала «дочерью полка» такихъ людей; она должна была сдѣлать счастливымъ человѣка, а ея величайшей мечтою было— царить на балахъ! Ея цѣлью могло быть озарять души людей новымъ свѣтомъ, а занятіемъ ея было кокетство! И это она, она, его Марія!

Вдругъ быстро открылась дверь, и вошелъ Тенжель, противъ обыкновенія не постучавъ, весь красный отъ холода, съ выраженіемъ лица, какое бываетъ у людей, приносящихъ радостную вѣсть, но такую, которой, по какой-либо причинѣ не принято или неудобно радоваться!

— Прости, что я такъ вхожу, — сказалъ онъ, подавая Рдзавичу руку, — я не могъ тебя нигдѣ найти. Вообрази себѣ...

— Я вижу, что ты съ чѣмъ-то пришелъ, — прервалъ Рдзавичъ, стараясь придать лицу такое выраженіе, чтобъ не осталось слѣда отъ прежнихъ думъ.

Тенжель мотнулъ головой и, какъ бы стыдясь передъ самимъ собою того, что скажетъ, сказалъ:

— Нѣтъ, въ жизни бываютъ иногда странныя вещи. Вообрази себѣ, мы или въ сущности ты, на смерти Древскаго сдѣлаемъ выгодное дѣло!



— Какъ такъ? — спросилъ съ удивленіемъ Рдзавичъ!

— Стославскій хочетъ на могилѣ Древскаго поставить памятникъ и заказываетъ его намъ. Мы можемъ заработать, но словно что-то отталкиваетъ отъ этого заработка. Правда? Хотя, съ другой стороны, то — одно, а это — другое... Вѣдь Кохановскій воспользовался смертью дочери, чтобъ писать свои...

— Да, но онъ не бралъ денегъ. Я отлично понимаю, что ты чувствуешь, но согласенъ съ тобою. Что ты дѣлалъ до сихъ поръ? Снялъ маску?

— Снялъ. У, какая неприятная работа! Я бы больше никогда не взялся за нее. Послушай, какъ это было. Когда ты вошелъ и когда вошла мать Древскаго... Не знаю, какъ долго, но, по крайней мѣрѣ, около двухъ часовъ она стояла на колѣняхъ у тѣла сына безъ малѣйшаго движенія; теперь только я понялъ окаменѣніе Ніобей. Мы все стояли такъ, какъ ты насъ оставилъ, никто не смѣлъ шевельнуться, дрогнуть. Врачу было легко констатировать смерть: онъ видѣлъ ее. Посмотрѣлъ минуту, написалъ что-то и ушелъ. Тогда къ Древской подошла Мися и несмѣло начала цѣловать ея руки, потомъ расплакалась, опустилась на полъ и стала обнимать ея ноги. Тогда только она шевельнулась, голова ея упала на колѣни и она громко зарыдала... Что это былъ за плачь? Мы все плакали. Стославскій даже вышелъ изъ комнаты. Казалось, что она свою жизнь выплачетъ у трупа сына.

Онъ пересталъ на минуту говорить, въ голосѣ его



слышались слезы, онъ зажегъ палиросу, затянулся, вздохнулъ, и снова заговорилъ, понизивъ голосъ.

— Наконецъ, Мися и Пшервицъ отвели ее на диванъ. Она немного успокоилась, перестала плакать, но сидѣла такъ же неподвижно, какъ прежде; прошло много времени; наконецъ она сказала: «У меня не на что будетъ поставить крестъ на его неосвященной могилѣ...» Въ ея словахъ слышалось столько боли, что всѣмъ намъ казалось, что у насъ сердца разорвутся. Тутъ подошелъ Стославскій, сталъ вслѣзъ нея и сказалъ: «У него будетъ крестъ, будьте покойны...» Онъ сейчасъ же подошелъ ко мнѣ и сказалъ шопотомъ: «Панъ Тенжель, у меня въ Галиціи появилась нефть, у меня теперь довольно много денегъ, мнѣ хотѣлось бы, чтобъ у этого бѣднаго Древскаго былъ красивый памятникъ; пусть хоть это будетъ для сына этой несчастной женщины. Сдѣлайте это вы или Рдзавичъ или оба вмѣстѣ; мы потомъ сочтемся; сейчасъ же принимайтесь за работу». Я ему отвѣтилъ, что тамъ, гдѣ можно выбирать между мною и тобой, развѣ слѣпой бы выбралъ меня, но ты навѣрное согласишься, а я буду тебѣ помогать. Во всякомъ случаѣ ты отдашь ему долгъ; я знаю, что онъ мучитъ тебя; да сверхъ того заработаешь еще тысячи двѣ. Памятникъ будетъ большой, и тебѣ не придется ничѣмъ стѣсняться. Все будетъ зависѣть отъ тебя.

— Надо будетъ выписать порядочный мраморъ, — сказалъ Рдзавичъ, въ которомъ отозвалась художественная жилка; его воображеніе уже работало.



— Когда у тебя созрѣетъ проектъ, ты покажешь его Стославскому.

— Чему тутъ зрѣть? На могилу я брошу ангела, закрывающаго ее крыльями. Все будетъ зависѣть отъ того, какъ это выйдетъ.

— Если бы ты видѣлъ, — продолжалъ Тенжель, — какъ эта Мися ходила за Древской! Что за деликатность, что за сердце, что за доброта! А что ни дѣлалъ для нея Стославскій! Онъ все время ломалъ себѣ голову, какъ бы смягчить ударъ. Собака тотъ, кто скажетъ дурное слово о Стославскихъ. А говорятъ про нихъ разныя разности... Но знаешь, чего я понять не могу? Что люди бросаются на Мисю прежде всего за то, что она добра. Говорятъ, какъ можетъ такая женщина быть доброй? Выходить такъ, словно для того, чтобы быть добрымъ, необходимо взять откуда-то казенный дипломъ. Мися добра, во-первыхъ, оттого, что она такой родилась, во-вторыхъ, оттого, что живетъ съ человѣкомъ, у котораго такое сердце, какъ у Стославскаго. Но людямъ не нравится то, что Стославскіе вышли не въ нихъ и что не обращаютъ на нихъ вниманія. Бросить въ нихъ камнемъ нельзя, не за что! Зато, что они живутъ внѣ брака, ихъ осыпали такой грудой камней, что больше ужъ некуда бросать. Я ихъ не ставлю никому въ примѣръ, съ моей мужицкой точки зрѣнія они даже нехорошо поступаютъ, что не женятся, если любятъ другъ друга, но, по-моему, ужъ лучше имѣть доброе сердце безъ твердыхъ убѣжденій, чѣмъ быть мошенникомъ съ общепризнанной моралью.



— Ахъ, убѣжденія, убѣжденія, — пробормоталъ Рдзавичъ, словно про себя.

— Конечно. Человѣческая доброта была раньше моральныхъ требованій. Я не знаю твоего взгляда на это, но, по-моему, они не должны такъ жить. Это грѣхъ, и они обижаютъ Бога, но все же они дѣлаютъ добро и лучше тѣхъ, кто вѣнчался въ самомъ Римѣ, а не слышитъ человѣческихъ слезъ. Правда?

— Да, но есть и такіе, которымъ кажется, что хуже жить такъ, какъ они живутъ, чѣмъ не давать никому ни гроша. У людей свое представленіе о морали, своя этика, — сказалъ Рдзавичъ.

— Представленіе о морали, этика, — повторилъ Тенжель. — Этика — это великое слово, но видно, что можно быть и «не моральнымъ» и все-таки добрымъ и...

— Но можно также, — прервалъ Рдзавичъ, — быть болваномъ, который не понимаетъ этого потому, что не понимаетъ; но можно не понимать чего-нибудь и потому, что это лежитъ внѣ сферы нашего интеллекта: это случается съ самыми интеллигентными людьми; наконецъ, можно не желать понимать чего-нибудь, чтобъ не противорѣчить своимъ убѣжденіямъ, и это случается чаще всего.

— Эхъ, Стославскому это все равно! — сказалъ Тенжель. — Онъ могъ бы смѣло купаться въ содовой водѣ и даже въ сельтерской. Есть два рода людей, которымъ можно все на свѣтѣ: такимъ бѣднякамъ, на которыхъ не смотрятъ, и такимъ богачамъ, которые ни на что не смотрятъ. Все же недурно было бы уго-



ворить его жениться. У насъ въ деревнѣ ихъ бы не терпѣли.

Рдзавичъ задумался, потомъ спросилъ:

— Древскій быстро измѣнился послѣ смерти?

— Очень быстро, — отвѣтилъ Тенжель. — Все въ немъ словно ушло куда-то внутрь. Видно, что жизнь его висѣла, какъ гвоздь на ниткѣ; я думаю, яду не трудно было покончить съ нимъ.

— Осталось ли на его лицѣ выраженіе спокойной апатіи, которое на немъ застыло?

— Осталось.

Рдзавичъ снова задумался. Тенжель продолжалъ.

— Для него смерть была тѣмъ же, чѣмъ для слѣплого лампа. Онъ легъ въ могилу, какъ въ кровать, вернувшись съ попойки.

— Это страшное мужество, — шепнулъ вполголоса Рдзавичъ.

— Мужество? — повторилъ Тенжель. — Можетъ быть, страшная трусость. Впрочемъ, Ромекъ, не велика важность не бояться такъ, какъ онъ. Что меня въ немъ удивляетъ — это легкомысліе его поступка относительно матери, это то, что ему не пришло въ голову, что она предпочла бы не только ѣздить на козлахъ у пани Швальбе, но даже мыть колеса у ея экипажа, просить, наконецъ, милостыню у костела, чѣмъ спокойно жить, благодаря самоубійству сына, поручившаго ее попеченію добрыхъ людей. Да, онъ могъ бы это сдѣлать, не убивая себя. Нечего было стыдиться, она могла заработать на себя. Ей Богу, онъ ужъ тамъ,



передъ лицомъ Господа, но если бы онъ воскресъ, то прежде всего я бы велѣлъ всыпать ему пятьдесятъ горячихъ.

Рдзавичъ улыбнулся.

— Ты страшно просто рассуждаешь о людяхъ... — сказалъ онъ.

— Серьезно! Что его анализировать? — отвѣтилъ съ раздраженіемъ Тенжель. — Онъ былъ лѣнтяй, жизнь ему надоѣла, онъ потерялъ вѣру...

— А не удивилъ онъ тебя своимъ спокойствіемъ и равнодушіемъ къ смерти? — перебилъ Рдзавичъ.

— Тьфу! — плюнулъ Тенжель. — Ты съ ума сошелъ? Велика важность войти въ погребъ безъ пальто, если не чувствуешь холода? Если у кого-нибудь атрофированъ, какъ говорятъ въ медицинѣ, страхъ передъ смертью и цѣтъ любви къ родной матери, какъ у Дреускаго, тотъ для меня, царство ему небесное, полусумасшедшій, полуэгоистъ, достойный осужденія; впрочемъ, *de mortuis aut bene aut nihil...*

Тенжель замолкъ и съ безпокойствомъ оглянулся... Рдзавичъ, молча, рисовалъ на кускѣ бумаги гробы, а на нихъ крылатыхъ ангеловъ.

— Мнѣ кажется, ты не совсѣмъ согласенъ съ тѣмъ, что я говорю, — сказалъ Тенжель.

— Для тебя человѣкъ, какъ двѣ спички, сложенная накрестъ, а между тѣмъ онъ похожъ на море, по которому плаваютъ корабли. Ты видишь волны, которыя ихъ качаютъ, ты можешь видѣть бурю, которая ихъ топить, но отчего на морѣ происходитъ то или дру-



гое движеніе, этого ты не знаешь, и, хотя ты видѣлъ, какъ корабль качался или утонулъ, но не знаешь, отчего это произошло.

— Оттого, что былъ тотъ или другой вѣтеръ.

— А откуда переменна направленія вѣтра?

— Вслѣдствіе атмосферическихъ причинъ.

— Ну, а эти причины?

— У нихъ свои причины.

— Ну, а у этихъ?

— У нихъ тоже были свои, — сказалъ Тенжель, чувствуя, что теряетъ подъ собой почву.

— И такъ далѣе и такъ далѣе. Въ концѣ-концовъ, знаешь ли ты, откуда это?

— Я знаю, — сказалъ живо Тенжель, хватаясь за новую мысль. — Всему причина Богъ.

Рдзавичъ взглянулъ на него, потомъ взялъ кусокъ писчей бумаги и, взявъ перо, подперъ голову руками.

Тенжель же говорилъ вполголоса, скорѣе самому себѣ:

— Если исходить изъ моей точки зрѣнія, то человѣкъ такъ же простъ, какъ двѣ спички, сложенные накрестъ.

Рдзавичъ отвѣчалъ также вполголоса, не переставая писать:

— А я тебѣ говорю, что съ какой точки зрѣнія ни смотри, человѣкъ все же, какъ море.

— А Конаржевскій тоже? — пробормоталъ несмѣло Тенжель, довольный, что это ему пришло въ голову.



Потомъ они сидѣли довольно долго, молча; наконецъ, Рдзавичъ, окончивъ письмо, сказалъ:

— Я написалъ письмо Лановскому во Флоренцію. Онъ молодъ, но довольно опытенъ, выберетъ хорошій кусокъ и сейчасъ же вышлетъ... А все-таки жизнь отвратительна. Нечего дѣлать, намъ приходится теперь радоваться смерти Древскаго и отчаянію его матери, которое тронуло Стославскаго; оба мы богаты, какъ турецкіе святыя, а тутъ вдругъ деньги. Плюнуть на все и отвернуться...

— Нѣтъ того дурного, что не кончилось бы хорошимъ, — сказалъ, не подумавши, Тенжель.

Рдзавичъ улыбнулся и посмотрѣлъ на него съ выраженіемъ болѣе умнаго человѣка, который въ данную минуту почувствовалъ свое превосходство; онъ сказалъ нѣсколько юмористически, съ легкимъ отгѣнкомъ ироніи въ голосѣ:

— Отличная поговорка, только, пожалуй, ты ее привелъ немного *mal à propos*.

Тенжель смѣшался, покраснѣлъ и, желая обратить его вниманіе на другой предметъ, сталъ прислушиваться и сказалъ:

— Слышишь, что-то пищитъ на дворѣ. Я третій разъ уже слышу какой-то пискъ.

— Дѣйствительно, — отвѣтилъ Рдзавичъ, прислушиваясь. — Я видѣлъ какую-то собаку у стѣны, когда возвращался; можетъ быть, это она. Надо посмотрѣть.

Онъ отворилъ окно и взглянулъ. Онъ жилъ на второмъ этажѣ, такъ что было слышно, что дѣлается на



улицѣ. Возлѣ дома онъ увидѣлъ человѣка, который ударами ноги старался сбросить съ тротуара на улицу собаку, а она не могла подняться.

— Что вы тамъ дѣлаете? — крикнулъ Рдзавичъ.

— Я ночной сторожъ и очищаю улицу отъ собакъ, — отвѣтилъ ему съ низу охрипшій варварскій голосъ.

— Перестаньте, вѣдь вы видите, что она издыхаетъ.

— Я знаю, что дѣлаю; чего ей тутъ валяться!

— Я говорю вамъ, перестаньте! — крикнулъ Рдзавичъ съ раздраженіемъ, услыхавъ, что собака запищала умирающимъ голосомъ отъ новаго удара.

— Что вы мнѣ приказываете? — крикнулъ сторожъ. — Ишь, какой опекунъ! Не такихъ мы знаемъ!

И снова ударилъ собаку.

У Рдзавича кровь ударила въ голову. Онъ схватилъ кастетъ и бросился къ дверямъ, но сейчасъ же вернулся и, говоря: «этакъ будетъ скорѣе», сорвалъ простыню съ кровати и, подавъ одинъ конецъ Тенжелю, крикнулъ: «держи!» Потомъ выбросилъ другой конецъ за окно. Тенжель, не задумываясь, сжалъ въ своихъ желѣзныхъ лапахъ конецъ полотна, а Рдзавичъ выскочилъ въ окно и быстро съѣхалъ внизъ по висшей вдоль стѣны простынѣ. Онъ повисѣлъ немного надъ землею, потомъ прыгнулъ. Сторожъ ошмѣлъ, отошелъ немного и снялъ шалку. Между тѣмъ Тенжель привязалъ какъ можно скорѣе простыню къ окну, потянулъ, попробовалъ крѣпость узла и сѣлъ на окнѣ. Рдзавичъ подошелъ къ сторожу.



— Попробуйте только! — крикнулъ сторожъ, надѣвая шапку и замахиваясь рукой.

Но въ ту же минуту Тенжель потянулъ еще разъ простыню, закрѣпилъ узелъ и началъ съѣзжать. На полдорогѣ узелъ отвязался или лопнулъ, и Тенжель грохнулся вмѣстѣ съ простыней на тротуаръ, къ счастью — на кучу снѣга. Онъ поднялся, встряхнулъ руками и, говоря: «подожди, сукинъ сынъ, увидишь, что такое боль!», подошелъ къ сторожу, сжалъ ему руку, которой тотъ вынулъ тѣмъ временемъ ножъ изъ кармана, ударилъ его кулакомъ въ лобъ такъ, что что-то треснуло, и бросилъ его въ снѣгъ.

Сторожъ, не ругаясь даже, быстро поднялся и удалился.

— Что же мы теперь будемъ дѣлать? — спросилъ Тенжель.

— Возьмемъ эту собаку на простыню и отнесемъ ее ко мнѣ. Позвони. Пусть хоть издохнетъ не на холодѣ.

Осторожно завернувъ въ простыню избитую собаку, они понесли ее мимо озадаченнаго дворника въ квартиру.

— Послушай, лучше всего было бы ее пристрѣлить, чтобы она не мучилась, — сказалъ Рдзавичъ.

— Да, но отъ выстрѣла проснутся сосѣди.

— Нѣтъ, мой револьверъ бьетъ не громко, кругомъ пусто, всѣ сняты, а если кто-нибудь и услышитъ, то даже въ полиціи мнѣ ничего не скажутъ, я съ нашимъ околоточнымъ въ дружбѣ. Я написалъ ему съ фотогра-



фической карточки портретъ его недавно умершаго ребенка.

Онъ вынулъ револьверъ, оттянулъ курокъ, прицѣлился въ голову собаки, но сейчасъ же опустилъ руку и сказалъ дрожащимъ голосомъ:

— Знаешь, не могу, можетъ быть, ты...

Тенжель взялъ у Рдзавича револьверъ, прицѣлился, но сейчасъ же опустилъ руку и тоже сказалъ:

— Не могу...

Рдзавичъ, закрывъ лицо рукой, воскликнулъ:

— Погляди, какъ она жалобно смотритъ! Она поняла, что мы хотимъ ее убить... И эта несчастная, бездомная, избитая на улицѣ тварь не хочетъ умирать, просится жить!

— Послушай, можетъ, она еще отлежится, — сказалъ Тенжель дрожащимъ отъ волненія голосомъ. — Дай ей что-нибудь. Что у меня? Можетъ, тамъ найдешь кусокъ колбасы въ шкафу, иной разъ дѣти дворника приходятъ сюда ко мнѣ поѣсть. Есть?

— Есть.

— Дай ей. Ѣсть? Я не могу на нее смотрѣть.

— Она не хочетъ ѣсть, не можетъ. И пить не можетъ. Она сейчасъ издохнетъ.

— И хочетъ жить! И хочетъ жить, хоть секунду еще хочетъ жить! Такъ, какъ самые несчастные люди! А что такое человѣческая жизнь? Я ее видѣлъ сегодня.

Въ памяти его быстро мелькнуло тихое счастье Пшервицовъ, смерть Древскаго, отчаяніе его матери, жизнь которой, благодаря смерти сына, должна была



измѣниться къ лучшему въ матеріальномъ отношеніи, сцена въ ресторанѣ, фигура капитана, плѣшиваго мужчины, называемаго Пенташкомъ, и Божевскаго, — его собственныя мысли и чувства, отвратительный, дикій и жестокій ночной сторожъ. Все это вмѣстѣ, съ тихимъ жалобнымъ пискомъ собаки, смѣшалось у него въ отчаянный хаосъ, такъ что онъ закрылъ глаза кулаками и, припавъ лицомъ къ подушкѣ, воскликнулъ :

— Жизнь ! жизнь ! жизнь !

#### IV.

Въ мастерскую Рдзавича свѣтило зимнее полуденное солнце, свѣтлое, лучистое. Хрустальный, золотистый свѣтъ вливался сквозь стекла оконъ въ мастерскую, дѣлая ее особенно свѣтлой. Изъ окна виденъ былъ садъ въ родѣ парка. Каштаны, липы, клены блестѣли на солнцѣ оледенѣвшимъ снѣгомъ, покрывавшимъ ихъ. Они выдѣлялись рѣзкими контурами на чистомъ, голубомъ свѣтломъ фонѣ неба, на которомъ пылало громадное свѣтлое пламенное солнце.

Среди деревьевъ было тихо. Золотое, солнечное молчаніе искрящагося на землѣ снѣга и искрящагося среди деревьевъ воздуха развѣялось по парку, какъ широкій звукъ звенящаго о серебро хрусталя. Подъ лазурь небеснаго свода уходило безмѣрное раздумье сонной земли.

Деревья на покрытомъ снѣгомъ пространствѣ стоя-



ли недвижныя, высокія, сонныя, залитыя сіяніемъ. Голубой морозъ ползалъ въ тѣни и расплывался въ золото на свѣтѣ. Во всемъ слышался металлическій звукъ.

Надъ деревьями вдаль видѣлась на темномъ съ этой стороны небѣ, похожемъ на замерзшее море, красная башня костела съ конусообразнымъ верхомъ, на которомъ сверкалъ крестъ, словно вырѣзанный изъ чернаго алмаза. Башня расплывалась въ косыхъ лучахъ голубого свѣта, въ металлическомъ воздухѣ изъ жидкаго металла, незримаго, какъ запахъ; воздухъ блестялъ.

Спокойствіе разливалось надъ паркомъ, и голубой солнечный сонъ обнималъ землю. Было тихо.

Это былъ понедѣльникъ. Въ залахъ общества покровительства изящнымъ искусствамъ вчера, въ воскресенье, была открыта выставка произведеній Рдзавича: картина «Вампиръ» и гипсовая группа «Любовь центавровъ» въ половину натуральной величины. Весь вчерашній день и сегодня съ утра Рдзавичъ не выходилъ изъ дому; желая даже пройти изъ своей квартиры на второмъ этажѣ въ мастерскую внизу, онъ открывалъ двери и прислушивался, чтобы никого не встрѣтить. Когда онъ посылалъ свои вещи въ общество, ему казалось, что, если онъ не посылаетъ чего-нибудь замѣчательнаго, то, во всякомъ случаѣ, нѣчто очень близкое къ этому; потомъ тѣ же вещи показались ему настолько ничтожными, что Тенжель долженъ былъ вмѣсто него вести всѣ переговоры съ правленіемъ общества, такъ какъ онъ не хотѣлъ никуда показывать-



ся. Напрасно Тенжель говорилъ, что комитетъ общества «разинулъ ротъ, какъ ворота» и что серьезная кассирша «такъ подскочила отъ восторга, что отбила себѣ пятки» и что онъ, Тенжель, «глухой мопсъ и неученый пудель», если все это не правда; Рдзавичъ улыбался отъ удовольствія, хотя и старался не улыбаться.

— Если бы я сдѣлалъ такъ хоть одну вещь, такъ я, ей Богу, пробилъ бы носомъ дыру въ зонтикѣ, а онъ бонтея! — сердился Тенжель, но Рдзавичъ раздражался и беспокоился.

Со времени своего возвращенія изъ-за границы Рдзавичъ жилъ, какъ отшельникъ. Онъ не бывалъ нигдѣ, — даже у Пшервицовъ онъ не былъ со дня смерти Древскаго. Товарищей своихъ, отъ которыхъ его отдѣляла пропасть, онъ старательно избѣгалъ; запершись у себя, онъ по цѣлымъ днямъ работалъ при помощи Тенжеля, стараго «финитора» Чемпинскаго и нѣсколькихъ рабочихъ. Со времени своего приѣзда въ Варшаву онъ написалъ къ концу февраля «Вампира», кончилъ почти готовыхъ передъ отъѣздомъ за границу «Центавровъ» и высѣкъ памятникъ для Древскаго. Въ этой работѣ время проходило незамѣтно; впрочемъ, Рдзавичъ убѣдился, что единственнымъ лѣкарствомъ противъ его болѣзни можетъ быть только горячій, усиленный трудъ, который совершенно поглощаетъ человѣка, изнуряетъ его физически, такъ что нѣтъ уже времени и силъ для душевныхъ мукъ.

Около четверти часа Рдзавичъ все скорѣе и скорѣе ходилъ по мастерской съ руками въ карманахъ, съ си-



гарою въ губахъ; Тенжель лѣпилъ изъ воска маленькаго чортика въ кропильницѣ. Вдругъ Рдзавичъ вынулъ изо рта сигару и пониженнымъ голосомъ спросилъ:

— Послушай, Тенжель... Ты былъ вчера на выставкѣ.

— Былъ и хотѣлъ тебѣ сказать, что говорили, но ты бѣгаешь, какъ сумасшедшій, и я не знаю, говорить тебѣ или нѣтъ? Ей Богу, я не разъ хотѣлъ, чтобы ты былъ поменьше, я бы тебѣ прямо сказалъ: «слушай, чортъ подери, разъ съ тобой говорятъ!»! Но какъ такъ говорить съ такимъ великимъ человѣкомъ, какъ ты?! Ты даже не знаешь, какой ты вельможа! Сидѣлъ я вчера съ самаго открытія выставки до двухъ, потомъ мнѣ захотѣлось ѣсть; я усталъ прислушиваться къ разговорамъ толпы, какъ пудель танцовать.

— Да не въ томъ дѣло... Видѣлъ ли ты тамъ кого-нибудь знакомаго? А?

— Сколько угодно. Иные такъ восхищались...

— Чортъ ихъ возьми съ ихъ восторгами!

— Чего же тебѣ надо?

Рдзавичъ остановился передъ Тенжелемъ, посмотрѣлъ на него и съ видимымъ усиліемъ сдерживался, чтобъ не смотрѣть въ сторону или на полъ.

— Марія была?

Тенжель покраснѣлъ, смѣшался и отвѣчалъ, старательно разсматривая своего чортика, котораго снова сталъ было лѣпить.

— Была.

— И что же? Видѣла она тебя?



— Видѣла.

— Кланялся ты ей?

— Кланялся.

— И... и что жь? Отвѣтила она тебѣ?

— Да.

— Какъ?

— Такъ, словно она не помнитъ, кто я такой, знаетъ ли она меня или не знаетъ. Посмотрѣла на меня минутку совсѣмъ безучастно, какъ на стѣну, кивнула мнѣ головой, словно муха сѣла у нея съ одной стороны.

— Смотрѣла мои вещи?

— Смотрѣла.

— Съ интересомъ?

— Съ интересомъ. Я нарочно сталъ невдалекѣ; на группу только взглянула, зато долго присматривалась къ картинѣ.

— И что же?

— А я почему знаю? Была она съ madame Пожелъской и съ какой-то барышней, довольно тонкой, высокой.

— Какъ она была одѣта?

— На ней была темно-синяя шубка, отороченная чернымъ барашкомъ, и шапочка, тоже черная, съ бѣлою вуалью.

— А платье?

— Не замѣтилъ.

Рдзавичъ съ нетерпѣніемъ поморщился.

— Былъ кто-нибудь съ ней?



— Сначала онъ были одинъ, потомъ пришли ихъ знакомые.

— Кто?

— Не знаю. Сначала пришелъ какой-то бринетикъ съ рожицей, какъ у собачки, начисто выбритый. Онъ говорилъ ей что-то, она чуть-чуть улыбалась. Потомъ пришелъ какой-то плѣшивый господинъ съ страшно высокимъ воротничкомъ, съ бачками, въ монокль; я слышала, какъ онъ говорилъ къ ней: «та foi, это вашъ»... Тенжель замолкъ и, повидимому, измѣняя слова, кончилъ: — этотъ Рдзавичъ — это талантъ. Можетъ быть, я куплю этого «Вампира». Это совсѣмъ ничего себѣ... Не кончилъ, кивнулъ головой на твою голую женщину и посмотрѣлъ на Марию, она стала смѣяться, покраснѣла и отвернулась.

Рдзавичъ топнулъ ногой и бросилъ кому-то невнятное проклятіе.

— Можетъ быть, тебѣ неприятно, что я говорю? Отчего ты спрашиваешь? — сказалъ Тенжель, вопросительно поглядывая на Рдзавича.

— Нѣтъ, говори.

— Когда онъ сказалъ о тебѣ, что ты «пожалуй, талантъ» и что это «совсѣмъ ничего себѣ», я думала, что ударю его. Бритый морсѣ смѣетъ говорить «пожалуй, талантъ!»

— Слушай, ты мнѣ не все сказалъ. Какъ онъ называлъ меня?

— Какъ называлъ? Я тебѣ сказалъ.

— Какъ?



— Панъ Рдзавичъ.

— Ты врешь, Тенжель. Я прошу тебя сказать мнѣ, какъ онъ меня назвалъ?

Подъ пронизательнымъ и повелительнымъ взглядомъ Рдзавича честный и правдивый Тенжель смутился и, хмурия брови, не находя, что сказать, отвѣтилъ:

— Тебѣ будетъ непріятно.

— Пускай. Говори!

— Онъ назвалъ тебя: этотъ поклонникъ въ отставку...

У Рдзавича дрогнули губы, и онъ покраснѣлъ. Онъ стоялъ передъ Тенжелемъ и впивался въ него своими стальными глазами сдвинувъ брови, съ выраженіемъ хищной птицы. У Тенжеля было такое лицо, словно онъ совершилъ преступленіе.

— Отчего же ты мнѣ велѣлъ говорить?

Но Рдзавичъ немного глухимъ отъ внутренней боли и гнѣва голосомъ спросилъ:

— Былъ съ нею еще кто-нибудь?

— Пришелъ еще какой-то очень красивый и хорошо одѣтый блондинъ съ большими усами.

— Это Божевскій, — шепнулъ Рдзавичъ. — Не рассказывай мнѣ больше ничего.

Потомъ онъ отвернулся отъ Тенжеля, подошелъ къ окну и приложилъ лобъ къ стеклу. Тенжель же бессознательно смялъ своего воскового чортика и также бессознательно сталъ его лѣпить снова. Рдзавичъ вдругъ коротко спросилъ:

— Какъ выглядит Марія?



Тенжель задумался немного, какъ бы не зная, что лучше, сказать или не сказать, и, наконецъ, отвѣтилъ:

— Что же, прекрасно.

Рдзавичъ еще сильнѣе прижалъ лобъ къ стеклу и поднесъ къ нему обѣ руки такъ, что закрылъ себѣ лицо. Онъ застылъ, какъ пани Древская у трупа сына.

— Можно? — вдругъ послышался въ дверяхъ милый женскій голосъ.

— Пани Пшервиць, — шепнулъ Тенжель, вскакивая съ ящика, на которомъ сидѣлъ.

— Можно? — повторила пани Лаура.

— Пожалуйста, — отвѣтилъ Рдзавичъ, стараясь скрыть выраженіе своего лица подъ пріятной улыбкой.

— А мы воспользовались вашимъ приглашеніемъ, хоть и не сразу, — сказала пани Лаура, входя подъ руку съ мужемъ, вся розовая отъ холода. — Я позволила себѣ захватить съ собой Бишу.

— Очень радъ. Садитесь, пожалуйста.

— Хорошо, сейчасъ. Мы должны васъ прежде всего поздравить! Ваша выставка прямо чудо!

— Чудная. До сихъ поръ вы были извѣстны, а теперь вы знаменитость. Всѣ говорятъ о васъ. Передъ вами открыта вся Варшава, — добавила пани Биша.

— Знаешь, эти вещи кажутся на выставкѣ еще лучше, чѣмъ здѣсь, въ мастерской, — сказалъ Пшервиць, подходя къ одной изъ картинъ.

— Какъ и твоя драма вышла лучше на сценѣ, чѣмъ въ чтеніи. Впрочемъ, когда ты былъ у меня? Мѣсяць тому назадъ?



— Но что съ вами? Вы словно чѣмъ-то недовольны? — спросила пани Лаура.

— Напротивъ, я очень доволенъ. Какъ быть недовольнымъ, если мои вещи нравятся. Всякому художнику пріятно, если его хвалятъ. Правда, Юрій?

Пшервиць, отлично догадывавшійся, что дѣлается въ душѣ Рдзавича, ничего не отвѣчалъ; онъ подошелъ къ памятнику Древскаго, стоявшему у стѣны, и сказалъ:

— Знаешь, это становится все невѣроятнѣе. Ужасъ, какъ ты быстро это сдѣлалъ.

— Это уже почти кончено, только немного придется еще повозиться съ фигурой. Впрочемъ, мнѣ помогали Тенжель, Чемпинскій и еще трое. А то мы никогда бы такъ быстро не кончили.

Биша и Лаура встали съ поданныхъ имъ стульевъ и подошли къ камню.

— Я давно уже собиралась взглянуть; мнѣ очень хотѣлось, но я боялась вамъ помѣшать, — сказала Лаура.

Памятникъ Древскаго былъ высѣченъ изъ мрамора: на гробу, ближе къ ногамъ покойнаго, сидѣлъ съ согнутыми колѣнями, со сложенными и опущенными руками, въ три четверти роста человѣка, ангелъ въ длинномъ, широкомъ саванѣ, съ громадными, распростертыми крыльями, которыми онъ осѣвлялъ и закрывалъ весь гробъ. Голова немного склонена на грудь, рѣсницы опущены, и въ выраженіи лица не столько грусть,



сколько безмѣрная и безконечно молчаливая задумчивость.

— Знаешь, ты еще ничего подобнаго не дѣлалъ, — сказала Пшервицъ.

— Чудно, чудно! — шептали обѣ дамы, а лицо Теи-желя сіяло, оно словно твердило: «Смотрите! это онъ! это Романъ Рдзавичъ»!

— Это ангелъ смерти! — сказала Биша.

— Нѣтъ, это ангелъ тѣхъ, которые умерли, — отвѣтилъ Рдзавичъ.

— А это что такое? — спросила Лаура, показывая пальцемъ на большой кусокъ мрамора, въ которомъ можно было разглядѣть контуры сидящей фигуры, закинувшей правую ногу на лѣвое колѣно.

— Это пока ничего, а будетъ «Отравительница».

— Какъ это «Отравительница»?

— Я обыкновенно дѣлаю наброски моихъ композицій на картонѣ; если хотите, я вамъ покажу.

Говоря это, онъ повернулъ на блейтрамѣ стоявшій чистой стороной къ зрителямъ большой картонъ.

На эскизѣ была молодая женщина съ распущенными волосами; драпировка закрывала только ея ноги и падала съ лѣваго бедра. Женщина эта сидѣла на скалѣ, покрытой мохомъ, вокругъ росли папоротники и другія растенія; правая нога ея была закинута за лѣвую у колѣна, въ рукѣ она держала чашу, въ которую выжимала сокъ волчьихъ ягодъ. Голова была немного наклонена, но лица нельзя было разглядѣть; оно было на-



рисовано, но потомъ, очевидно, было закрашено нѣсколькими энергичными мазками синей краски.

— А это что у тебя? — спросилъ Пшервицъ, подходя къ большому полотну, натянутому на подрамкѣ и обернутому къ стѣнѣ.

— Это? Я могу вамъ показать, но это пока лишь набросокъ. Миѣ кажется, что это будетъ моя лучшая картина.

Онъ повернулъ полотно, держа руку на рамѣ; Лаура, взглянувъ, крикнула: «ахъ!», какъ испуганный ребенокъ.

Картина представляла комнату, освѣщенную громаднымъ канделябромъ со множествомъ свѣчей, блескъ которыхъ отражался и двоился въ большомъ зеркалѣ на стѣнѣ. Почти посрединѣ комнаты, подъ темно-краснымъ «ciel de lit» съ грязно-желтыми кружевами, за широко раздвинутыми портьерами видѣлась кровать; на нее падалъ яркій, сильный блескъ свѣчей. Возлѣ кровати человекъ въ сѣромъ плащѣ почти падалъ назадъ, опускаясь на колѣни и подаваясь въ то же время грудью впередъ, снова собираясь броситься за кѣмъ-то, — заломивъ надъ головой руки, съ открытыми губами и крѣпко сжатыми отъ боли зубами; видно было, что онъ падаетъ отъ страшнаго отчаянія. Кровать и человекъ были направо отъ зрителя, а палѣво, съ той стороны, куда человекъ былъ обращенъ лицомъ, съ кроватью и подушками за собой, стѣна какъ-то расплывалась въ безмѣрное, открытое пространство, въ блѣдно-розовую бездну съ золотистымъ отгѣнкомъ; въ



нее уходила совершенно реально, но въ то же время какъ бы расплываясь въ наводненіи блѣдно-розоваго свѣта, женщина въ подвѣчномъ платьѣ, съ камеліями въ волосахъ. Въ движеніи этой женщины, идущей въ безконечность, вѣчно реальной, но исчезающей, женщины-призрака, вѣчно зримаго въ этой безконечности, было полное равнодушіе и полное спокойствіе... Она уходила въ своемъ бѣломъ подвѣчномъ платьѣ, съ камеліями въ волосахъ, какъ тѣнь, уходила, какъ отъ мертвой вещи... А между тѣмъ въ человѣкѣ, который хотѣлъ за нею бѣжать, падалъ на колѣни, кричалъ ей вслѣдъ, была такая нечеловѣческая боль, отчаяніе, потеря и гибель всего человѣческаго. А на кровати за нимъ, въ полномъ блескѣ свѣчей, лежалъ задрапированный бѣлой вуалью женскій скелетъ, съ проническимъ выраженіемъ костляваго черепа и темныхъ глазныхъ ямъ. Одна рука его кокетливо подпирала лицо, другая была брошена на одѣяло; ноги тонули въ тѣни.

Впечатлѣніе было такъ сильно и неожиданно, что Пшервицы и пани Биша стояли безъ словъ; Рдзавичъ, опершись рукой о раму полотна, съ какимъ-то орлинымъ выраженіемъ въ своихъ стальныхъ глазахъ, былъ похожъ въ эту минуту на музыканта, вслушивающагося въ послѣдніе звуки своей симфоніи, когда онѣмѣвшіе отъ удивленія слушатели не успѣли еще открыть рта, чтобы кричать, и сложить руки, чтобы хлопать.

— Чудно, — шепнула, наконецъ, Биша.

— Страшно, — сказала также шопотомъ Лаура.

Пшервицъ молчалъ, а Тенжель, сіяющій какъ Дель-



фійскій Аполлонъ, обводилъ по очереди присутствующихъ глазами, съ фізіономіей Цезаря-тріумфатора.

— Эту картину я назвалъ «Покинутый», — сказалъ Рдзавичъ. — Достаточно ли ясно? Я боюсь, что она слишкомъ литературна? Правда?

— Что ты?! — вскрикнулъ Тенжель. — Ясно, какъ быкъ.

— Какъ вы ее себѣ представляете? — спросилъ Рдзавичъ у Лауры.

— Что эта женщина бросила человѣка, который ее любилъ до безумія, а вмѣсто нея у него остался... не знаю, какъ это назвать... можетъ быть, символъ этой разлуки...

— Да, да, — сказалъ нервно Рдзавичъ, — саркастическій символъ незанятаго мѣста, пустоты, погибшей надежды и раздавленнаго желанія, страшная пропія того, что осталось, вмѣсто того, что должно было быть, во что онъ вѣрилъ, какъ во что-то, что онъ будетъ имѣть; выраженіе внутренней его жизни. Вы понимаете это отлично; впрочемъ, я хотѣлъ этимъ выразить гораздо больше, чѣмъ могутъ выражать слова и всякіе обычные способы выраженія чувствъ. Можетъ быть, Шопень сумѣлъ бы это выразить въ музыкѣ; а ты Юрій, что скажешь?

— То, что ты самъ знаешь! Чортъ тебя возьми! Охъ! Извините меня, мои дорогія! Вѣдь это прямо геніально!

— Да, да! — сказала Биша. — Совсѣмъ геніально! Правда, Лаура?



Лаура кивнула утвердительно головою, не отрывая глазъ отъ картины.

Рдзавичъ улыбулся и сказалъ своимъ обыкновеннымъ спокойнымъ голосомъ :

— Какое у васъ было лицо... Полное искръ...

Биша разсмѣялась, немного покраснѣла и слегка нагнула свою голову съ громадными свѣтлыми волосами, а пани Пшервицъ сказала :

— Нарисуйте ее.

— Я не пишу портретовъ, а въ мраморѣ искры не вышли бы, — отвѣтилъ Рдзавичъ съ улыбкой.

— А здѣсь наброски къ «Вампиру»?

— Да.

На полотнѣ былъ осенній видъ. Пожелтѣвшій, увядшій лугъ, а дальше за нимъ деревья съ темными листьями. Солнце было низко, и послѣдніе лучи золота и блки пламени видѣлись на чистой лазури небосклона. На лугу лежалъ мужчина въ сѣромъ плащѣ, похожій на того съ большой картины; зрителю были видны только его лобъ и глаза, остальную часть лица закрывала голая женщина, стоящая близъ него на колѣняхъ и обращенная смѣлымъ движеніемъ въ профиль къ публикѣ. У женщины были темнорусые волосы. По закрытымъ глазамъ мужчины можно было догадаться, что онъ спитъ, а по морщинамъ чела и по положенію тѣла, по судорожно сжатымъ пальцамъ, — что онъ страшно страдаетъ. Женщина, стоя около него на колѣняхъ, впиалась губами и зубами въ его горло и сосала его кровь, капли которой падали на траву, скатываясь по ея груди. На



первомъ планѣ, среди синеватыхъ стволовъ березъ, задрапированная въ черное, со стальнымъ серпомъ въ рукѣ, виднѣлась смерть съ холоднымъ и равнодушнымъ выраженіемъ. Въ настроеніи картины было что-то грустное и угнетающее.

— Этотъ набросокъ почти законченная картина, — сказала Пшервицъ.

— Я было хотѣлъ послать ее на выставку, но потомъ написалъ вдвое больше.

Лаура водила глазами по мастерской и замѣтила между двумя женщинами послѣднихъ картинъ что-то общее.

— Это та же женщина, — отвѣтилъ Рдзавичъ. — Та же модель, — добавилъ онъ, какъ бы оправдываясь.

Биша улыбнулась.

— Она очень красива, эта дѣвушка.

— О, да, очень красива; эта дѣвушка красивѣе, чѣмъ вы думаете, — отвѣтилъ Рдзавичъ, подчеркивая слово «дѣвушка». — Впрочемъ, для фигуры мнѣ позируетъ другая.

— Какъ такъ другая?

— Видите ли, въ «Покинутомъ» лица совсѣмъ не видно, а въ «Вампирѣ» — почти совсѣмъ; изъ-за волосъ видна такая небольшая часть лица, что все равно — какое оно; «Отравительницѣ» я еще не дѣлаю головы.

— Значить, это не она будетъ вамъ позировать для головы?

— Нѣтъ.

— А откуда же вы возьмете модель?



Рдзавичъ посмотрѣлъ съ грустнымъ удивленіемъ на Бишу, а потомъ сказалъ:

— У меня еще нѣтъ модели.

Глаза его упали на небольшое полотно, повернутое къ стѣнѣ.

Тенжель бросилъ на Бишу недовольный взглядъ.

Въ это время кто-то постучалъ въ двери. Это былъ посыльный съ громаднымъ букетомъ въ рукахъ и съ письмомъ.

— Что это такое? — спросилъ Рдзавичъ.

— Миѣ велѣно отдать это пану Рдзавичу.

— Это я. Отъ кого это?

— Миѣ передалъ лакей.

— Прочитайте письмо, — сказала Лаура, страшно желая узнать, что въ немъ и отъ кого букетъ.

— Это приглашеніе на сегодняшній благотворительный рауть.

— Вы входите въ моду.

— А цвѣты?

— О цвѣтахъ ничего не говорится въ письмѣ.

— Но такъ какъ они присланы вмѣстѣ, то, значить, они изъ одного источника. Вы поѣдете?

— Нѣтъ.

— Жаль. Будутъ читать стихи Юрія. Я бы хотѣла, чтобы вы ихъ слышали, — сказала, хмурясь, пани Лаура.

— Видите ли, — отвѣтилъ Рдзавичъ, — я нигдѣ не бываю, простите меня. Вы знаете, какъ я люблю Юрія,



но идти въ эту толпу, въ этотъ говоръ, въ эту толкотню...

— И вамъ даже не интересно узнать, кто послалъ этотъ букетъ? Она, навѣрное, тамъ будетъ, — сказала Биша.

Рдзавичу кровь ударила въ голову, онъ схватилъ букетъ и бросилъ его въ уголь, говоря:

— Вотъ, этотъ букетъ!

Дамы страшно смутились, Пшервицъ и Тенжель также; минуту продолжалось непріятное и неловкое молчаніе; наконецъ, Биша, понявъ, повидимому, что сказала что-то совсѣмъ не кстати, но чувствуя вмѣстѣ съ тѣмъ, что необходимо кому-нибудь заговорить первымъ, сказала съ дѣланной улыбкой:

— Стоитъ съ вами кокетничать букетами! Эта дама была увѣрена, что вы пріѣдете на рауть хоть съ однимъ цвѣткомъ въ бутоньеркѣ...

— И запишусь въ ея лейбъ-гвардію, — прервалъ ее вполголоса Рдзавичъ, который еще не остылъ, но которому уже становилось неловко.

Вдругъ Лаура заговорила, какъ говоритъ иногда ребенокъ, когда подтверждаетъ словами что-нибудь случившееся, хотя и знаетъ, что всѣ это видѣли:

— Папъ Романъ сдѣлалъ сцену.

Пшервицъ и Рдзавичъ стали смѣяться, потомъ Лаура и Биша, затѣмъ, наконецъ, и Тенжель, который стоялъ, какъ столбъ, такъ какъ ему казалось невѣроятнымъ, чтобы въ обществѣ такихъ элегантныхъ дамъ



можно было дѣлать что-либо другое, какъ красиво говорить и красиво кланяться.

— Я сдѣлалъ сцену и извиняюсь передъ вами, — сказалъ Рдзавичъ, цѣлуя дамамъ руки. — Я невоспитанъ и дикъ. Извините меня, пожалуйста, и вы, — повторилъ онъ, цѣлуя Бишѣ обѣ руки.

— Вы все здѣсь, какъ дикія лошади, — сказала Лаура и добавила, показывая на Пшервица:

— Думаете, что онъ не такой же?

— Боже, какъ вы непохожи на деревенскихъ шляхтичей! — вздохнула Биша.

— Даже я выродился, я совсѣмъ не въ братьевъ-шляхтичей, у меня короткій носъ, а у cadaго шляхтича долженъ быть длинный носъ, чтобы онъ могъ смотрѣть на его конецъ, — сказалъ весело Пшервицъ, ощупывая рукой свой слегка горбатый, но слишкомъ короткій носъ. — Зато у моей жены породистый носъ: и длинный и горбатый.

Тенжель, глядя на прелестную, розовую, улыбающуюся Лауру, думалъ, что такая женщина — чудо, что жить съ такой женщиной — также чудо, что такую женщину долженъ былъ встрѣтить въ своей жизни Рдзавичъ, а что онъ... боялся бы ходить вокругъ такой женщины, чтобы не наступить на ея тѣнь.

— Сюда идетъ кто-то, какой-то маленькій человекъ. Кто это? — спросила Биша.

— Это Чемпинскій, финиторъ Ромка, — сказалъ Тенжель, посмотрѣвъ въ окно.

Минуту спустя въ мастерскую вошелъ маленькій



сгорбленный человекъ, съ рѣдкими сѣдыми волосами, съ небольшими покраснѣвшими глазами за роговыми очками, съ рѣдкими сѣдыми и пожелтѣвшими отъ куренія усами, съ трясущимися нижней губой и подбородкомъ, съ замѣчательно добродушнымъ, очень осмысленнымъ, но сморщеннымъ, измятымъ, плохо выбритымъ лицомъ. Шея его была обвязана чернымъ съ желтыми крапинками платкомъ, изъ-подъ котораго виднѣлись концы накрахмаленнаго воротничка. Сюртукъ табачнаго цвѣта по колѣни, застегнутый на всѣ пуговицы почти до шеи, потертый и лоснившійся, панталоны неопредѣленнаго цвѣта въ клѣтку, истоптанные и, въ сравненіи съ ростомъ, громадные сапоги. Въ рукахъ онъ держалъ цилиндръ, слишкомъ высокій и съ слишкомъ широкими полями, когда-то чернаго цвѣта, теперь уже мѣстами темно-зеленаго; въ рукахъ тростниковую трость, выкрашенную въ красный цвѣтъ, съ пожелтѣвшей костяной ручкой, подъ мышкой свернутая въ трубку бумаги.

— Bonjour, signor! — сказалъ онъ при входѣ. — Я принесъ вамъ кое-что показать, у меня есть новыя факсимиле Леонардо да Винчи.

Тутъ онъ увидѣлъ сквозь свои очки дамъ и Пшервица, замолчалъ, крикнулъ и поклонился неловко и несмѣло.

— Панъ Ядекъ Чемпинскій, скульпторъ, — представилъ его Рдзавичъ.

Чемпинскій поклонился второй разъ, пробормоталъ:



«покорный слуга» или что-то въ этомъ родѣ и сжалъ, не выпуская шляпы, поданную ему Пшервицемъ руку.

— Такъ я въ другой разъ, — пробормоталъ онъ и хотѣлъ было уйти.

— Отдохните, по крайней мѣрѣ. Чего вы насъ испугались? — сказала живо и привѣтливо, подходя къ нему и подавая ему руку, пани Лаура.

Чемпинскій взялъ затянутую въ элегантную перчатку маленькую ручку, не выпуская шляпы и не зная, пожать ли ее, или поцѣловать; наконецъ, онъ поцѣловалъ ее, потомъ выпустилъ и съ помощью двухъ послѣднихъ пальцевъ правой руки, въ которой держалъ шляпу, и трехъ лѣвой, въ которой держалъ трость, онъ пробовалъ вытянуть изъ слишкомъ длинныхъ рукавовъ сюртука накрахмаленные, короткіе — свернутые съ краевъ манжеты. Онъ все стоялъ около дверей, и, услыжавъ царпаніе, спросилъ Рдзавича:

— Окно прибѣжалъ за мной. Можно его пустить?

— Пустите его.

Чемпинскій отворилъ дверь, и въ мастерскую вбѣжала самая обыкновенная дворняжка, но въ красивомъ ошейникѣ и очень откормленная. Она бросилась прежде всего къ Рдзавичу и, визжа отъ радости, стала скакать ему къ лицу, потомъ сдѣлала то же съ Тенжелемъ, потомъ привѣтливо махнула хвостомъ остальному обществу, но только такъ, лишь бы отдѣлаться, и, опустивъ его, стала быстро бѣгать по мастерской такъ быстро и съ такой энергіей, какъ это дѣлаютъ собаки, когда радуются. Она ударилась раза два головой о гробъ



памятника Древскаго, но, не обращая на это вниманія, продолжала бѣгать, время отъ времени коротко взвизгивая и лая.

— Это наша общая собака, но она живетъ у пана Чемпинскаго, — объяснилъ Рдзавичъ. — Зовутъ ее Окномъ, въ память того, что мы спасли ее черезъ окно съ Тенжелемъ. Собственно говоря, ее спасъ и воскресилъ Тенжель. Окно! Что ты дѣлаешь?!

Окно съ размаху вскочилъ на шлейфъ Биши, запутался и старался всѣми силами вылѣзть другой стороной, въ чемъ помѣшалъ ему, однако, Рдзавичъ, удержавъ его за хвостъ. Собака повернулась,хватила Рдзавича за руку и стала притворно его кусать съ полными веселья и смѣха глазами. Рдзавичъ оттянулъ его и, поставивъ ему ногу на спину, скомандовалъ: «сидѣть!»

Но Окно, повидимому, мало обращалъ вниманія на приказанія своихъ господъ, онъ выползъ изъ - подъ ноги, повертѣлся немного по мастерской, пошелъ за гробъ Древскаго, гдѣ поднялъ заднюю ногу, но очень скромно и почти незамѣтно, потомъ легъ на животъ въ томъ мѣстѣ, куда падало больше всего солнечнаго свѣта сквозь окно, вытянулъ переднія лапы, положилъ на нихъ морду и лежалъ, глядя на стоящаго *vis à vis* Тенжеля дружелюбно, но безъ всякаго почтенія, чего онъ никогда не позволялъ себѣ съ Рдзавичемъ.

— Можно будетъ сегодня работать надъ крыльями? — робко спросилъ Чемпинскій.

— Э, сегодня будетъ frei, — отвѣтилъ Рдзавичъ. —



Vlaumontag. Тенжелю не хочется сегодня работать, а я повожусь съ «Отравительницей».

— Какъ вамъ угодно. Я прійду завтра.

— Хорошо, панъ Яцекъ.

Чемпинскій сталъ уходить, но раньше мелькомъ окинулъ картонъ, на которомъ была наброшена «Отравительница». Онъ посмотрѣлъ минутку, покачалъ головой, издалъ какой-то неопредѣленный звукъ губами и сказалъ, поднимая руку и указывая на пальцы женской фигуры.

— Ужъ объ этихъ пальцахъ на фигурѣ памятника я не стану говорить, — все равно напрасно, — но правый локоть у этой женщины необходимо немного взять назадъ, а то не будетъ гармоніи. А движеніе этой ноги должно быть мягче, и бедро стоило бы немного открыть, тамъ красивыя линіи. Можно было бы немного открыть задъ. Мильця...

— Хорошо, хорошо, панъ Яцекъ, — прервалъ его Рдзавичъ, опасаясь слишкомъ техническихъ терминовъ, — вы вполнѣ правы, я вижу.

— Вотъ видите! — сказалъ съ достоинствомъ обрадованный Чемпинскій. — Леонардо я вамъ оставлю, просмотрите. Покорный вашъ слуга, мое почтеніе! Окно, пойдёмъ!

Онъ ушелъ, не взглянувъ ни на кого, кромѣ Рдзавича и Тенжеля; впрочемъ, онъ и все время смотрѣлъ либо въ землю, либо на нихъ. Окно вскочилъ, лизнулъ руки Рдзавичу и Тенжелю, махнулъ нѣсколько разъ



хвостомъ остальному обществу и, громко лая, побѣжалъ за Чемпинскимъ.

— Молчи, дур... — крикнулъ Тенжель, но замолкъ, не зная, можно ли при дамахъ назвать собаку дуракомъ.

— Мильця идетъ, — сказалъ онъ, взглянувъ въ окно.

— У васъ, какъ въ калейдоскопѣ, — замѣтила Биша.

— Э, это еще ничего. Иной разъ, какъ сойдутся сюда «Ангель» Древскаго, Мильця, этотъ вонъ въ плащѣ, нѣсколько каменщиковъ и рѣзчиковъ, Чемпинскій, Окно и насъ двое, такъ въ мастерской негдѣ повернуться.

— Это весело, — сказала Биша. — У насъ въ деревнѣ иной разъ такъ скучно, никого нѣтъ.

Вошла Мильця, которую проводилъ до дверей Окно. Это была очень красивая дѣвушка, блондинка, образчикъ типичной мелко-мѣщанской варшавской красоты. У ней были прекрасные сѣрые глаза, слегка орлиный носъ и благородный овалъ лица. Голова покрыта голубымъ шерстянымъ платочкомъ, завязаннымъ подъ подбородкомъ, изъ-подъ платочка видѣлись короткіе локончики; на плечи наброшенъ темносѣрый толстый платокъ съ темнымъ широкимъ бордюромъ по краямъ, съ сѣрыми френзелями, изъ-подъ которыхъ выступало темное платье. Перчатки она держала въ рукахъ; видно было, что ей недалеко было идти въ «atelier» Рдзавича, она не надѣла ни шляпы, ни накидки, ни пальто. Шла она быстро, яркій румянецъ горѣлъ на удивительно



гладкихъ, нѣжныхъ щекахъ. Отъ нея било здоровьемъ и силой. Въ сѣрыхъ ея глазахъ было много сантиментальности и нѣжности. Увидѣвъ чужихъ, она чопорно остановилась у дверей, распуская закрывавшій ее платокъ; она позволила догадаться, что она прелестно сложена и, дѣйствительно, идеальная модель. Темно-синяя триковая съ бѣлыми пуговицами блузка, застегнутая по шею, охватывала ея круглую высокую грудь и стройную, незатянутую въ корсетъ талию; темная юбка обрисовывала пышную линію бедеръ. Ножки въ хорошихъ ботинкахъ были невелики и изящны. Однѣ руки были нѣсколько грубы, ихъ, повидимому, не берегли.

Мильця сдѣлала нѣсколько шаговъ, кивнула головой присутствующимъ и сѣла на гробу памятника.

— *Qu'elle est jolie, cette fille,* — замѣтила Лаура.

— *Magnifique!* — шепнула Биша, исподлобья поглядывая съ улыбкой на Рдзавича.

— Странная фигура этотъ Чемпинскій, — сказалъ Пшервицъ, рисуя карандашомъ разныя фигуры на столѣ. — Его съ успѣхомъ можно было бы помѣстить въ комедію.

— Ты еще не знаешь, что это за господинъ! — сказалъ живо Рдзавичъ. — У него двѣ маніи: собираніе старыхъ рисунковъ и факсимиле классиковъ ренессанса и воздушные шары. Вообразите себѣ, ему пришло въ голову, что лучшій матеріаль для шаровъ шкурки мышей и кротовъ. И ну истреблять несчастныхъ мышей и кротовъ! Платилъ онъ за нихъ послѣднюю копѣйку,



пока, наконецъ, препарируя ихъ — ужасъ, что за запахъ стоялъ въ его квартирѣ, — онъ собралъ нужное число и сшилъ шаръ. Надо тебѣ знать, Юрій, что панъ Чемпинскій живетъ совсѣмъ за городомъ, въ какомъ-то старомъ залѣ, часовнѣ, словомъ, въ чемъ-то высокомъ, этажа въ полтора. Какъ-то разъ, мѣсяцъ тому назадъ, мы ждемъ его не дождемся, Чемпинскаго нѣтъ. Посылаю къ нему мальчика. Тотъ возвращается и съ испугомъ докладываетъ, что Чемпинскій виситъ въ воздухѣ и кричитъ. Ничего не понимая, мы садимся съ Тенжелемъ на извозчика и скачемъ къ нему во весь духъ. Что за картина! Панъ Чемпинскій виситъ у потолка, держа за каналы шара, который поднялся. Хотя положеніе было совсѣмъ трагическое, но, когда онъ, вися подъ потолкомъ и перебирая коротенькими ножками въ воздухѣ, крикнулъ: «спасайте!» — мы стали хохотать. Къ счастью, нашлась лѣстница, по ней мы его и сняли. Оказывается, панъ Ядекъ накачалъ, наконецъ, свой шаръ съ помощью изобрѣтеннаго якобы имъ аппарата, прикрѣпилъ его веревкой къ землѣ и хотѣлъ подняться на нѣсколько футовъ, чтобъ убѣдиться, подниметъ ли онъ его, а потомъ стать на столъ и стянуть шаръ обратно. Но веревка лопнула, и шаръ съ изобрѣтателемъ поднялся вверхъ. Висѣлъ онъ тамъ довольно долго и кричалъ, но никто его какъ-то не услышалъ. Хорошо, что мы подоспѣли, куда онъ могъ еще держаться.

— Бѣдный панъ Чемпинскій, — сказала Лаура, смѣясь. — А будете вы на раутѣ?



— Нѣтъ, этого ужъ я не могу, — отвѣтилъ Рдзавичъ и, подойдя къ Лаурѣ, добавилъ тихо: — Я прямо боюсь идти, я знаю, что Марія здѣсь.

— Успокойтесь, — отвѣтила Лаура. — Я боялась съ вами говорить объ этомъ, но встрѣтила сегодня у Лурса нашего общаго знакомаго, Морскаго, онъ говорилъ мнѣ, что она сегодня уѣзжаетъ. А теперь мы пойдѣмъ, у васъ модель, вы будете работать.

— Что это за красивыя дамы? — спросила Мильця, когда дамы и Пшервицъ вышли.

— Это жена моего двоюроднаго брата и ея сестра.

— Эта, пополниѣе, очень красива. У нея прекрасныя формы. Отъ пояса внизъ словно Венера Капитолійская, правда?

— Капитолійская, — поправилъ ее Тенжель.

— Капило...—Капитолійская—поправилась Мильця.

Тенжель надѣлъ пальто, взялъ шапку и сказалъ, протягивая руку Рдзавичу:

— Ну, я пойду. Мнѣ хочется немного поѣсть, работать Древскаго сегодня не станемъ, а тебѣ лучше быть одному при работѣ. Только побойся Бога, будь осторожниѣй съ мраморомъ! Ты испортилъ бы все, а я тебѣ говорю, что твоя Діана, Центавры, Древскій, все ничего, только это будетъ твой *chef-d'oeuvre*. Я говорю тебѣ! Работай осторожно! Этотъ Чемпинскій, старый болванъ, если онъ говоритъ тебѣ объ этомъ локтѣ. Насчетъ пальцевъ я согласенъ, что между ними есть разница, ты самъ это видишь, но, если ты настаива-



ешь... Но что ему надо отъ локтя, совсѣмъ не понимаю?  
«Святая пищалка!»

— Но онъ правъ.

— У тебя каждый правъ! Я тебѣ повторяю, что онъ не правъ.

— Правъ.

— Мильця, хорошъ этотъ локоть?

Мильця подошла къ наброску, посмотрѣла минутку серьезно и внимательно и сказала:

— Миѣ кажется, что хорошъ, но по-моему лучше было бы такъ, какъ у Кагилиносъ.

— Каллишиносъ, — исправилъ Тенжель.

— Калли-ги-носъ, — повторила по слогамъ Мильця.

— Впрочемъ, у него благородное движеніе.

— Благородное? — повторилъ Рдзавичъ съ улыбкой.

Тенжель ушелъ.

— Будемъ сегодня работать? — спросила Мильця, снимая платокъ съ головы. — Волосы у меня такъ слѣпились отъ мороза, что ужасъ.

— Пожалуй, — сказалъ Рдзавичъ, — поработаемъ немного; а ты сбрось платокъ и стань у окна спиной ко мнѣ.

Мильця, привыкшая къ такимъ приказаніямъ, а въ особенности къ прихотямъ Рдзавича, которому она позировала со дня его пріѣзда, послушалась.

Рдзавичъ сѣлъ и смотрѣлъ на нее, лицо его стало хмуриться, потомъ онъ всталъ и вдругъ подошелъ къ Мильцѣ.

— Что? — спросила она, поворачивая голову.



Но Рдзавичъ, не отвѣчая, обнялъ ея шею правой рукой и перегнулъ ее назадъ. Потомъ прижалъ свои губы къ ея губамъ и, не отнимая ихъ, понесъ ее на диванчикъ. Мильця не сопротивлялась. Они упали вмѣстѣ, и руки Рдзавича стали искать тѣла Мильци; минуту спустя, онъ вдругъ ихъ отнял, и, далеко отодвинувшись, закрылъ лицо руками.

— Что? — шепнула мягко и тихо Мильця.

Увидѣвъ за пальцами Рдзавича слезы, она встала и сѣла на краю диванчика. Онъ лежалъ, не двигаясь. Тогда Мильця встала и тихонько вышла изъ мастерской.

Рдзавичъ остался одинъ.

Ему было такъ плохо, сердце его рвалось. Ужъ десять мѣсяцевъ онъ не видалъ Маріи... Десять мѣсяцевъ... Онъ не видитъ ея уже дольше, чѣмъ былъ съ нею, почти вдвое дольше... И за это время въ немъ ничто не измѣнилось; онъ живетъ одною мыслью, однимъ чувствомъ. И все болѣе растетъ въ немъ сознаніе полной слабости, страшнаго безсилія въ отношеніяхъ его съ Маріей. Онъ ничего не можетъ, онъ отрѣзанъ отъ нея стѣной ея воли и правилъ общежитія, онъ можетъ умереть подъ этой стѣной, но переступить за нее не можетъ. Ему все можно — приложить револьверъ къ виску и спустить курокъ, разбить голову о стѣну, бросить все и уѣхать навсегда; онъ можетъ искать наслажденій и любви, гдѣ угодно, ему нельзя только спросить Марію: «я не пересталъ любить — не вернешься ли?...» И между ними стоитъ не столько ея воля, сколько свѣтскія правила, общественный дого-



воръ, по которому человѣкъ въ его положеніи разъ навсегда вычеркивается изъ памяти женщины и записывается въ число умершихъ для нея людей. Вѣдь это невозможно, чтобъ онъ совсѣмъ для нея пересталъ существовать, совсѣмъ умеръ для нея... Она дала ему столько доказательствъ своей любви, — она могла перестать его любить, но она любила его, — а переставъ, она могла его снова полюбить... А Божевскій? Божевскій можетъ быть для Маріи ничѣмъ. Не рассказывала ли она ему, что ее не разъ подозрѣвали въ томъ, что она занята людьми, къ которымъ она была совершенно равнодушна. Она любила флиртъ и сознавалась въ этомъ. Божевскій можетъ быть такимъ флиртомъ и больше ничѣмъ для Маріи. Не написать ли ей?.. Написать?.. Нѣтъ ничего легче. Какого же отвѣта можно ожидать? Если бы Марія хотѣла къ нему вернуться, у нея нашлось бы сто способовъ дать ему понять это... Да, по свѣтскія правила говорятъ, что женщины не прилично дѣлать первый шагъ къ сближенію... Можно разбить кому-нибудь жизнь, разбить жизнь себѣ оттого только, что что-нибудь неприлично. Ба! можно даже убить. Если бъ онъ послѣ двухъ-трехъ недѣль знакомства сдѣлалъ Маріи предложеніе и получилъ отказъ, — онъ могъ бы черезъ два-три мѣсяца, черезъ годъ, когда-нибудь повторить попытку, а теперь — послѣ тысячи объясненій, послѣ тысячи клятвъ и объятій, онъ для нея умершій человѣкъ и долженъ имъ остаться навсегда, развѣ бы случилось чудо...

Эти мысли кружились у него въ головѣ нѣсколько



часовъ. Онъ такъ его измучили и раздражили, что первый признакъ сочувствія простой дѣвушки-натурщицы вызвалъ у него слезы изъ глазъ. Ему было такъ плохо, такъ ужасно плохо...

Въ двери крѣпко, какъ всегда, постучалъ Тенжель и быстро вошелъ въ комнату.

— Что это у тебя такъ темно? — спросилъ онъ.

— Я отдыхалъ, — отвѣтилъ Рдзавичъ.

— Дай спички, у меня нѣтъ. Я хотѣлъ тебѣ кое-что прочитать.

— Что такое?

— Ого! Какую рецензію катнулъ въ «Курьеръ» старый Броннъ, который, словно нарочно, пріѣхалъ въ Варшаву! Онъ говоритъ, что долженъ былъ просить редактора, чтобъ тотъ удѣлилъ ему мѣсто сказать громко, какъ онъ счастливъ, что именно теперь пріѣхалъ сюда, и какъ онъ гордится такимъ ученикомъ! Онъ говоритъ, что если онъ и многого ожидалъ отъ тебя, то все же ты превзошелъ всѣ его надежды. Онъ пишетъ, что твои «Центавры» напоминаютъ расцвѣтъ классической скульптуры и говоритъ, что французы въ сравненіи съ тобой — сапожники!

— Какъ? Такъ и говоритъ: сапожники?!

— Ну, какъ онъ говоритъ, такъ и говоритъ, — прочитай самъ, какъ онъ тебя хвалитъ. Онъ говоритъ, что у тебя классическая греческая гармонія соединяется съ жизненной правдой современнаго человѣка, — вотъ бы обрадовался Чемпинскій, шельма, если бъ зналъ, — но вмѣстѣ съ тѣмъ ты не пересаливаешь и не вдаешься



слишкомъ далеко въ натурализмъ, хотя ты въ каждомъ дюймѣ мрамора оригиналенъ и въ малѣйшемъ кусочкѣ твоего мрамора видна любовь къ эллинской безсмертной красотѣ...

— Что жъ, ты выучилъ это наизусть?

— Онъ говоритъ, что давно ни польская, ни европейская скульптура не давала ничего подобнаго «Центаврамъ», въ особенности если принять во вниманіе, что художнику двадцать семь лѣтъ. «Вампиръ» его прямо восхитилъ. Онъ указываетъ на нѣкоторыя ошибки, онъ говоритъ, что хотя ты совершененъ въ рисунокѣ, но что, пожалуй, въ колоритѣ у тебя найдутся кой-какіе промахи, но прежде всего онъ разбѣваетъ ротъ отъ удивленія, что одинъ и тотъ же человекъ можетъ такъ лѣпить и писать. «Я не колеблюсь сравнить Романа Рдзавича съ удивительными всесторонними талантами времени Возрожденія».

— Знаешь что, Тенжель, брось ты лѣпить и валяй въ рецензенты.

— Наконецъ онъ говоритъ, чтобы ты только продолжалъ въ этомъ духѣ — и ты станешь европейскою знаменитостью... Добрый старый Броникъ. Я бы его расцѣловалъ. Завтра пойду къ нему. И Господь Богъ добръ, что онъ прислалъ его какъ разъ во-время. И ему пріятно и тебѣ должно быть пріятно, что онъ первый пишетъ о первомъ твоёмъ болѣе значительномъ выступленіи. А помнишь ты, какъ онъ тебѣ не разъ говорилъ: «панъ Лдзавичъ, панъ Лдзавичъ, у васъ большой талантъ, только натула, ой, натула, панъ Лдз»



вичъ, панъ Лдзавичъ!..» Помнишь? Порядочный человекъ этотъ Броинъ, ей Богу. Дай Богъ ему столько счастья, сколько у собаки блохъ. Дай спичку, самъ прочтешь.

— Зачѣмъ, если ты мнѣ все рассказалъ. А въ другихъ газетахъ есть что-нибудь?

Тенжель бросилъ на столъ кипу газетъ и сказалъ:

— Еще нѣтъ. Я купилъ въ кіоскъ всѣ вечернія газеты и просмотрѣлъ ихъ подъ фонаремъ, но ни въ одной нѣтъ ничего, только въ «Курьерѣ». Я читалъ по дорогѣ такъ, что чуть глаза не проглядѣлъ. Приятно тебѣ?

Рдзавичъ ничего не отвѣчалъ. — Тенжель, ударивъ рукой по ляшкамъ, сталъ весело напѣвать.

Онъ нашелъ спички, зажегъ лампу и, засунувъ обѣ руки въ карманъ, остановился передъ Рдзавичемъ, говоря:

— Знаешь что, иди ты на этотъ рауть.

— Не хочется.

— Прежде всего ты обрадуешь пани Пшервиць, а это такое милое и дорогое созданіе. Если бъ у тебя... — Онъ оборвалъ и ударилъ себя рукой по рту. — Знаешь, я не знаю другой такой сердечной женщины, какъ эта Пшервиць. Мися замѣчательно добра, но въ Мисѣ, хоть она и красивѣе пани Пшервиць (хоть и та довольно красива, но ничего особеннаго), нѣтъ и четверти того милаго, что у Лауры. А къ тому же — это дама, а Мися простая, — только воспитанная, — дѣвушка. Видѣлъ ты, какъ она прелестно садится? А какъ идетъ по улицѣ,



медленно, пошкѣ впередъ, слегка переваливается съ ножки на ножку.

— Что ты — влюбился въ Лауру, что такъ ее расписываешь?

— Не влюбился, но она мнѣ замѣчательно нравится.

— Она всѣмъ нравится.

— А та другая, ея сестра, вотъ чортикъ! Ну, пойдешь на рауть?

— Нѣтъ, не хочется.

— Иди, мой милый. Обѣшья похвалами, какъ котъ колбасой.

— Слава Богу, для разнообразія ты хоть разъ оставилъ въ покоѣ собаку. Надо было бы одѣваться...

— Ну, — такъ что-же? Фракъ, и кончено. Коли нѣтъ чего, — побѣгу и сейчасъ принесу.

— Ничего у меня нѣтъ. Ни галстуха, ни перчатокъ.

— Бѣгу. Деньги отдашь потомъ. Семь съ половиной, правда? Милый этотъ Броннъ! Ей Богу, люблю его... Гдѣ моя шапка?... Я бъ его такъ...

Онъ выскочилъ изъ мастерской.

Сейчасъ же послѣ ухода Тенжеля Рдзавичъ бросилъ свое дѣланное равнодушіе къ статьѣ профессора Бронна, прочелъ разъ, другой, просмотрѣлъ внимательно другія газеты, дѣйствительно ли нѣтъ въ нихъ ничего о его выставкѣ, прочелъ еще разъ статью Бронна и сталъ укладывать газеты такъ, какъ онѣ лежали, чтобы Тенжель не замѣтилъ, что онъ ихъ просматривалъ. Такъ какъ ихъ трудно было такъ сложить, какъ онѣ были, онъ сбросилъ ихъ все со стола на полъ,



кромѣ номера «Курьера», который спряталъ въ столъ. Онъ пришелъ въ хорошее настроеніе духа, почувствовалъ себя полнымъ энергіи и бодрости такъ, что даже почти рѣшился идти на рауть. Что жъ, думалъ онъ, пускай я «объѣмся слазой, какъ котъ колбасой». Вѣчно сижу чортъ знаетъ гдѣ, или въ такой труппѣ, какъ здѣсь. Пойду, что мнѣ! Что мнѣ едѣлаютъ? Пускай глазѣютъ, если хотятъ. Со мною первымъ это что ли? Мало ли тамъ будетъ такихъ, какъ я? И отчего всѣ обязательно будутъ заниматься мною? А впрочемъ *odi profanum vulgus et arceo*. Притомъ и пани Пшервиць будетъ пріятно...

Рдзавичъ зналъ, что ей всегда хочется, чтобъ онъ былъ свидѣтелемъ успѣховъ Юрія. Онъ чувствовалъ, что эта женщина, хоть и слишкомъ добра, чтобъ желать ему чего-нибудь кромѣ хорошаго, однако, не хотѣла бы, чтобъ его все растущее имя стало бы когда-нибудь болѣе громкимъ, чѣмъ имя Юрія — она боялась этого. Прежде всего, Рдзавичъ, какъ скульпторъ, могъ стать европейской знаменитостью, что для польскаго писателя почти невозможно; потомъ хотя Юрій былъ старше Рдзавича и въ настоящее время былъ болѣе извѣстнымъ и признаннымъ, но надежды, какія возлагали на Рдзавича, были гораздо больше, чѣмъ тѣ, которыя возлагали на Юрія. Пани Лаура не хотѣла этого знать и дѣлала видъ, что не знаетъ и знать не можетъ. Она разъ разозлилась, не выдержавъ, и сказала все это мужу. Пшервиць, однако, только улыбнулся и совѣмъ спокойно сказалъ ей: дорогая моя, надо согласиться съ



тѣмъ, что такихъ людей, какъ я, родится сразу десять, а такіе, какъ Рдзавичъ, родятся разъ въ двадцать лѣтъ. Лаура такъ разозлилась, что топнула ножкой...

Почему же ему не пойти на рауть?

Что касается Маріи, то онъ ее не встрѣтитъ; Лаура его въ этомъ увѣрила... Можно встрѣтить ея «лейбъ-гвардію» — но слишкомъ много чести для этихъ дураковъ, чтобъ онъ сталъ ихъ стѣсняться. Божевскій? Что такое Божевскій? Какой-то зажиточный помѣщикъ изъ Украйны, съ красиво зачесанными усами и въ узкихъ лакированныхъ ботинкахъ, котораго знаютъ въ его уѣздѣ такіе же, какъ онъ, помѣщики и нѣсколько десятковъ, а хотя бы и нѣсколько сотъ лицъ въ Варшавѣ, такихъ же, какъ онъ... Что такое Божевскій? Сотнями можно насчитать такихъ дворянчиковъ, какъ онъ. Божевскій — второразрядная пѣшка на шахматной доскѣ міра. Вѣдь въ мірѣ главное не красота, не состояніе и не узкія ботинки. Божевскихъ такъ много; много — значитъ обыденно, обыденное ничего не значитъ, Божевскій — нуль.

Онъ потушилъ лампу, заперъ мастерскую и пошелъ наверхъ въ квартиру, прикрѣпивъ къ двери билетикъ для Тенжеля: «наверху». Онъ былъ доволенъ, что увидитъ много людей, много свѣта, движеніе, оживленіе, веселье. Какъ давно онъ уже не былъ между людьми! Онъ видѣлъ толпу на «Corso» въ Неаполѣ, въ городскомъ казино въ Ниццѣ и въ игорныхъ залахъ Монте-Карло, на площади Святого Марка въ Венеціи, но та толпа была для него чуждая, и онъ чувствовалъ въ



ней себя чужимъ и далекимъ отъ своихъ. Онъ съ удовольствіемъ думалъ, что элегантно одѣнется, что надѣнетъ фракъ, котораго не носилъ уже около года, надѣнетъ тонкія лакированныя ботинки и возьметъ тонкій носовой платокъ. Онъ кончалъ одѣваться и, оглядываясь въ зеркалѣ, сказалъ: — ну, ужъ я не такъ некрасивъ, во мнѣ есть «что-то», — когда Тенжель вбѣжалъ наверхъ, стуча ногами по лѣстницѣ, какъ лось по мостовой.

— Хорошо, а? — крикнулъ онъ, тяжело дыша и бросая на столъ перчатки и галстукъ.

— Отлично, спасибо.

— Покажись, повернись.

— Что жъ, какъ я выгляжу?

— Да ты лордъ! Ей Богу! Женщины будутъ таять.

Рдзавичъ отвернулся. Тенжель ругнулъ себя мысленно, ему показалось, что этимъ замѣчаніемъ онъ сдѣлалъ Рдзавичу неприятность, и тотъ оттого отвернулся; но Рдзавичъ отвернулся потому, что улыбнулся на замѣчаніе Тенжеля, а ему не хотѣлось, чтобъ Тенжель видѣлъ эту улыбку, ему было стыдно. Ему было стыдно того, что Тенжель могъ бы подумать, будто его интересуютъ другія женщины, кромѣ Маріи, а онъ не хотѣлъ, чтобы Тенжель думалъ, что онъ уже перестаетъ страдать. Ему не хотѣлось въ этомъ сознаться передъ самимъ собою, но онъ чувствовалъ себя теперь не такимъ удрученнымъ, какъ думалъ самъ въ продолженіе десяти мѣсяцевъ. Онъ былъ готовъ и поѣхать на раутъ.

Тенжель жалѣлъ, что у него нѣтъ фрака, ему са-



тому хотѣлось бы видѣть на балу своего «ультраренессансоваго мальчика»...

По дорогѣ Рдзавичъ думалъ о женщинахъ, которыхъ могъ сейчасъ встрѣтить. Онъ вспомнилъ о букетѣ, и ему стало интересно, кто бы могъ ему его прислать и будетъ ли она на раутѣ?

— Не прислали мнѣ вѣдь его ни товарищи, ни кредиторы — думалъ онъ. — Если вамъ присылаютъ такой букетъ, то объ этомъ стоитъ подумать... А прежде всего кругомъ будетъ много женскихъ глазъ, брилліантовъ, женскихъ голосовъ и цвѣтовъ — море женственности, *des Weiblichen*, въ которое можно погрузиться! Будетъ много шелковыхъ и атласныхъ шороховъ, цвѣтовъ въ волосахъ и у декольте, браслетовъ на рукахъ, шума платьевъ и ботинокъ на паркетѣ... Будетъ большой садъ женщинъ, большая роща, по которой можно гулять, какъ влюбленный въ запахъ мирта фавнъ ходитъ отъ дерева къ дереву. Всѣ эти взгляды сольются въ одну радугу свѣта, всѣ голоса въ одинъ тонъ заколдованной флейты, всѣ движенія и всѣ тѣла въ одну мягкую волну... Столько бюстовъ, столько талій, столько губъ, столько плечъ, столько пожекъ... Это будетъ лабиринтъ, въ которомъ можно будетъ блуждать... Какъ онѣ великолѣпно сгибаются, эти женщины, что за великолѣпныя группы онѣ будутъ создавать... Вотъ эта брюнетка съ выпуклыми грудями перегнулась назадъ и шепчетъ, а желаніе бѣетъ отъ нея, какъ благоуханіе отъ розы... А тамъ чудная блондинка съ лазурью небесъ въ глазахъ, какъ мягко она сидитъ,



глядя на формы своихъ ногъ подъ атласомъ бѣлаго платья; она будто бы слушаетъ, что ей говорятъ, а между тѣмъ она упивается рисункомъ своихъ ногъ, слегка зарисовывающихся заколдованными чарующими линіями, вся влюбленная въ себя, очарованная сама собою...

Онъ входитъ — всѣ поворачиваются къ нему, мужчины вѣжливо уступаютъ ему мѣсто, женщины хотятъ съ нимъ говорить, приближаются къ нему, смотрятъ на него блестящими глазами, клонятся къ нему пурпурными губами близко, близко... Онъ такъ давно не былъ здѣсь, между людьми, онъ уѣхалъ отсюда въ самую непріятную для художника минуту, когда онъ только что начинаетъ обращать на себя вниманіе и возбуждаетъ неотступное въ такихъ случаяхъ, проницательное недоверіе филистерскаго общества.

Притомъ за нимъ исторія несчастной любви, путешествіе, тайна сердца... Никто не знаетъ, что съ нимъ было, что съ нимъ теперь? Отрѣзанный, отбившійся отъ стада, онъ вдругъ является, сіяя въ славѣ своего творчества, темный тайною души, выше толпы, загадочный, второй Чайльдъ Гарольдъ... Онъ будетъ говорить такъ, какъ будто что-то скрываетъ; онъ не будетъ лгать, онъ вѣдь скрываетъ... Въ его улыбкѣ будутъ видны боль и горечь, въ его ласковомъ, тихомъ разговорѣ высшаго человѣка будетъ слышаться иронія полной апатіи, полного равнодушія къ тому, что происходитъ вокругъ... Вдругъ онъ нервно вздрогнулъ въ каретѣ, которая везла его на раутъ, и громко и твердо



отвѣтилъ своимъ молчаливымъ мыслямъ: «Спортъ! Спортъ! Я сдѣлаю изъ этого спортъ?! Спортъ изъ того, что мнѣ сломало жизнь?! Спортъ изъ нея?!» Но, говоря это, онъ чувствовалъ, что въ дѣйствительности его жизнь не сломана катастрофой съ Маріей, что онъ только самъ себя хочетъ въ этомъ увѣрить, что онъ слишкомъ полонъ жизни и не можетъ искренно желать, чтобъ было такъ, и слишкомъ романтиченъ, чтобъ не желать этого. Между тѣмъ, онъ пріѣхалъ.

Рдзавичъ выскочилъ, и самъ обрадовался своей эластичности, какъ бы вновь вернувшейся. Будто поправляя, онъ немного молодцовато сдвинулъ набекрень шапку и сталъ входить по освѣщенной и убранной цвѣтами лѣстницѣ, ударяя перчатками, которыя держалъ въ рукѣ, о пальто.

Въ уборной онъ замѣтилъ, что мимо него прошла странная, рыжая, высокая, блѣдная женщина, лѣтъ тридцати. Онъ замѣтилъ, что она взглянула на него и что у ней темныя брови и темные глаза. Онъ вошелъ въ залъ.

Это былъ большой раутъ съ концертомъ и живыми картинами, оригинально задуманный нѣсколькими дамами изъ аристократіи и богатой буржуазіи. По срединѣ громаднаго зала между двумя рядами стульевъ къ эстрадѣ велъ широкій проходъ, но стулья не были правильно уставлены, какъ обыкновенно, а были разставлены группами вокругъ маленькихъ изящныхъ столиковъ. Масса свѣта, масса цвѣтовъ, букетовъ и гирляндъ, цвѣтущихъ розъ въ красивыхъ вазахъ, большіе



олеандры, мирты, фикусы. На эстрадѣ черный блестящій рояль, а наверху, надъ ней, — поднятый занавѣсъ.

Когда Рдзавичъ вошелъ, залъ былъ полонъ. Въ дверяхъ онъ нѣсколько потерялъ увѣренность въ себя и почувствовалъ, что онъ уже давно не былъ среди толпы на навощенномъ паркетѣ. Ему сразу стало душно, и онъ ощутилъ, что созданъ для блузы и ателье художника, а не для фрака и бального зала; онъ чувствовалъ себя нѣсколько смущеннымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы повелителемъ этой толпы, которая не стѣняла его, но хотѣла обратить на себя его вниманіе, не обращая вниманія на него. Онъ сразу пересталъ желать триумфовъ, ему хотѣлось хорошихъ знакомыхъ, съ которыми можно было бы сѣсть и которые бы знали, кто онъ и на что онъ имѣетъ право.

Наконецъ, онъ увидѣлъ Пшервицевъ; они сидѣли съ лѣвой стороны пассажа отъ входа, по серединѣ зала, они оба, Биша, съ ними какой-то старый, сѣдой господинъ съ большими усами и двѣ барышни. Онъ выбрался изъ толпы и подошелъ къ нимъ.

Лаура, увидѣвъ его, хлопнула кончиками пальцевъ и воскликнула почти громко:

— Ромекъ! — Потомъ покраснѣла и, протягивая ему руку, сказала:

— Простите меня. Я такъ обрадовалась, что вы пришли. Впрочемъ, я думаю, вы сами знаете, что мы другъ съ другомъ не называемъ васъ по фамиліи. Дядя Стась, — обратилась она къ сидящему возлѣ сѣдому



господину, — панъ Романъ Рдзавичъ, родственникъ Юрія; мой дядя Росенскій. Панъ Рдзавичъ, — добавила она, представляя его барышнямъ.

Рдзавичъ пожалъ руку сѣдого господина, поклонился барышнямъ и сѣлъ на указанномъ ему мѣстѣ, между Лаурою и младшею изъ барышенъ.

— Мои кузины, — говорила Лаура, желая сразу покончить съ первыми неловкими минутами, — были сегодня на выставкѣ и очень хотѣли съ вами познакомиться.

— Да. Я очень хотѣла видѣть когда-нибудь художника, — сказала, совсѣмъ не стѣсняясь, припѣвая литовскимъ акцентомъ, сидящая возлѣ Рдзавича барышня. Всѣ улыбнулись, она же просто смотрѣла вокругъ. — А вы и пишете? — запѣла она.

— Да.

— Мы въ Саргайлахъ разъ всю ночь красили яйца на Пасху. Спать ужасно хотѣлось, но тетя приказала, такъ нельзя было. Очень красивыя были яйца. Даже князь Биркудзь хвалилъ.

— А кто это князь Биркудзь?

— Это прелестный человекъ. Онъ долженъ пріѣхать сюда на скачки. Всѣ барышни у насъ на Литвѣ влюблены въ него. Это идеаль.

— А у тебя, Миньонъ, есть свой идеаль? — спросилъ Пшервиць.

— Я? Не нашла.

— А какими чертами долженъ обладать твой идеаль?

— Онъ долженъ быть брюнетъ и гордъ.



— А князь Биркудзь развѣ не брюнетъ и не гордь?

— Можетъ, онъ и гордь, да блондинъ, — отвѣтила барышня.

Рдзавичъ до сихъ поръ глядѣлъ на свою сосѣдку, прелестную шестнадцатилѣтнюю брюнетку съ черными рѣсницами надъ отливавшими зеленымъ глазами, смотрѣвшими съ легендарной наивностью на мѣръ Божій; теперь онъ взглянулъ на другую Росенскую, сидѣвшую между нимъ и Бишей. Глаза ихъ встрѣтились и минуту глядѣли другъ на друга, потомъ барышня спрятала свои глаза подъ такими же громадными рѣсницами, какъ у сестры.

Этой могло быть лѣтъ восемнадцать, она была шатенка, слегка блѣдная, съ большими, глубокими сѣроголубыми глазами; глаза эти сразу произвели на Рдзавича такое впечатлѣніе, будто въ нихъ можно итти какъ въ лѣсъ; черты ея были нѣжны, хотя менѣе красивы, чѣмъ у сестры, но сразу обращали на себя вниманіе, въ особенности былъ прелестенъ ея немного сторбленный носикъ, и прекрасныя, вишневаго цвѣта губы, такія, о которыхъ говорятъ, что онѣ «сотворены для поцѣлуевъ». Бѣлая шея, полный благородства бюстъ и узкая рука. Блѣдноватое изящное лицо носило выраженіе грусти, скрывало какую-то тоскливую мысль; это выраженіе прежде всего бросалось въ глаза.

— У этой дѣвушки внутри что-то горитъ, это не первая встрѣчная, — подумалъ Рдзавичъ, на котораго ея красота сейчасъ же произвела впечатлѣніе. — Инте-



ресно знать, припѣваетъ ли и она? — И, обращаясь къ ней, онъ любезно спросилъ :

— Какъ вы находите здѣшнее общество?

— Очень милое, — отвѣтила барышня съ слегка пѣвучимъ акцентомъ, поднимая на него большіе глубокіе глаза. — Женщины почти всѣ красивы и хорошо одѣты.

— Нигдѣ такъ не одѣваются, какъ въ Варшавѣ, — сказалъ панъ Росенскій, съдой господинъ лѣтъ шестидесяти.

— Женщины должны старательно одѣваться. Роза розою, но красивая ваза остается красивою вазою. Жалко только, что не носятъ греческихъ не шитыхъ матерій, — сказалъ Пшервиць.

— Хороши бы мы тамъ были, — улыбнулась старшая Росенская.

— Отчего же? — сказала младшая. — Я бы ее сейчасъ заказала у Герзе, лишь бы папа позволилъ. Надѣла бы и что?

— Сказочная фигура, — воскликнулъ Пшервиць, съ удовольствіемъ глядѣвшій на барышню.

— Фигура, скажите, пожалуйста, — отвѣтила она обиженно. — Тоже комплиментъ.

— Ну, ужъ извини, Миньонъ, но ты фигура, — сказалъ Росенскій серьезно.

Рдзавичъ глядѣлъ по очереди на обѣихъ Росенскихъ, обѣ были одѣты въ блѣдно-зеленые платья съ цвѣтами, похожія на Зосю изъ «Пана Тадеуша». Отъ этихъ дѣвушекъ вѣяло пасѣкою и лѣснымъ запахомъ,



какъ бы запахомъ цвѣтущихъ яблонь, молодыхъ березъ и хлѣбовъ на солнцѣ.

— Пройдемся, — сказала, вставая, Лаура. — Подайте мнѣ руку, панъ Романъ.

Росенскій подалъ руку Бишѣ, Пшервицъ подошелъ къ старшей Росенской, но та улыбнулась и сказала:

— Подайте лучше руку Розѣ, вамъ будетъ веселѣе, и вамъ этого хочется, правда?

— Сдѣлай такъ, — сказала Лаура, поворачивая голову. — А ты, Эля, иди съ нами.

— Объясните мнѣ, пожалуйста, — сказалъ Рдзавичъ, ведя Лауру, — отчего у одной изъ васъ такой литовскій акцентъ, а у другой почти нѣтъ?

— Онѣ совсѣмъ не литвинки, — отвѣтила Лаура, но тетя Росенская больна и не могла заниматься ихъ воспитаніемъ, такъ что онѣ воспитывались у своихъ родственниковъ на границѣ Литвы и Бѣлоруссіи. Эля была тамъ недолго и не успѣла испортить себѣ произношенія, а Миньонъ сидѣла тамъ почти безвыѣздно шесть лѣтъ и поетъ, словно она, по крайней мѣрѣ, урожденная княжна Биркудзъ. Она называетъ меня тетюшкой изъ уваженія къ моимъ лѣтамъ.

— Миньонъ черезъ двѣ недѣли исполнится шестнадцать лѣтъ, — сказала Эля.

— Она ужасно наивна. Ты должна ее какъ-нибудь развивать.

— Она прекрасно учится, и всѣ говорятъ, что она очень способная. Когда ты ее ближе узнаешь, Лорця, ты увидишь, что она умная дѣвушка; но правда, что



она производитъ впечатлѣніе совсѣмъ ребенка. Твой мужъ восхищается ею.

— Да, Юрій отъ нея въ восторгѣ. Онъ говоритъ, что если онъ ея не помѣститъ въ свой ближайшій романъ, то онъ «польская инвенція».

— Что это значить? — спросила Росенская.

— По всей вѣроятности то же, что, говоря студенческимъ языкомъ, «пара сапогъ», — сказалъ Рдзавичъ.

Лаура сказала:

— У Юрія манія думать, что у поляковъ нѣтъ изобрѣтательности, что они ни въ чемъ не оригинальны. Онъ утверждаетъ, что если мы иной разъ и дѣлаемъ что-нибудь хорошее, то другіе это выдумали до насъ. У него на этой почвѣ *idée fixe*.

— Кажется, онъ, къ сожалѣнію, правъ, — сказалъ Рдзавичъ.

Росенская подняла на него сѣро-голубые глаза изъ-подъ громадныхъ рѣсницъ и спросила:

— Вы знаете «Пана Тадеуша?»

— Читалъ.

— А «Похороны капитана М.», или «Золотой черепъ»?

— Тоже читалъ.

— А «Фариса»?

— Читалъ.

— А знаете вы, откуда это: «На моемъ мечѣ тогда были вѣка?»

— Знаю.



— А что вы на это скажете? — спросила, слегка припѣвая, съ ласковой, милой улыбкой, грустной, какъ все ея лицо, Росенская.

— Юрій неправъ, — сказалъ Рдзавичъ.

Лаура взглянула на него съ видимымъ удовольствіемъ; онъ это замѣтилъ и сказалъ:

— Васъ радуетъ, что я сдался.

— Я радуюсь. Изъ патріотизма, — добавила она съ улыбкой. Вдругъ она повернулась къ Пшервицу и, показывая ему головой высокую брюнетку съ большимъ лицомъ и некрасивымъ носомъ, сказала: — Смотри, Юрій. Пани Леокадія Сенповская.

— Кто это? — спросилъ Пшервица Рдзавичъ.

— Это одна дама, которая рассказываетъ о себѣ, будто у нея бываетъ такое біеніе сердца, что доктора опасаются, какъ бы у нея не полопались ребра. Она пишетъ — «счастья». Карманное изданіе «Графини Идали»: Словацкаго. Берегись ея, она уведетъ тебя ночью въ лѣсъ, скажетъ, что у тебя проникающій въ душу голосъ и что для нея въ мужчинѣ нѣтъ ничего, кромѣ глазъ и губъ, и велитъ она тебѣ сѣсть возлѣ нея на маленькой скамеечкѣ, воткнетъ между вами зонтикъ, «въ увѣренности», что ты не переступишь этой границы, но вмѣстѣ съ тѣмъ «въ увѣренности», что тебѣ этого ужасно хочется. Она засыплетъ тебя фразами изъ Бурже, Леметра, Мопассана, Д'Аннунціо и своими собственными на этой подкладкѣ, и когда уже ты не будешь въ состояніи выдерживать этой истерической пилы, она



простится съ тобою съ горькой улыбкой разочарованія.  
Замѣчательный типъ.

— Вы слишкомъ колки, кузень, — сказала старшая  
Росенская, младшая же спросила:

— Что это значитъ, дядя Юрикъ, истерическая  
пила?

— Это такъ, словно кто-нибудь намажетъ хлѣбъ  
пачулей, — отвѣтилъ Пшервицъ.

Миньонъ посмотрѣла на него своими большими гла-  
зами, не поняла, но кивнула головой въ знакъ того,  
что понимаетъ.

Вдругъ раздался серебристый звонокъ съ эстрады;  
въ залѣ, мало-по-малу, стало тихо. На эстраду вышла  
актриса, не первой молодости, но еще красивая, силь-  
но декольтированная, съ громадными бриллиантами въ  
ушахъ и у декольте.

— Твои стихи, — шепнула Лаура, блѣднѣя отъ вол-  
ненія.

— Ага! — отвѣтилъ спокойно Пшервицъ, — она на-  
чнетъ съ «Колоннъ».

Публика затихла, сгруппировалась, артистка стала  
говорить. Послѣ «Колоннъ Самсона» она продекламиро-  
вала «Бездну» и, такъ какъ рукоплесканія не конча-  
лись, то прочла стихи уже другого автора.

Раздалась бѣшеная буря рукоплесканій. Залъ трясся  
отъ нихъ. Кричали: бисъ, бисъ! безъ умолку. Тогда  
артистка сдѣлала грустную физіономію и трогательнымъ  
голосомъ стала декламировать стихи другого «товарища»  
Пшервица.



Въ залѣ воцарилась глухая тишина; дамы прижимали глаза тонкими платочками. Послѣдніе стихи о заплаканной дѣвушкѣ у окна и о покинутой могилѣ на чужой сторонѣ вызвали громкія рыданія. Буря рукоплесканій была такъ же сильна, какъ прежде. Авторы обоихъ стихотвореній, длинноволосые поэты, стоя у стѣны, смотрѣли съ триумфомъ на Пшервица.

— Я разбитъ на голову, — сказалъ Пшервицъ съ совсѣмъ равнодушною улыбкою. — У меня былъ succès d'estime, но мои «собратья» совсѣмъ восхитили слушателей.

— Прежде ты былъ бы взбѣшенъ, — сказалъ Пшервицу Рдзавичъ; — скажи, откуда у тебя теперь такое невозмутимое спокойствіе?

— Оттуда, — отвѣтилъ Пшервицъ, показывая на жену.

Лаура, однакоже, не приняла съ такимъ же стоицизмомъ succès d'estime своего мужа; она была недовольна и нахмурилась.

— Что ты? — сказалъ Пшервицъ съ сильнымъ удивленіемъ.

— Я сердита, — отвѣтила Лаура. — Вѣдь всѣ знаютъ, что оба они не доросли тебѣ до пятокъ!

— Ну, мало ли что! А теперь слушай Маттини. Сматри, Миньонъ, вотъ тебѣ и брюнетъ и гордый; сматри, какая у него фізіономія.

— Вотъ тоже, пѣвецъ какой-то. Тетя Настя на именины дяди выписала пѣвцовъ изъ Смоленска, такъ имъ подали ѣсть въ сѣняхъ,



— Но вѣдь это европейская знаменитость.

— Да?! Онъ, по всей вѣроятности, даже не дворянинъ.

— Рузя! — сказала старшая Росенская.

— Тетя Настя велѣла всегда узнавать прежде всего о происхожденіи, — отвѣчала Миньонъ.

— Тссъ! — шепнула Биша. — Начинаеть.

Къ бурѣ рукоплесканій присоединился градъ цвѣтовъ. Тогда теноръ, красивый, толстый, какъ быкъ, съ глушымъ, какъ у вола, выраженіемъ лица, бросилъ, будто печально, свои перчатки между взбѣшенныхъ отъ восторга женщинъ. Произошла формальная свалка. Вырывая ихъ другъ у друга, дамы порвали перчатки на мелкіе кусочки, а кусочки эти прижимали къ губамъ и прятали за корсажъ; онъ, безмѣрно глупый, стоялъ на эстрадѣ побѣдителемъ.

— Вѣдь онъ дуракъ? — шепнулъ Пшервицу Рдзавичъ.

— Дуракъ, — отвѣчалъ тотъ.

— Онъ совсѣмъ затмилъ насъ. Тебя съ твоими стихами, меня съ моими «Центаврами» и «Вамширомъ».

— Такъ всегда бываетъ. *Similia similibus*. Ты этого еще не зналъ?

Вдругъ Рдзавичъ увидѣлъ громаднаго сѣдѣющаго мужчину и воскликнулъ:

— Смотри, вотъ такъ мужчина! Достать бы такого для позировки! Настоящій польскій крылатый гусаръ!

— Съ лицомъ идіота, присмотришь. Это такъ называемый графъ Мись, изъ Галиціи. У этого несчастнаго



человѣка триста шестьдесятъ пять засѣданій въ годъ и триста шестьдесятъ пять охотъ. Триста шестьдесятъ четыре раза онъ охотится, а въ триста шестьдесятъ пятый пишутъ въ «ихъ органѣ», что онъ, заботясь объ общественномъ благѣ, забываетъ о самомъ себѣ. Въ високосномъ году это бываетъ на триста шестьдесятъ шестой день.

Въ концертѣ наступилъ перерывъ. Мужчины предложили дамамъ руки, а дамы, сіяя брилліантами и отливая всѣми цвѣтами, обмахивали розовыя лица пушистыми вѣерами и, опираясь на своихъ кавалеровъ, живо болтали, смѣясь, веселясь, раздражаясь и раздражая. Море головъ, играющее цвѣтами волосъ, жемчуга, цвѣтовъ, золота и брилліантовыхъ звѣздъ, волновалось надъ бѣлымъ моремъ обнаженныхъ плечъ и грудей. Толпа женщинъ превратилась въ какую-то расплавленную и плывущую массу, полную свѣта, круглыхъ линий, вызывающихъ искушеній и сводящихъ съ ума обѣщаній.

Рдзавичъ глядѣлъ на Элю Росенскую съ возрастающимъ интересомъ. Прежде всего ему бросалась въ глаза ея замѣчательная невинность; ея глубокіе глаза и спокойный ровный лобъ производили впечатлѣніе, что въ нихъ никогда не было мѣста никакой грязной, низкой, недостойной мысли, а губы, казалось, кричали: жажду! Эта дѣвушка казалась ему утреннимъ цвѣткомъ, когда утренній туманъ еще виситъ надъ землею, но начинаетъ уже жемчужиться и золотиться въ лучахъ восходящаго солнца, когда капли росы начинаютъ го-



рѣть и сіять. Въ это время цвѣты такъ чисты, какъ никогда, и запахъ ихъ свѣжъ и прекрасенъ, хотя цвѣты еще не проснулись и не ясны. Притомъ они такъ грустны и удивительно тихи.

Рдзавичъ чувствовалъ, что страсть слиться въ одно съ этой дѣвушкой все болѣе и болѣе овладѣваетъ имъ. Чувство это было для него совсѣмъ ново, такъ какъ, если онъ хотѣлъ ея всей силой своей страсти, то отъ нея къ нему шло какое-то душевное спокойствіе, и невинность ея мысли вливалась въ его душу. Это были незнакомые ему чары луговъ, полныхъ мягкихъ запаховъ и нѣжныхъ цвѣтовъ, чары природы такой, какова она есть, стихійной, простой и въ простотѣ своей свѣжей. Ни кокетства, ни искусства онъ не видѣлъ въ Росенской: когда онъ смотрѣлъ на ея губы, ему казалось, что вотъ-вотъ онъ протянетъ руки и обниметъ кого-нибудь и скажетъ всей этой толпѣ: «люблю, это мнѣ врождено»... Смотри на ея глаза и чело, онъ видѣлъ женскій стыдъ и гордость, которые воспитала въ ней цивилизація и которые должны были быть очень сильно развиты.

Она стояла съ немножко наклоненной головой, касаясь губами края вѣера, похожая на Хариту и Діану. Рдзавичъ чувствовалъ, какъ что-то внутри его, въ груди, влечетъ его къ этой дѣвушкѣ; онъ взглянулъ на нее, и въ ту же минуту она подняла изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ свои глубокіе глаза. Какая-то теплота овѣяла Рдзавича, одно маленькое мгновеніе эти глаза хотѣли ему что-то сказать, потомъ они снова стали тихи, добры



и грустны и снова спрятались подъ вѣки съ громадными рѣсницами. Тихая, гордая невинность лежала на челѣ Росенской, а ея вишневыя, созданныя для поцѣлуевъ губы кричали: «жажду»!

Рдзавичъ замѣтилъ, что Лаура взглянула на него и Элю сбоку, какъ бы влажнымъ отъ умиленія взглядомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ ему казалось, что его охватываетъ сонъ и голова его клонится.

Къ нимъ подошелъ мужчина лѣтъ тридцати семи, высокій, тонкій, чисто выбритый, съ длинными свѣтлыми волосами, съ длиннымъ загнутымъ внизъ носомъ, съ двумя длинными морщинами отъ скулъ къ подбородку, съ плохо завязаннымъ галстукомъ; онъ сталъ дружески здороваться съ паномъ Росенскимъ и барышнями и немного офиціально съ Пшервицемъ и Бишей. Рдзавичъ замѣтилъ, что съ Элей они пожали другъ другу руки особенно сердечно, углы губъ его стянулись книзу, брови дрогнули надъ глазами, и по губамъ словно быстро пролетѣло слово: «она моя»! Все потемнѣло у Рдзавича въ глазахъ, и онъ готовъ былъ, не задумываясь, крикнуть: «люблю»! Въ эту минуту тонкій и высокій человѣкъ, замѣтивъ, что Рдзавичъ также принадлежитъ къ этой компаніи, подошелъ къ нему и, подавая ему руку, сказалъ съ непринужденной вѣжливостью свѣтскаго человѣка:

— Леонъ Морскій.

Фамилію эту, между прочимъ, аристократическую, Рдзавичъ зналъ уже давно: Морскій жилъ постоянно за границей и имѣлъ славу большого музыкальнаго та-



ланта и замѣчательнаго оригинала. И онъ, по всей вѣроятности, зналъ фамилію Рдзавича, дружелюбно улыбнулся и, потрясая сильно его рукой, сталъ быстро говорить, смѣшивая все вмѣстѣ.

— Очень радъ съ вами познакомиться. Съ какихъ это поръ mesdemoiselles Росенскія бываютъ въ такомъ порядочномъ обществѣ? Рассказывали онѣ уже вамъ, какъ это сѣютъ, а, можетъ быть, и садятъ свеклу, сколько яицъ несутъ куры, какъ ѣлъ Милюсъ за завтракомъ, что у господина Калясанта Вонтрубскаго новая запонка въ галстукѣ, а господинъ Антыфантъ Вшиско-глупскій купилъ четверку упряжныхъ лошадей?

— Нѣтъ, объ этомъ мнѣ паненки еще не рассказывали, — отвѣчалъ Рдзавичъ, стараясь отвѣтить не невѣжливо.

— Ну, такъ расскажутъ, подождите только. Я очень радъ, что встрѣтилъ васъ здѣсь, господа. Три часа тому назадъ я пріѣхалъ изъ Лондона. Слякоть такая тамъ, что ужасъ. Что тутъ дѣлаютъ у васъ на этомъ раутѣ? Вотъ этотъ болванъ Маттини. Пѣлъ онъ? Миньонъ, не глазѣй такъ на этого офицера. Какъ урожай, панъ Станиславъ? Вы прелестно сегодня выглядите, madame Лаура, ужасно давно я васъ не видалъ. Я слышалъ Падеревскаго въ Нью-Йоркѣ. Ей-Богу, это конецъ міра, я не понимаю, какъ можно такъ играть по заказу? Миньонъ, подними носъ. Я понимаю — играть тогда, когда хочется, но не тогда, когда обѣщаешь. Миѣ пріятно, мнѣ очень пріятно, что я васъ здѣсь вижу. Что это я такъ болтаю и болтаю. Говорите кто-ни-



будь. Ваши вещи прелестны, панъ Рдзавичъ. Вы бы получили золотую медаль въ Салонѣ или въ Хрустальномъ Дворцѣ. Честное слово, мы, поляки, люди способные и еще не пропали. Не знаете вы, гдѣ теперь Ментеръ? Правда, это не ваше дѣло. Пойдемъ отсюда. У кого нѣтъ пары?

— У меня, — сказала Лаура, опираясь на руку Морскаго. — До сихъ поръ мы обѣ съ Элей пользовались любезностью пана Рдзавича.

— Очень радъ, — отвѣтилъ Морскій. — Это, слава Богу, лучше, чѣмъ водить моихъ кузинъ по залу, — эти семь добродѣтелей! Миньонъ, уцѣпись за пана Пшервица и впередъ. Мы съ madame Пшервицъ за вами, потомъ панъ Рдзавичъ съ Элей... Миньонъ, не вертись на пяткахъ... а панъ Станиславъ съ панной Эльжбетою въ арьергардѣ. Стройся! Маршь! Трагата!

— Графъ Морскій стоить пана Чемпинскаго, правда? — сказала Эля. — Чудакъ, какихъ мало. Интересно, долго ли онъ здѣсь пробудетъ; мы всѣ знаемъ его хорошо и очень любимъ.

— Онъ очень симпатиченъ, — сказалъ, лишь бы что-нибудь сказать, Рдзавичъ, который прежде всего чувствовалъ, что эта дѣвушка опирается на его руку и близка ему, который глазами ловилъ на ея губахъ звуки сольвъ, почти не понимая, что они значать, видя только, какъ двигаются вишневая губы Эли и слыша ихъ грустный, сладкій звукъ. Онъ едва не поддался искушенію прижать покрѣпче руку Эли къ себѣ, но она, какъ бы предчувствуя это, взглянула на него; въ ея взглядѣ



была такая чистая, голубиная невинность, что Рдзавичъ не сдѣлалъ того, что хотѣлъ. Но губы ея кричали: «жажду»!

Рдзавичъ смотрѣлъ въ ея лицо и пилъ его глазами, забывъ о томъ, что надо разговаривать. Онъ чувствовалъ, будто новая жизнь входитъ въ него, открывая новые горизонты. Прежде всего, однако, онъ поддавался страсти. — Прекрасная! прекрасная! прекрасная! — говорилъ онъ ей дрожаніемъ губъ. — Приди, приди! — Онъ чувствовалъ, что въ немъ что то умираетъ отъ жажды и окружало Элю пламенной сѣтью. Онъ прожигалъ ея платье и ее самое насквозь: она горѣла, и ему казалось, что онъ видитъ свою жажду, какъ какую-то странную огненно-голубую субстанцію, которою окружена Эля съ ногъ до головы и выше. вмѣстѣ съ тѣмъ ему хотѣлось взять въ руки ея душу, и онъ воображалъ себѣ ее бѣлой розой, которая постепенно превращалась въ его рукахъ въ темно-пурпурную, съ такимъ запахомъ, что можно было упасть отъ его силы. Онъ никогда еще не былъ въ такомъ восхищеніи; онъ чувствовалъ, что подходитъ къ границѣ, гдѣ безъ различія мѣшаются слова «люблю» и «жажду»; и въ то же время онъ понималъ, что эта женщина, въ такой степени возбуждающая его страсть, вмѣстѣ съ тѣмъ, — невиннѣйшая женщина, съ какой ему приходилось встрѣчаться. Что она думала и что чувствовала, онъ не зналъ. Они шли довольно долго молча; она — слегка опершись на его руку, дотрогиваясь до губъ краемъ вѣера, который держала въ другой рукѣ. Лицо



ей казалось Рдзавичу веселѣе, чѣмъ въ первую минуту, но вмѣстѣ съ тѣмъ грустнѣе; ему казалось, что на немъ встрѣчаются двѣ новыя мысли, которыхъ прежде не было. Одна изъ нихъ родилась отъ какой-то свѣтлой причины, другая возбуждала въ ней безпокойство. Вдругъ Эля подняла на него свои большіе глаза и стала говорить :

— Панъ Морскій нашъ сосѣдь, т.-е. его имѣніе находится возлѣ нашего, но онъ самъ, въ особенности теперь, рѣдко тамъ бываетъ. Прежде онъ пріѣзжалъ чаще и оставался по нѣсколько мѣсяцевъ. Наши семьи давно въ дружбѣ, даже, кажется, въ родствѣ. Онъ знаетъ насъ съ дѣтства, а Розу даже крестилъ, оттого и говоритъ ей «ты». Впрочемъ, онъ почти всѣмъ барышнямъ говоритъ «ты».

— Пшервиць тоже это любитъ, — замѣтилъ Рдзавичъ.

— Да, мнѣ со второго раза, а Рузѣ съ перваго онъ сталъ говорить «ты»; но, правда, Лорця наша близкая родственница.

— А отчего же панъ Морскій не живетъ въ Польшѣ? — спросилъ Рдзавичъ, котораго раздражало то, что Морскій зналъ такъ хорошо Элю, лучше, чѣмъ онъ; онъ желалъ слышать, что она о немъ знаетъ, и отсюда заключить, какія между ними отношенія.

— Онъ очень любитъ путешествовать, какъ, впрочемъ, каждый артистъ, и притомъ онъ говоритъ, что здѣсь онъ многого не выноситъ, а въ особенности своихъ родственниковъ.



— У него, по всей вѣроятности, родственники изъ аристократіи.

— О, да, изъ высшихъ круговъ, выше нельзя. Онъ рассказываетъ всевозможныя вещи о своихъ кузинахъ. Онѣ тоже не остаются въ долгу передъ нимъ.

— Богатъ онъ?

— Пала, котораго онъ просилъ присматривать за его имѣніемъ, говоритъ, что у него два милліона.

— Это очень интересный и симпатичный человѣкъ.

— Очень.

— Насколько мнѣ извѣстно, онъ очень рѣдко печатаетъ свои произведенія, но они, кажется, прекрасны. Я слышалъ еще, что онъ прелестно играетъ.

— Прелестно. Ничья игра не производитъ на меня такого впечатлѣнія.

— Вы играете?

— Да, мы обѣ съ Рузей играемъ и поемъ. Всякій разъ, какъ панъ Леонъ прѣзжаетъ изъ-за границы, — съ тѣхъ поръ, какъ я дома, — я беру у него уроки. Въ одинъ часъ у него можно научиться большому, чѣмъ у кого-нибудь другого въ годъ. Это оттого, что онъ такъ играетъ, словно душа его уходитъ въ пальцы.

— Пшервиць вамъ позавидоваль бы, — сказалъ Рдзавичъ пониженнымъ голосомъ, какимъ говорятъ, когда хотятъ сказать что-нибудь непріятное, но вдругъ остановятся, не зная, нужно ли, можно ли.

— Въ чемъ? — спросила, не понимая, Росенская.

Рдзавичъ хотѣлъ отвѣтить въ томъ же духѣ: — «этой фразѣ»... — взглянувъ, однако, на большіе, груст-



ные въ эту минуту, и спрашивающіе глаза Эли, онъ разсердился на себя, и ему стало жаль ея; онъ отвѣчалъ съ улыбкой:

— Вы такъ красиво сказали, что у папа Морскаго словно душа уходитъ въ пальцы. У насъ иной разъ тоже душа выливается въ пальцы, въ мраморъ или въ полотно. Но это гораздо менѣе поэтично, и женщины этимъ гораздо менѣе интересуются, — добавилъ онъ, мѣняя снова свое отношеніе къ Элѣ и слегка надувая губы съ будто скрываемымъ, но умышленно плохо скрываемымъ пренебреженіемъ. Онъ видѣлъ, что она это замѣтила и немного смѣшалась, онъ былъ сердитъ на себя, что сдѣлалъ ей непріятность, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалъ какое-то удовольствіе и добавилъ:

— Музыка гораздо доступнѣе живописи и скульптуры. Между Микель Анжело и Шопеномъ есть разница.

— Вы забываете о Бетховенѣ.

— Да, но «Mondscheinsonatte» играетъ первая попавшаяся Лизхенъ или Энхенъ и плачетъ надъ ней, а поведите ее въ Сикстинскую капеллу...

Онъ говорилъ рѣзкимъ тономъ и думалъ, что Россенская или станетъ съ нимъ спорить, или обидится, или будетъ разыгрывать наивность и постарается обезоружить его чѣмъ-нибудь въ родѣ: «отчего вы меня обижаете»? или взглядомъ, который будетъ говорить: «что я вамъ сдѣлала»? Но Эля только подняла на него грустные удивленные глаза. Ему хотѣлось схватить ея руки и прижать къ губамъ, но вмѣсто этого онъ снова надулъ губы и слегка пожалъ плечами. Онъ былъ увѣ-



ренъ, что она ему какъ-нибудь отвѣтитъ, не понять и не почувствовать его она не могла, но Эля снова коснулась краемъ вѣера губъ и молчала, смотря впередъ. Тогда Рдзавичъ сказалъ себѣ, что эта женщина ужъ больше ему не нравится, взглянулъ на нее свысока, съ нѣкоторой снисходительностью, какъ на обыкновенную «барышню-теленка», и спросилъ:

— У васъ много сосѣдей?

— Много, — отвѣтила она приветливо.

«Она хорошо воспитана», — подумалъ онъ и продолжалъ:

— У помѣщиковъ хорошія лошади?

— Отличныя.

— А въ легкіе экипажи тамъ запрягаютъ англійскихъ пони?

Онъ испугался и хотѣлъ бы взять назадъ свой вопросъ, чувствуя, что это было грубо, но она отвѣчала ему такъ же, какъ прежде.

— Рѣдко, у насъ вообще мало ѣздятъ на пони, развѣ дѣти. У Рузи пара венгерскихъ, очень красивыхъ.

«Она побѣдила», — подумалъ онъ и сказалъ просто: — Вы очень хорошо воспитаны и очень умны.

Эля улыбнулась, взглянула на него дружелюбно и, повидимому, не зная, отчего онъ это говорить, спросила:

— Отчего вы такъ думаете?

— Оттого, что вы меня сумѣли такъ быстро и легко



успокоить. Простите меня. Заключимъ миръ. Я хочу быть вашимъ другомъ.

Онъ хотѣлъ сказать это такъ сердечно, чтобы привлечь ее, но сказалъ такъ, что прежде всего помирился самъ съ собою, и ему сейчасъ же пришло въ голову, что, можетъ быть, только съ собой и что онъ зашелъ слишкомъ далеко, и онъ снова нахмурился; но она мило улыбнулась и отвѣтила:

— Нечего заключать мира, не было войны, и я не знаю, за что вы передо мной извиняетесь, но, во всякомъ случаѣ, будемъ друзьями.

«Она неуязвима, — подумалъ Рдзавичъ. — Это совсемъ не «барышня-теленочъ», но, можетъ быть, это «барышня-лисица», которая замѣтила, что я у нея «наклевываюсь», и теперь внутренно смѣется надо мной».

— Перемѣнимъ тонъ. Вы не знаете, какая сегодня программа? — спросилъ онъ громко.

Эля снова улыбнулась и отвѣчала:

— Какъ же, знаю. Живыя картины. Но вы перескакиваете съ темы на тему, какъ стрекоза. Я не поспѣю за вами.

«Она смѣется! — подумалъ Рдзавичъ, — надо сразу кончить». Однако, онъ не зналъ, что сказать, а ея губы были такъ хороши, и румянецъ, выступившій на щекахъ, такъ красивъ, что онъ снова поддался ея чарамъ, а мозгъ кричалъ ему: «не порти!» — Онъ и сказалъ прямо, что въ эту минуту думалъ:

— Вашимъ воспитаніемъ и вашимъ умомъ вы сдѣлали мнѣ непріятность.



— Отчего? Я не понимаю.

— Вы меня понимаете. Если бъ вы не притворились, что не понимаете, за что я передъ вами извинялся, отношенія наши стали бы сразу проще и откровеннѣе.

— Я принимаю ваше извиненіе и извиняюсь, въ свою очередь, передъ вами. Миръ заключенъ, и вы не будете мнѣ давать понять, что я глупенькая.

— Но...

— Не стоитъ объ этомъ говорить. Можетъ быть, кому-нибудь другому я не позволила бы себѣ наговорить столько непріятностей, но на васъ я не могу смотрѣть такъ, какъ на другихъ.

— Почему?

— Прежде всего потому, что вы художникъ.

— Имѣю ли еще какія-нибудь права на ваше снисхожденіе?

Эля взглянула на него и, не говоря, повидимому, того или, по крайней мѣрѣ, всего, что думала, сказала.

— Да вѣдь вы еще родственникъ Лорци, которую я очень люблю.

Они проходили какъ разъ мимо устроеннаго въ сѣдномъ залѣ буфета; тамъ уже толпилось нѣсколько человѣкъ. Морскій нагнулся къ младшей Росенской и спросилъ:

— Миньонъ, ангелъ, тебѣ не хочется ѣсть?

— Хочется, — отвѣтила Миньонъ.

— А чего бы ты хотѣла?



— Кусокъ хлѣба съ вареньемъ.

— Ну, это мы тутъ врядъ ли достанемъ, но зато найдемъ что-нибудь другое. Вы не имѣете ничего противъ того, чтобы зайти въ буфетъ? — спросилъ онъ, обращаясь къ двумъ слѣдующимъ парамъ.

— Отчего же, зайдемъ, — сказала Биша

— Вотъ тамъ въ томъ углу отличный столъ, — сказалъ Пшервицъ, вошедшій съ Миньонъ первымъ. — Мы будемъ совершенно свободны. Миньонъ, бѣги поскорѣй, чтобъ не заняли.

Миньонъ быстро побѣжала вмѣстѣ съ Пшервицемъ къ столу и сѣла съ размаху такъ, что стулъ затрепалъ.

— Отлично, — сказалъ Морскій, подходя съ Лаурою, — посмотрите, какъ эти графини и вице-графини съ возмущеніемъ смотрятъ на насъ. Если бъ это сдѣлалъ мой двоюродный братъ, графъ Морскій, у котораго столько запонокъ, что его задержали на таможи, думая, что онъ контрабандистъ, и княжна Иза Заславская, всѣ эти бабы кричали бы: «какъ это мило!» А такъ какъ это сдѣлалъ «какой-то» панъ Пшервицъ съ «какою-то» mademoiselle Росенской, то онѣ будутъ орать: «какъ они ведутъ себя!» Ну, сядемъ.

Росенскій поклонился и сказалъ Морскому.

— Графиня Вычевская.

— Ага, дорогая тетя Фемця. Я долженъ съ нею поздороваться. Сейчасъ вернусь, только скажу ей какую-нибудь дерзость. Года три я ея не видѣлъ.

— Готово! — сказалъ онъ, возвращаясь и садясь на прежнее мѣсто.



— Что же вы ей сказали? — поинтересовалась Биша.

Она выразила любезное желаніе познакомиться съ вами, Пшервиць и панъ Рдзавичъ. Если бъ она это сдѣлала, какъ культурная женщина, то, конечно, я бы просто васъ попросилъ подойти къ ней и представилъ бы, но она сказала: «Покажи мнѣ поближе этого поэта и этого скульптора». Я ей и отвѣтилъ: «Подойдите, тетушка, поближе и присмотритесь сами».

— Что жъ она вамъ отвѣтила?

— Она сказала, что я смѣшонъ, а я ей отвѣтилъ, что это — странно, такъ какъ я въ семьѣ выродокъ. У насъ портятъ аристократію и женщинъ, слишкомъ ужъ много о нихъ говорятъ. Взгляните-ка, какъ эта мѣщаночка садится возлѣ графини Вычевской, словно она изъ севрскаго фарфора. Странная манера оказывать почтеніе осторожнымъ обращеніемъ съ собственной шкурой. Но онѣ обѣ довольны: и тетя Фемця и фарфоръ этой барыни.

Въ ту же минуту Пшервиць увидѣлъ въ толпѣ Ковалья, который испуганными глазами оглядывался изъ за своихъ очковъ; съ согласія дамъ онъ подошелъ къ нему и пригласилъ къ ихъ столу, предупредивъ Минь-онъ, что это ученый, такъ что она глядѣла на Ковалья, какъ котъ на большого жука. Ковалю, повидимому, барышни понравились, онъ оживился и говорилъ много и мило. Оба съ Морскимъ много видѣли, — Морскій городовъ, Коваль степей; они рассказывали по



очереди. Рдзавичъ, сидѣвшій возлѣ Эли, игралъ крошками хлѣба и молчалъ.

Онъ не сомнѣвался, что Эля признавала за нимъ «особенныя права» не только потому, что онъ художникъ и родственникъ Лауры, но также и оттого, что она должна была знать обо всемъ, а у ней доброе и мягкое сердце. Madame Пшервицъ не говорила ему ничего о Росенскихъ и о томъ, что онѣ будутъ на раутѣ, но изъ разговора онъ зналъ, что онѣ съ отцомъ въ Варшавѣ уже двѣ недѣли; онъ узналъ, что панъ Росенскій оставить ихъ у Пшервицовъ на нѣсколько мѣсяцевъ, а самъ долженъ будетъ уѣхать съ женой лѣчиться. Это извѣстiе наэлектризовало Рдзавича.

— А Марія, Марія... — шепталъ ему какой-то внутренней голосъ, на что онъ самъ себѣ отвѣчалъ: «Ахъ будетъ съ меня... Я мучаюсь уже годъ, и чего я дождался? Быть ли мнѣ всю жизнь несчастнымъ, оттого что я любилъ? Маріи до меня нѣтъ дѣла, она не знаетъ, можетъ быть, живъ ли я, что же мнѣ жить только ею и ею? Развѣ всякая теорія вѣроятностей не глупость? Впрочемъ, если я чувствую, что могу перестать и начать любить другую, надо быть совсѣмъ сумасшедшимъ, чтобъ ради какой-то теоріи уцѣпиться за одну любовь и всѣми силами отрещиваться отъ другой.

Конечно, такъ любить Элю, какъ Марію, такъ сильно, такъ страшно, такъ глубоко онъ никогда не будетъ; она прежде всего дѣйствуетъ на его чувственность, и оттого его чувство къ ней такъ сильно и оттого



оно превосходить все, что можно чувствовать къ жеп-  
щинѣ. Марию онъ жаждалъ не меньше, но туда входила  
вся его психика, такъ что одно уравновѣшивало дру-  
гое и вмѣстѣ творило громадную симфонію любви. Онъ  
еще не любитъ Элю, но чувствуетъ, что легко подда-  
стся этому чувству; физически оно имъ ужъ овладѣло,  
а переходъ отъ физическаго влеченія къ психическому  
легокъ и неуловимъ, такъ какъ, собственно говоря,  
одни инстинкты немислимы безъ другихъ, они никогда  
не дѣйствуютъ одни, между ними можетъ быть только  
поразительное неравновѣсіе. Элю онъ не любитъ, но  
можетъ полюбить. Любовью къ Маріи онъ утомленъ, и  
въ концѣ-концовъ чувство его не оформится въ искрен-  
нее и естественное влеченіе, оно будетъ проявляться  
въ ненормальныхъ формахъ тоски и грусти. Правда,  
къ этимъ формамъ онъ привязанъ; правда, для него  
теперь дороже тоска и грусть о Маріи, чѣмъ объятія  
Эли, но это можетъ измѣниться, въ особенности, если  
онъ захочетъ. Нѣтъ лучшаго лѣкарства для старой  
любви, чѣмъ новая. По мѣрѣ того, какъ Эля будетъ  
наполнять его душу, Марія должна будетъ уступить,  
прямо изъ-за физическихъ причинъ, не хватить мѣста.  
Надо только стараться помочь Элѣ выгнать Марию изъ  
его памяти...

Но какъ только онъ подумалъ это, какъ только онъ  
понялъ, что употребилъ по адресу Маріи слово «вы-  
гнать», ему стало такъ жаль ее, онъ почувствовалъ  
себя по отношенію къ ней такъ виноватымъ, что еле  
удержался, чтобъ не вскочить, не побѣжать куда-ни-



будь, не припасть лицомъ къ землѣ и не кричать: «прости мнѣ, бѣдная, несчастная, гонимая!» Ему казалось, будто онъ выгоняетъ маленькаго ребенка или какого-то маленькаго звѣрка ночью на снѣгъ и морозъ... И сейчасъ же онъ отрезвѣлъ. По залѣ прошелъ гладко выбритый, въ высочайшемъ воротничкѣ, съ моноклемъ, Корябъ-Тынольскій, закусывая бутербродомъ съ икрой.

«Лейбъ-гвардія, — подумалъ Рдзавичъ и чуть не разсмѣялся надъ собой. — О, глупецъ, глупецъ, — говорилъ онъ себѣ, — о, глупость безъ дна, границъ, береговъ!..»

Раздраженному, разстроенному воображенію его пришла мысль, что Маріей онъ можетъ кокетничать съ Элэй. У нея написано на лицѣ, что она добра, чувствительна, отзывчива на чужое горе, что она романтична и мечтательна. Нельзя придумать лучшаго крючка для такой дѣвушки, какъ довѣрить ей свое горе, ища у нея утѣшенія, спокойствія... Кто ищетъ его? Геніальный художникъ, — онъ зналъ, что о немъ такъ говорятъ, — родственникъ дорогой кузины, любимый ею, — это онъ тоже зналъ, — наконецъ, молодой человѣкъ, интересный уже тѣмъ, что носитъ въ груди своей такую драму. Чудо, если бы такая дѣвушка, какъ Эля, при всѣхъ этихъ условіяхъ не запуталась бы...

Запуталась?... Онъ взглянулъ на нее: она сидѣла съ поклоненной головой, вслушиваясь въ слова Коваля, рассказывавшаго объ охотѣ на безгривыхъ африканскихъ львовъ, но думая, повидимому, о другомъ. Она



была такъ невинна и такъ тиха, что Рдзавичу стало неприятно, что онъ могъ подумать о ней: «запутать».

«Запутать» такую дѣвушку, какъ Эля, прибѣгая къ такимъ уловкамъ... — думалъ онъ. — Я становлюсь отвратительнымъ подлецомъ. Хотѣть ее опутать? Не лучше ли прямо подумать и обдумать, могу ли я перестать любить Марию? Могу или не могу. Хочу перестать любить Марию? Хочу или не хочу? Хочу и могу любить Элю Росенскую? Хочу и могу или нѣтъ?»

Если онъ можетъ и хочетъ забыть о Марии, хочетъ и можетъ любить Элю Росенскую, то къ Элѣ Росенской надо идти прямо, какъ прямо протягиваютъ руку, желая сорвать цвѣтокъ. «Я тоже «пара сапогъ» и «польская инвенція», если мнѣ въ этомъ не поможетъ *madame Пшервицъ*», — подумалъ онъ, чувствуя, что думаетъ умно.

Онъ не зналъ, отчего, онъ не могъ этого мотивировать, но онъ подозрѣвалъ даже, что Лаура уговаривала его прѣхать на раутъ не ради однихъ только стиховъ; что она говорила о немъ, прежде чѣмъ они встрѣтились на раутѣ, и лучшее доказательство этого то, что Эля знала о существованіи Чемпинскаго, а если она знала о немъ и о томъ, что Чемпинскій такой оригиналь, то *madame Пшервицъ* должна была рассказывать подробно. Вѣдь сотни фактовъ важнѣе того, что Чемпинскій оригиналь. А если Лаура рассказывала подробно, то хотѣла, чтобы Эля знала о немъ многое, а на что бы ей это было, если бъ у нея не было никакой задней мысли? «Вотъ тебѣ и стихи Юрика, — по-



думалъ онъ. — Впрочемъ ты, «милѣйшая madame Лаура», хотѣла подстрѣлить сразу двухъ зайцевъ: чтобъ я слышалъ, какъ аплодируютъ Юрику, и познакомить меня съ Элей. Ты интриганка, но за эту интригу я бѣ охотно поцѣловалъ обѣ твои бѣлыя ручки съ классическими подушечками.» Онъ прикусилъ губы, какъ обыкновенно дѣлаютъ, когда подумаютъ: «а, поймалъ!», и взглянулъ на madame Пшервицъ: розовая, улыбающаяся, она слушала, какъ Морскій, ошибаясь черезъ каждыя пятнадцать словъ, читалъ «Провалившіяся озера» Юрика, на которыя онъ хотѣлъ написать музыку.

У Рдзавича на душѣ стало какъ-то свѣтло. Онъ влюбится въ Элю, она въ него. А найдетъ онъ въ ней невинность, вѣрность, благородство и доброту, а притомъ, какъ она привлекательна, ахъ, какъ красива!..

Онъ забылъ объ одномъ, о Морскомъ, объ отношеніяхъ котораго къ Элѣ онъ ничего не зналъ, какъ не зналъ рѣшительно ничего о ней. Ему не казалось, что Эля увлечена Морскимъ или Морскій ею, но если даже она могла быть заинтересована имъ, то могла такъ же легко увлечься кѣмъ-нибудь другимъ. Ему такъ захотѣлось узнать болѣе подробно объ Элѣ, что онъ схватилъ первый попавшійся стулъ, сѣлъ сзади Лауры и сталъ шептать вполголоса:

— Madame Лаура!

— Что? — спросила также вполголоса, быстро обрачиваясь, Лаура.

— Стихи Юрія прелестны.

Лаура только улыбнулась.



— И милы. Какъ тѣнь въ лѣсу.

— Вы не жалѣете, что пришли?

— Нѣтъ. Но вы интриганка.

— Я? Отчего?

— Оттого, что вы хотѣли, чтобъ я пришелъ сюда не ради однѣхъ Росенскихъ.

— Но еще?

— Ради стиховъ Юрія.

— Которые?

— Прелестны и милы.

Лаура покраснѣла, какъ краснѣютъ хорошіе люди, когда увидятъ въ своихъ рукахъ что-нибудь хорошее.

— Очень рада, я очень люблю эти стихи. А вы производите такое впечатлѣніе, словно вы оттаяли.

— У меня какъ-то свѣжо на душѣ. Но я забылъ, зачѣмъ я къ вамъ подѣлъ. Кто этотъ панъ Морскій?

Теперь, въ свою очередь, Лаура придала своему лицу такое выраженіе: «ага, вотъ куда ты мѣтишь» — и отвѣтила обыкновеннымъ разговорнымъ тономъ:

— Графъ, милліонеръ, музыкантъ, красивый и извѣстный, благородный человѣкъ, хотя и чудакъ...

— Не въ томъ дѣло, это я знаю, — прервалъ ее Рдзавичъ. — Панъ Росенскій его любитъ?

— Очень даже. Онъ присматриваетъ за его имѣніями.

— Это я тоже знаю. Морскій здѣсь долго пробудетъ?

— Отчего это васъ интересуетъ?

— Говорятъ, онъ прекрасно играетъ?



— Вы хотѣли бы его услышать?

— Да.

— О, это очень легко. Я приглашу васъ какъ-нибудь на чай, попросимъ его, онъ сыграетъ. Онъ у меня всегда охотно играетъ. Онъ только недолюбливаетъ концерты. Онъ говоритъ, что у меня прекрасный рояль.

— Это будетъ хорошо. Но зачѣмъ же онъ теперь сюда пріѣхалъ?

— Такъ, навѣдаться и подписать какой-то контрактъ по куплѣ лѣсовъ по сосѣдству.

— По сосѣдству пана Росенскаго?

— Да.

— Madame Лаура...

— Что?

— Ничего. Такъ только спрашиваю, знаете... Даже не знаю, зачѣмъ я спрашиваю, какое мнѣ дѣло...

— Никакого?

— Никакого.

— Вы очень хорошій художникъ, — правда?

— Такъ говорятъ.

— А я женщина со смекалкой.

— Что ты тамъ хвастаешься, Зюци? — спросилъ Пшервицъ, услыхавши послѣднія слова.

— Что у меня смекалка. Есть вѣдь?

— Есть, но къ чему это?

— Такъ, разговариваемъ съ паномъ Романомъ.

Пшервицъ нагнулся къ Лаурѣ и Рдзавичу и шепнулъ:

— Правда, Ромекъ, что это красивыя дѣвушки?



Я имъ когда-то сказалъ, что онѣ производятъ на меня впечатлѣніе розово-зеленато и розово-голубого цвѣта; Рузя — какъ лугъ съ цвѣтами, Эля — какъ утреннее солнце.

— А я какого цвѣта? — спросила Лаура, высовывая носикъ и губки.

— Ты — небо и мальчуганъ.

— Знаете, мнѣ кажется, что вокругъ насъ весна, — сказалъ Рдзавичъ. — Я чувствую себя такимъ молодымъ, бодрымъ. Вы, дѣйствительно, такъ умны?

— О, очень. Но, во всякомъ случаѣ, довольны вы, что вы пришли?

— Даже очень доволенъ и очень благодаренъ вамъ, — отвѣтилъ Рдзавичъ, цѣлуя ея руку.

— За что?

— Э, что намъ въ прятки играть. За то, что у васъ такая прекрасная, милая Эля. Вы радуетесь?

— Радуюсь.

— Чему?

— Что вамъ хорошо.

— Знаете, мнѣ почти что хорошо. Но я знаю, что это мнѣ только такъ кажется.

— Отчего же? Надо только захотѣть, и будетъ хорошо. Встанемъ? — сказала она громко, обращаясь ко всѣмъ. — Эля, у тебя распустились волосы. Пойдемъ въ уборную, я тебѣ поправлю.

Уже въ залѣ, немного спустя, Рдзавичъ увидѣлъ Лауру и Элю въ обществѣ довольно высокой женщины, съ рыжими волосами, съ темными бровями и глазами,



съ великолѣпными брилліантами въ ушахъ, съ жемчужнымъ полумѣсяцемъ и брилліантовой звѣздой въ волосахъ, съ громаднымъ брилліантомъ между кружевъ на груди и громадными брилліантовыми пряжками на плечахъ, стягивающими короткіе рукавчики открытаго платья серебристаго цвѣта. Къ груди ея былъ пришпиленъ пучокъ карпатскихъ цвѣтовъ. Рдзавичъ узналъ въ ней ту же рыжую женщину съ темными бровями и глазами, которую онъ встрѣтилъ при входѣ.

— Панъ Романъ, — сказала Лаура. — Баронесса Геймертъ, членъ комитета сегодняшняго раута, хотѣла бы съ вами познакомиться, у нея къ вамъ дѣло. Панъ Рдзавичъ, — представила она его баронессѣ.

— Мое дѣло, собственно, просьба, — сказала съ блѣдной улыбкой, немного мелодраматическимъ тономъ баронесса, совывая длинную, узкую руку въ лайковой перчаткѣ въ руку Рдзавича, легко и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко.

— Чѣмъ я могу быть вамъ полезнымъ? — спросилъ Рдзавичъ.

— Мелочью, если вы будете такъ любезны! Мы устраиваемъ живыя картины. Когда мы узнали, что вы здѣсь, а объ этомъ говорятъ, — добавила она съ подчеркивающей улыбкой, — мы рѣшили просить вашей помощи въ надеждѣ, что вы не откажете?

Длинная узкая рука баронессы Геймертъ утонула вторично въ рукѣ Рдзавича. Невозможно было отказать, но Рдзавичъ бросилъ украдкой сердитый взглядъ на Лауру. Та отвѣчала, приподнявъ брови, что зна-



чело: «что же дѣлать»? Потомъ она многозначительно подмигнула, что значило: «нехорошо»!

Рдзавичъ взглянулъ на Элю и встрѣтилъ ея большіе глубокіе глаза. Минуту они смотрѣли другъ на друга, и Рдзавичъ чувствовалъ, что эти глаза снова хотятъ ему что-то сказать; теперь они сдѣлали это дольше и выразительнѣе, чѣмъ въ первый разъ. Они говорили что-то неслыханно простое и милое, и чары ихъ были тѣмъ сильнѣе, что надъ ними было такое чистое, тихое и гордое чело.

Онъ отвѣтилъ глазами: «ты»! А глаза Эли закрылись вѣками, и на лицо выступилъ яркій румянецъ. Потомъ онъ подалъ руку madame Геймертъ и пошелъ съ ней въ гостиную, гдѣ комитетъ раута готовилъ живыя картины.

— Кто эта дама? — спросилъ Морскій у Лауры.

— Баронесса Геймертъ, урожденная Оленцкая; она членъ всевозможныхъ комитетовъ, поэтому я ее и знаю.

— Она, должно быть, богата, какъ Вандербильтъ, судя по ея платью.

— Да, ужасно богата. У нихъ около милліона дохода.

— Фю! фю! Они могли бы спрятать въ карманъ половину нашей аристократіи, «botte haute». Нѣмецъ этотъ Геймертъ?

— Полуиѣмецъ, полуполякъ, очень умный и дѣловой человекъ.

— Есть у нихъ дѣти?

— Нѣтъ; знаю, что ребенокъ долженъ былъ быть,



но она страстная амазонка и... Говорятъ, будто у нихъ никогда ужъ не будетъ дѣтей. Незачѣмъ имъ копить, некому оставлять, у нихъ всегда праздникъ. Я была у нихъ раза два: чистая Шехеразада.

— Она сіяетъ отъ брилліантовъ, какъ лампа, — сказалъ Пшервицъ, — на груди у нея съ полмилліона.

— У тети Насти тоже есть брилліанты, — вмѣшалась въ разговоръ Миньонъ. — Утромъ она надѣнетъ сапоги, засучитъ юбку, возьметъ трость въ руку, сядетъ на лошадь и ѣздитъ по имѣнію, а потомъ одѣнется въ бархатъ, надѣнетъ серьги, сложитъ на животѣ руки въ бѣлыхъ перчаткахъ и сидитъ.

— На лошади? — спросилъ Морскій.

— Нѣтъ! Въ залѣ, принимаетъ.

Лаура кивнула головой сестрѣ и, отойдя съ ней нѣсколько шаговъ въ сторону, сказала:

— Видишь, Биша, мнѣ кажется, что удался.

— Что? — спросила Биша.

— Помнишь, что я говорила, когда Ромекъ былъ у насъ, въ день этого страшнаго происшествія съ Дреускимъ?

— Не помню: что?

— Я тебѣ говорила, что я его вылѣчу, и мнѣ кажется, что мнѣ это удался. Я не смѣла просить его, чтобы онъ пріѣхалъ на раутъ, но мнѣ кто-то помогъ, приславъ ему приглашеніе. Я такъ хотѣла, чтобы они встрѣтились здѣсь на нейтральной почвѣ, какъ будто случайно. Все такъ прелестно сложилось, словно нарочно.



— О чемъ ты думаешь? — спросила съ удивленіемъ Биша.

— Я думаю о Рдзавичѣ и объ Элѣ, — отвѣтила Лаура.

Биша еще больше удивилась, а потомъ сказала.

— Можетъ быть, это и было бы хорошо, я лично этому вполне сочувствую, но помни, что въ такихъ случаяхъ, въ особенности въ такомъ положеніи, въ какомъ онъ, никогда нельзя быть достаточно осторожной и деликатной.

— Будь покойна, вѣдь я же не пойду къ нему и не скажу: «ты бы сдѣлалъ лучше всего, если бы женился, и я его не сброшу, хочеть ли онъ жениться на Элѣ. Я замѣтила, однако, что Эля ему нравится, хотя онъ мнѣ этого не говорилъ, и что онъ ей нравится, это я тоже знаю.

— Ты говорила съ Элей?

— Да. Она такъ непохожа на всѣхъ барышень. Я ее нарочно увела въ уборную, чтобъ съ ней переговорить, волосы ея могли остаться такъ, какъ они были. Я ее прямо спросила: «нравится ли тебѣ Рдзавичъ?»

— И что жъ она?

— Покраснѣла, бѣдненькая, и ничего не отвѣчала, но я видѣла, что ей хочется прижаться ко мнѣ. Она уже влюблена въ него, хотя и не сознаетъ этого.

— Чтобы только изъ этого не вышло чего-нибудь дурного. Съ Рдзавичемъ никогда нельзя быть увѣренной.

— Я знаю, что такое Эля; такая прелестная, ми



лая дѣвушка должна его увлечь. Нѣкоторое время старое чувство будетъ въ немъ бороться съ новымъ, но какъ только онъ обдумаетъ хорошенько и пойметъ, что отъ стараго у него ничего не осталось, кромѣ дурного, а новое такъ хорошо, онъ старое броситъ и ухватится за Элю, какъ за спасеніе. Тыжвечкой онъ не видалъ около десяти мѣсяцевъ, и, къ счастью, она теперь уѣхала надолго; онъ знаетъ, впрочемъ, что ей до него дѣла столько, сколько до перваго попавшагося знакомаго, и это его охлаждаетъ. Юрій зналъ, что послѣ разрыва съ нимъ я не бывала нигдѣ и грустила. Теперь такъ хорошо слагаются обстоятельства, что Эля останется у насъ, и онъ будетъ съ нею видѣться, сколько угодно. Это мы ужъ устроимъ.

— Ты говорила съ Юріемъ?

— Ну, какъ же, много онъ понимаетъ! Онъ почесалъ бы носъ большимъ пальцемъ и сказалъ бы: «Зюца маленькій». Больше ничего. Это не «Провалившіяся озера», которыхъ никто не видалъ, это важное дѣло, бракъ. Рдзавичъ навѣрное уступитъ, если только Эля въ него влюбится, онъ мягокъ и впечатлителенъ, а она влюблена, я готова дать руку на отсѣченіе. Пусть только увидятся еще раза три, поговорятъ свободно, — и жить будутъ не въ состояніи другъ безъ друга.

— Ты всегда была въ этомъ опытнѣе меня. Но что, по-твоему, скажетъ на это дядя Станиславъ?

— Я ручаюсь, что онъ согласится. Рдзавичъ теперь много зарабатываетъ, такъ что денежный вопросъ не будетъ играть роли. При восьмидесяти тысячахъ при-



данаго Эли у нихъ будетъ довольно. Ты привыкла жить хорошо, но у насъ съ Юріемъ бываетъ отъ четырехъ до пяти тысячъ рублей. И съ насъ довольно.

— У васъ нѣтъ дѣтей.

— Притомъ дядя говоритъ совсѣмъ откровенно, что желалъ бы ихъ скорѣе выдать замужъ; какъ только Владьку минуетъ пятнадцать лѣтъ, онъ пошлетъ его за границу въ коммерческое училище, — тетѣ Зосѣ все хуже и хуже, и дядя говоритъ, что необходимо совсѣмъ измѣнить образъ жизни. Вчера мы разговаривали съ нимъ объ этомъ. По его словамъ, онъ такъ измученъ, что долженъ думать за себя и за тетю о дѣтяхъ, что онъ охотно отдастъ дѣвушекъ первымъ попавшимся порядочнымъ людямъ.

— *Qui vivra verra*, только чтобъ тебѣ не пришлось жалѣть. Пускай это дѣлается само собою. Какъ суждено, такъ и случится.

— *Qui vivra verra*, *ma chère*, но я вѣрю, что Богъ благословитъ хорошее дѣло. Это было бы лучшее, что можетъ случиться. Онъ бы съ ней успокоился, она бы его любила безъ мѣры; онъ изъ тѣхъ людей, которыхъ можно любить, а это главная потребность ея организма.

— Юрій! — обратилась Биша къ Пшервицу.

— Что, милая? — спросилъ тотъ съ дружескимъ взглядомъ, какъ всегда, когда говорилъ съ Бишею, которую очень любилъ.

— Какъ только выйдемъ отсюда, такъ подѣлуй Лаурѣ обѣ руки.



— Оттого, что онѣ красивы?

— Нѣтъ, оттого, что онѣ добры.

— Руки madame Лауры? Прежде всего, сдѣлаю это я, — сказалъ Морскій, беря обѣ руки madame Пшервиць и цѣлуя сначала лѣвую, потомъ правую. — Я видѣлъ mademoiselle Лауру Арковскую лѣтъ пять тому назадъ на балу и сейчасъ же подумалъ, что въ этихъ бѣлыхъ тюляхъ сидитъ ангелъ. Я слыхалъ, что его портилъ свѣтъ, чему я не удивляюсь, но не сумѣлъ испортить, такъ какъ почва была слишкомъ хороша. Изъ васъ ничего не выйдетъ, — сказалъ онъ, обращаясь къ Росенскимъ, которыя стояли другъ возлѣ друга въ своихъ блѣдно-зеленыхъ платьяхъ, привлекая глаза толпы своею привлекательностью и красотою.

— Наши барышни царицы раута, — шепнула Росенскому Бица.

— По дорогѣ въ комитетскій залъ съ баронессою Геймертъ Рдзавичъ мысленно ругалъ себя, что поддался просьбѣ этой «подлой бабы», которая его вела. Но взглянувъ на нее, онъ замѣтилъ, что ее можно назвать какъ угодно, только не бабой. Она ему показалась теперь моложе, чѣмъ въ первую минуту, когда онъ ее увидѣлъ. Ей было не болѣе двадцати семи лѣтъ, лицо ея было необыкновенно и впечатлительно, главнымъ его украшеніемъ были, при рыжихъ волосахъ и бѣлой нѣжной кожѣ, большія, темныя брови и глаза и длинный, слегка согнутый носъ съ тонкими ноздрями. Она была высока и тонка, но не слишкомъ, въ малерахъ ея былъ виденъ хорошій тонъ англійской дамы



высшаго круга; при всемъ этомъ въ ней было что-то такое, что Рдзавичу невольно вспомнилось слово: «литература».

Сердясь на нее за то, что она увела его отъ Эли, онъ отвѣчалъ пани Геймертъ вѣжливо, но коротко, такъ что она сказала ему съ улыбкой:

— Простите меня, что я васъ увела, но не безпокойтесь. Я сейчасъ же избавлю васъ отъ всякихъ обязанностей. Я вамъ скажу откровенно, это былъ только предлогъ. Я очень хотѣла съ вами познакомиться... съ тѣхъ поръ, какъ вы написали «Вампира».

— Я очень радъ, что его написалъ.

Глядя на карпатскіе цвѣтки, которые пани Геймертъ приколола къ груди, Рдзавичъ рѣшилъ, что это она прислала ему букетъ; онъ громко сказалъ:

— Если я ошибаюсь, то скажите мнѣ, что я смѣшонъ, но позвольте поблагодарить васъ за цвѣты, которые вы мнѣ сегодня прислали вмѣстѣ съ приглашеніемъ на раутъ. Правда?

Баронесса немного смѣшалась, но только на секунду, и отвѣчала, прекрасно поддѣлывая самую естественную простоту:

— Да. Это я. Я думала, что сдѣлаю вамъ удовольствіе, а я хотѣла вамъ его сдѣлать. Я совсѣмъ заигнотизирована вашимъ «Вампиромъ» и должна была какъ-нибудь выразить свой восторгъ. Но почему вы догадались? Вѣдь васъ, по всей вѣроятности, засыпаютъ цвѣтами?



— Никто меня ничѣмъ не засыпаетъ, а догадался я по этимъ горнымъ цвѣткамъ.

Баронесса мелькомъ взглянула на бутоньерку Рдзавича и сказала:

— Я думала, что вы такъ много получаете цвѣтовъ, что, не желая никого обидѣть, не носите ихъ совсѣмъ.

— Нѣтъ, я только не зналъ, отъ кого этотъ букетъ.

— А теперь... но это было бы слишкомъ по-мѣщански, спросить то, о чемъ я хотѣла.

— А я вамъ отвѣчу очень невѣжливо, но такъ, какъ есть: я бы и теперь не взялъ ихъ, на людяхъ можно носить цвѣтокъ или купленный у садовника или полученный изъ любимой руки.

Madame Геймертъ задумалась немного и сказала сантиментально:

— Вы правы. Цвѣтокъ теперь что-то въ родѣ того, чѣмъ нѣкогда была перчатка у шлема.

Въ комитетскомъ залѣ было полно: мужчины и женщины въ придворныхъ костюмахъ эпохи Людовика XV разговаривали другъ съ другомъ, между ними вертѣлись другіе, которые помогали имъ одѣваться.

— Вы не принимаете участія въ живыхъ картинахъ?— спросилъ Рдзавичъ баронессу.

— Нѣтъ.

— Въ это время молодой рѣзкій женскій голосъ, выговаривая «р» по-французски, раздался около уха Рдзавича:

— Какъ здѣсь жарко, можетъ ударъ случиться!



Madame Посяновская, приколите себѣ платье, а то оно съѣдетъ.

— Vous dites, princesse? — воскликнула съ ангельской улыбкой, почти подбѣгая, madame Посяновская.

— Это княгиня Заславская, ужасная чудачка, а эта барышня возлѣ—ея сестра, княжна Изабелла, — объяснила Рдзавичу баронесса.

— Шлейфъ вашъ тянется, — продолжала княгиня. — Уфъ, какъ жарко, madame Браунбергеръ, нѣтъ ли здѣсь гдѣ-нибудь воды или лимонада?

— Если прикажете, княгиня, я велю подать! — вспорхнула madame Посяновская.

— Я уже приказала, — опередила ее madame Браунбергеръ.

— Спасибо.

— Mais vous vous fatiguez trop, princesse, — говорила madame Посяновская.

— Vraiment, princesse, vous êtes si fatiguée, — не отставала madame Браунбергеръ.

— Нѣтъ, я только говорю, что здѣсь ударъ можетъ случиться отъ жары. Да гдѣ же, шутъ возьми, эта вода?

— Правда, гдѣ эта вода? — повторила madame Посяновская, глядя свысока на madame Браунбергеръ.

— Подаютъ уже, — отвѣчала madame Браунбергеръ, подсовывая къ носу madame Посяновской ухо со значительно бѣльшимъ брилліантомъ, чѣмъ у ней.

— Ахъ, дорогая баронесса! — сказала княгиня, замѣчая madame Геймертъ, — взгляните, какъ я выгля-



жу сзади? Кто этотъ господинъ? — спросила она, почти не понижая голоса, увидѣвъ Рдзавича.

— Панъ Романъ Рдзавичъ.

— Вы, кажется, играете?

— Нѣтъ. Я скульпторъ и художникъ.

— А, это хорошо. Сударь мой, у меня какъ-то прическа не совсѣмъ того, поправьте мнѣ.

— *Permettez, princesse,* — подскочила *madame* Посяновская.

— *Princesse, permettez,* — наклонилась *madame* Браунбергеръ.

— Спасибо вамъ, этотъ господинъ лучше сдѣлаетъ. Готово? Спасибо. Вы довольно ловки. Но вы не тотъ, который дѣлаетъ чучела птицъ? Та же фамилія. Вѣдь панъ Равичъ?

— Рдзавичъ.

— Ага, извините. Знаете, какія онъ чучела дѣлаетъ! Онъ какъ-то мнѣ чучело цапли сдѣлалъ... Какъ живая! Вы видѣли у меня, *madame* Посяновская?

— Ахъ, *admirable! Une merveille!* — воскликнула *madame* Посяновская, окидывая высокомернымъ взглядомъ *madame* Браунбергеръ, не бывавшую, повидимому, у княгини. *Madame* Браунбергеръ, хватаясь за послѣднее средство, чувствуя, что ее побѣждаютъ, затрясла подъ носомъ у *madame* Посяновской брилліантовой діадемой; у Посяновской на головѣ былъ какой-то илохонькій полумѣсяцъ и то съ фальшивыми камнями. Княжна продолжала:

— Знаете, панъ Равичъ, какъ этотъ Рдзавичъ пре-



лестно набиваетъ чучела, пріятно смотрѣть. Mais tiens! Морскій! Смотри, Иза. Здравствуйте, какъ вы сюда попали?

— Здравствуйте, княгиня. Кого мы набиваемъ? — сказалъ Морскій, подходя къ ней.

— Кто васъ пустилъ? Сюда имѣютъ право входить только члены комитета! — спросила княжна Изабелла.

— Вѣдь это у насъ, у насъ, mademoiselle Bella. Я сказалъ кому-то при входѣ, что я Морскій, и сейчасъ же двери такъ открыли, что я боялся, что мнѣ носъ ушибутъ. Панъ Рдзавичъ, представьте меня баронессѣ — обратился онъ къ Рдзавичу. — Я интересовался — продолжалъ онъ, обращаясь къ княгинѣ, — сильно ли вы измѣнились съ тѣхъ поръ, какъ я васъ видѣлъ, но вижу, что вы та же.

— И вы такъ же «симпатичны», — отвѣтила ему княжна Изабелла.

Баронесса Геймертъ познакомила Рдзавича съ присутствующими: дамы изъ буржуазіи здоровались съ нимъ привѣтливо, дамы изъ аристократіи — съ холодной вѣжливостью или чрезвычайно корректно и съ комплеменстами, зато дамы изъ полуаристократіи и четверть аристократіи еле кивали ему головой. Мужчины приняли его со скрываемымъ недружелюбіемъ, въ особенности трое его коллегъ, живописцевъ, приглашенныхъ принять участіе въ устройствѣ живыхъ картинъ. Живописцевъ этихъ Рдзавичъ зналъ давно: первый толстякъ, посредственный художникъ, «blagueur» и рекламистъ худшаго сорта, старался подкупить такъ называемую



«интеллигенцію» большими картинами, рассчитанными на дешевый эффект, и всегда достигалъ цѣли. Его обожали за его идеализмъ, патриотизмъ и религіозность, которыми онъ орудовалъ и изъ которыхъ сдѣлалъ себѣ блестящій костюмъ, думая, что нечего искать глупцовъ, если они сами родятся, и что полотно такъ же терпѣливо, какъ бумага... Но «генію» было, однако, мало однихъ художественныхъ лавровъ, ему захотѣлось и славы поэта; онъ издалъ первый томъ стиховъ, въ которыхъ сравнивалъ себя съ Давидомъ, львомъ, гіацинтомъ и орломъ. Последнее сравненіе ему не удалось; въ стихѣ: «я, подобный орлу, вознесенъ къ небесамъ» — по недосмотру корректора, было напечатано: «я, подобный ослу, вознесенъ къ небесамъ»; кто-то это подчеркнул и послалъ автору съ надписью карандашомъ: «ты правъ, поэтъ».

Второй — худой, высокій и выцветшій, писалъ чашоточныхъ барышень, голубыя деревья, одѣвался всегда во все черное, носилъ при часахъ брелокъ-черепъ на черномъ шнуркѣ, а въ бутоньеркѣ — увядшія туберозы съ «трупнымъ запахомъ», пилъ абсентъ и готовъ былъ драться, если кто-нибудь не соглашался съ нимъ, что онъ неврастеникъ и что ему грозитъ сумасшествіе. Его обожали барышни и очень молодые поэты.

Особенностью третьяго были золотыя запонки на манжетахъ. На одной золотая подковка съ бриллиантами, на другой — золотая тросточка также съ бриллиантомъ и золотая удочка; онъ бралъ свои темы изъ спортивной жизни, кромѣ того, всегда имѣлъ при себѣ



photographies obscènes и прекрасно свистѣлъ. Благодаря своему жанру и этимъ двумъ способностямъ, онъ былъ вездѣ принятъ и по временамъ показывалъ мужчинамъ свои фотографіи, а дамамъ свистѣлъ, по временамъ наоборотъ. Если онъ случайно забывалъ свои фотографіи или не хотѣлъ свистѣть, то ему говорили: «зачѣмъ же ты пришелъ, любезный!» Княгинѣ Заславской онъ прелестно нарисовалъ щегленка на стеклѣ, за что и получилъ отъ нея свои запонки.

Наконецъ, четвертый, помогавшій въ группировкѣ картины, принимавшій въ ней и самъ участіе въ костюмѣ маркиза, былъ такъ же знакомъ съ Рдзавичемъ; это былъ молодой аристократъ, очень блѣдный, въ необыкновенно высокомъ воротничкѣ съ нарочно полуразвязаннымъ галстукомъ и съ нарочно растрепанными волосами à la poète, которому все равно, знаютъ ли его; онъ былъ вѣчно съ Musset въ карманѣ; онъ носилъ, никогда не снимая, черное кольцо съ алмазомъ. Ему нельзя было сдѣлать большаго удовольствія, какъ характеризовать его изъ Ролли: Jacques était grande loyal, intrépide et superbe; онъ записывалъ у дамъ на вѣерахъ: j'aime et pour un baiser je donne mon génie, или le bonheur suprême, après qu'on a vaincu, c'est d'avoir désarmé — а въ альбомы записывалъ всю послѣднюю строфу изъ «Намуны». Дамы изъ аристократіи, его кузины и знакомыя, скучали съ нимъ, но о немъ мечтали «муссетистки» изъ интеллигенціи, въ особен-



ности тѣ, у которыхъ были благія пожеланія быть «vaincues».

«Въ хорошую компанію я попалъ!» — думалъ Рдзавичъ, которому не оставалось ничего лучшаго, какъ вмѣстѣ съ четырьмя коллегами заняться за спущенной занавѣсью на эстрадѣ устройствомъ менуэта. Онъ замѣтилъ, что съ нимъ обращаются не какъ съ художникомъ, а какъ съ парикмахеромъ, обойщикомъ, сапожникомъ, портнымъ, танцмейстеромъ. Онъ былъ такъ сердитъ, что когда madame Посяновская пристала къ нему, чтобъ онъ ее поставилъ ближе къ княгинѣ Заславской, онъ отвѣтилъ ей, что въ менуэтѣ не было принято носить за княгинями хвостовъ. Это услышала madame Браунбергерь и сейчасъ же пригласила его къ себѣ на журфиксъ въ пятницу. Княгиня, стоявшая въ позѣ, много разговаривала съ нимъ «объ этомъ добродушномъ Людовикѣ XV, который говорилъ l'état c'est moi и, однако, хотѣлъ, чтобы каждый изъ его подданныхъ могъ ежедневно кушать курицу». Несмотря на все, она одна со своимъ сухимъ профилемъ, маленькими ножками и изящнымъ тѣлосложеніемъ, походила на даму двора Людовика XV. Другія дамы походили скорѣе на ихъ горничныхъ, или на горничныхъ ихъ горничныхъ.

— Породистая и славная бабенка, только ужасно глупа, — шепнулъ Рдзавичу Морскій, глядя на княгиню изъ дверей комитетскаго зала. — Во всякомъ случаѣ она лучше тети Фемци Вычевской, которая слышитъ,



какъ растеть трава, и продаетъ родного отца. Душа ея — время испанской инквизиціи.

Баронесса Геймертъ, сидѣвшая въ креслѣ, выказала во время приготовленія къ картинамъ много вкуса и знанія; она старалась сдѣлать Рдзавичу возможно болѣе пріятнымъ пребываніе въ незнакомомъ ему во всѣхъ отношеніяхъ обществѣ; тѣмъ не менѣе онъ былъ сердитъ и даже не старался этого скрывать. Ему было жаль Эли, и его тянуло къ ней гораздо больше, чѣмъ онъ могъ думать; уходя отъ нея, онъ злился, что оставилъ ее тамъ одну въ толпѣ, что, можетъ быть, люди на нее слишкомъ много смотрятъ или что, можетъ быть, къ ней подошли знакомые мужчины. Ему все казалось, что возлѣ нея стоитъ молодой блондинъ, который ей очень нравится. Его сердилъ также Коваль, этотъ Коваль со своимъ вѣчнымъ спокойствіемъ и славою ученаго. «Слава Коваля! — улыбался онъ презрительно. — Кто его знаетъ? Пятьдесятъ, шестьдесятъ человѣкъ...» И онъ снова презрительно улыбнулся, чувствуя, что онъ это дѣлаетъ противъ убѣжденія и что слава Коваля стоитъ болѣе его славы, такъ какъ каждый изъ этихъ пятидесяти или шестидесяти людей, которые знаютъ что-нибудь о Ковалѣ, — люди, мнѣніе которыхъ стоитъ очень много, а его собственная слава — слава арлекина. Именно такой является въ малокультурныхъ обществахъ слава артиста. «Я со своими «Центаврами» и «Вампиромъ» принужденъ ставить бабъ въ позы, а онъ со своимъ микроскопомъ и коллекціями спокойно сидитъ себѣ и разговариваетъ съ Элей». И



снова ему захотѣлось крикнуть: «она моя!..» и кричать: «люблю!..», если слово это необходимо добавить къ словамъ: «она моя». Въ немъ проснулся какой-то завоевательный инстинктъ: ему хотѣлось бѣжать, впиться въ Элю пальцами такъ, чтобъ они обагрились ея кровью; ему хотѣлось прижимать ее къ себѣ всю дрожащую и извивающуюся отъ боли, онъ хотѣлъ, чтобы она стремилась къ нему, увлеченная страстной жаждой и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вырываясь отъ муки. Онъ не хотѣлъ думать этого слова, онъ чувствовалъ, что между нимъ и этимъ словомъ стоитъ какая-то стѣна, но упивался словомъ: «люблю, люблю...»

Между тѣмъ, баронесса Геймертъ рассказывала ему о своей галлерей и просила его сказать, настоящій ли ея Рубенсъ; если нѣтъ, то копія превосходна. Онъ обѣщаль, что будетъ у нея въ пятницу, забывая, что обѣщаль уже въ тотъ же день и въ тотъ же часъ быть у madame Браунбергеръ; не дождавшись третьей картины, онъ быстро вышелъ въ залъ. Онъ порывисто пошелъ въ ту сторону, гдѣ надѣялся найти Пшервицовъ и Элю, не зная, какой бѣсъ его туда такъ тянетъ, и думая, что, пожалуй, онъ дѣйствительно готовъ влюбиться. Онъ отгонялъ отъ себя образъ Маріи, и ему казалось, что въ немъ растетъ вражда къ ней.

— Тогда я не туда попалъ и баста, — говорилъ онъ мысленно, — а теперь, пожалуй, попаду лучше. Я хочу любить, мнѣ нужна любовь, я хочу быть любимымъ, и ты меня будешь любить, моя Эля. Моя, моя! — повторялъ онъ и ласкалъ это слово. Онъ рѣшился. То было



чѣмъ-то ненормальнымъ, страннымъ, съ самаго начала обреченнымъ на дурной конецъ. Здѣсь же, если только Эля его не оттолкнетъ (что она его не оттолкнетъ, говорятъ ей глаза и madame Пшервицъ), онъ будетъ ухаживать за нею самымъ нормальнымъ и формальнымъ образомъ, какъ дѣлаютъ порядочные люди, объяснится съ ней, потомъ будетъ просить у отца ея руки; обрученіе, официальное обрученіе (есть обычаи, которые надо уважать), будетъ у Пшервицевъ, или всѣ поѣдутъ къ Росенскимъ въ деревню. Тенжель также. Ахъ, какъ комиченъ онъ будетъ во фракѣ съ бѣлымъ цвѣткомъ! Онъ можетъ влюбиться въ Миньонъ, а онъ ему тогда посоветуетъ: «Тенжель, тебѣ надо выкрасить волосы, ты долженъ быть брюнетомъ»; онъ выгѣнитъ портретъ madame Росенской въ терракотѣ, будетъ исповѣдываться передъ вѣнчаніемъ и вмѣстѣ съ Элей будетъ поститься по пятницамъ для примѣра... Въ это время онъ увидѣлъ Пшервицовъ, Росенскихъ и Ковалю; они стояли налѣво отъ прохода. Онъ весело подошелъ къ нимъ и издали, не обращая вниманія на чужихъ, закричалъ:

— Ахъ! Наконецъ, мнѣ удалось вырваться. Мнѣ такъ хотѣлось къ вамъ. Чтобъ ихъ тамъ! Я думалъ, что не выдержу. Къ тому же баронесса стала пилить меня Рубенсомъ, я даже не знаю, что я ей отвѣчалъ...

— Разскажите намъ, по крайней мѣрѣ, что вы тамъ видѣли, — сказала Биша.

Но Рдзавичъ прежде всего утонулъ въ глазахъ Эли; при его приближеніи они поднялись на него, большіе,



глубокіе, и сказали ему что-то такое, отъ чего блѣдное лицо ея озарилось яркимъ румянцемъ. Коваль разговаривалъ съ Лаурой, Эля стояла одна, и Рдзавичъ отлично видѣлъ, что что-то свѣтлое мелькнуло на ея лицѣ, когда онъ къ ней подходилъ.

Итакъ — она его не оттолкнетъ.

— Панна Эля, — сказалъ онъ ей такимъ тономъ, словно короткое разстояніе между ними, Богъ знаетъ, какъ ихъ сблизило, — Эля, я даже не зналъ... — онъ замолкъ и подумалъ, не будетъ ли то, что онъ хочетъ сказать, слишкомъ смѣлымъ, но потомъ махнулъ рукой, ободрился, не найдя близъ Эли никакого блондина, и кончилъ: — я даже не зналъ, что такъ страшно буду спѣшить къ вамъ.

— Вы очень любите Лауру, правда? — спросила Эля.

— Очень, а теперь больше, чѣмъ когда-либо.

— Отчего?

— Если я буду счастливъ, то только благодаря ей.

Поняла ли Эля, что онъ хотѣлъ этимъ сказать, онъ не зналъ, но она отвѣчала:

— Я бы очень хотѣла, чтобъ вы были счастливы.

— А если бы надо было положить еще только одинъ кирпичъ, чтобы построить зданіе моего счастья, вы бы положили его? — спросилъ онъ, чувствуя, что у него дрожить голосъ.

— Да, — отвѣчала Эля, опуская глаза.

— Оттого что вы добры и сдѣлали бы это для каждаго?



Вѣки Эли упали еще ниже, и губы, тѣ губы, которыя громко кричали: «жажду»!.., тоже задрожали, какъ дрожалъ его голосъ. Тогда онъ почувствовалъ, что имъ овладѣваетъ странное волненіе и вмѣстѣ съ тѣмъ смѣлость. Пользуясь тѣмъ, что платья Биши и Лауры закрывали ихъ, онъ незамѣтнымъ движеніемъ схватилъ ея опущенную руку и сжалъ ее робко, но страстно.

Къ лицу Росенской прилила волна крови, и она хотѣла было вырвать руку, но онъ держалъ ее, а потомъ рука эта безсильно повисла въ его рукѣ. Онъ пустилъ ее и взглянулъ на Элю: на лицѣ ея не было видно ни возмущенія, ни гнѣва, виденъ былъ только страстный, только что проснувшійся стыдъ... Рдзавичу стало неприятно. «Она уже не та, что была» — подумалъ онъ, испытывая такое ощущеніе, словно онъ что-то испортилъ, разбилъ. Онъ искалъ ея глазъ; наконецъ, Эля словно въ гипнозѣ подняла ихъ на него: они были полны грусти, волненія, были влажны отъ слезъ, но не отталкивали; наоборотъ, они какъ бы всю ее ему отдавали. Рдзавичъ понялъ, что эта дѣвушка вѣритъ, что взять такъ за руку женщину можетъ только мужчина, который ее любитъ, и что женщина, позволившая задержать свою руку въ рукѣ мужчины, должна быть и будетъ его. Святое мое дитя, — думалъ онъ, чувствуя, что словно цвѣтокъ распускался въ его рукѣ. Онъ не чувствовалъ въ эту минуту къ Элѣ ничего, кромѣ громадной симпатіи и доброжелательства, а также громадный, святой, рыцарскій долгъ; самъ онъ испытывалъ какое-то безмѣрное блаженство. Святое мое



дитя—повторялъ онъ мысленно,—ангелъ ты мой, бѣд-  
ненькая ты моя, моя ты, ты... за одну твою руку я го-  
товъ отдать жизнь!.. Онъ чувствовалъ, что сказать  
что-нибудь въ такую минуту было бы святотатствомъ;  
онъ молчалъ, она же подъ вліяніемъ его взгляда какъ  
бы слегка склонялась къ нему, онъ чувствовалъ, что  
она его...

Вдругъ онъ замѣтилъ, что Лаура, которая какъ разъ  
обернулась къ подходившему Морскому, сильно покрас-  
нѣла, а Морскій спросилъ ее:

— Что за прелестная дѣвушка! Кто это?

Онъ обернулся: шагахъ въ восьми или десяти отъ  
себя онъ увидѣлъ Божевскаго съ Пожелской, возлѣ  
нихъ Кололяскаго, Стжелискую и Марію. Въ глазахъ  
у него потемнѣло, дыханіе остановилось, а въ мозгу,  
какъ въ бездонной черной пропасти, сверкали пламен-  
ныя молніи. — Это она!.. Марія... моя невѣста... она...  
я ея такъ давно не видалъ... это она...

Онъ не зналъ, отчего онъ не падаетъ и отчего все  
кругомъ не проваливается куда-то... Когда онъ открылъ  
глаза или когда онъ снова сталъ видѣть, — онъ не  
могъ дать себѣ въ этомъ отчета, — онъ увидѣлъ, что  
Марія стоитъ къ нему бокомъ, не замѣчая его, и, живо  
жестикულიруя, кокетливо разговариваетъ съ Кололяс-  
скимъ, поглядывая въ то же время на Божевскаго;  
немного дальше стояло двое брюнетовъ изъ ея «лейбъ-  
гвардіи».

Онъ самъ не понималъ, какъ быстро промчался  
взглядъ его по лицу Маріи. Въ одну секунду онъ за-



мѣтилъ, что у нея тѣ же шелковые, густые, темнорусые волосы, та же высокая прическа; то же продолговатое маленькое личико съ матовымъ румянцемъ, съ большими продолговатыми, темно-синими глазами съ золотистымъ блескомъ; тотъ же прямой, тонкій, нѣжный, какъ у греческихъ статуй, носъ; тѣ же маленькія, узкія, удивительно правильныя губы, съ слегка приподнятой верхней; тотъ же короткій и классически закругленный подбородокъ; та же прелестная шея и тѣ же прелестныя плечи, та же неуловимая изящность движеній и тѣ же непреодолимыя чары...

— Это она!..

Тутъ глаза его встрѣтились съ глазами Стжелиской; она сначала подняла брови какъ бы съ удивленіемъ, а потомъ взглянула на него съ большимъ сочувствіемъ и кивнула ему головой грустно и серьезно; и въ это время Марія, интересуясь, по всей вѣроятности, кому кланяется Ядвига, обернулась и увидѣла его.

На лицѣ ея загорѣлся румянецъ, она вся вздрогнула и подалась тѣломъ назадъ. Сердце его, казалось, хотѣло прорвать грудь.

Они стояли другъ противъ друга, застигнутые врасплохъ, она, клявшаяся ему, что никогда его не броситъ, позволявшая ему прижимать ее къ груди, онъ, отвѣчавшій на клятвы клятвами, бравшій ея нежки въ свои руки и цѣловавшій ихъ, онъ, кому она должна была принадлежать навсегда. Онъ чувствовалъ, что слабѣетъ и что если онъ не овладѣетъ собой или не обопрется на что-нибудь, то упадетъ.



Морскій, не получивъ никакого отвѣта на свой вопросъ, понялъ, что здѣсь что-то происходитъ; онъ поглядѣлъ на всѣхъ и удивился: Лаура покраснѣла такъ, словно вся кровь ея прилила къ головѣ, Пшервицъ и Биша были смущены, Рдзавичъ, блѣдный, какъ мертвецъ, производилъ впечатлѣніе челоуѣка, которому секунду тому назадъ сказали, что онъ приговоренъ къ смерти. Морскій удивился еще болѣе и взглянулъ на Росенскаго и барышень, которыя тоже замѣтили, что здѣсь что-то неладно, и тоже ничего не понимали; наконецъ, замѣтивъ, что прелестная барышня и бывшія съ нею дамы смутились, онъ понялъ, что здѣсь кто-то съ кѣмъ-то встрѣтился некстати, — легко было догадаться, что это были Рдзавичъ и эта прелестная барышня.

Вдругъ она быстро отвернулась, взяла подъ руку пожилую даму, разговаривавшую съ красивымъ высокимъ блондиномъ съ большими усами, и быстро пошла въ противоположную сторону, а за ней пошло остальное общество: высокая тонкая барышня, высокій красивый блондинъ, другой блондинъ постарше, довольно полный, и двое молодыхъ брюнетовъ. Прелестная барышня шла къ эстрадѣ, все дальше, такъ быстро, словно она убѣгала. Издали видѣлъ Морскій ея голову съ бѣлыми цвѣтами, а возлѣ нея красиво причесанную голову высокаго блондина.

— Qu'est ce? — подумалъ онъ.

Вдругъ Рдзавичъ сталъ еще блѣднѣе, чѣмъ прежде, и, не говоря никому ни слова, повернулся и пошелъ



такъ, словно каждый шагъ стоилъ ему сильнаго нервнаго напряженія. Онъ пошелъ въ сторону буфета и исчезъ въ дверяхъ.

Лаура взглянула на Пшервица и на Бишу испуганными глазами, а Рузя сказала:

— Должно быть, пану Рдзавичу дурно. Можетъ быть, у него разболѣлась голова.

Биша, увидѣвъ вопросительный и удивленный взглядъ Морскаго, сказала ему вполголоса:

— Рдзавичъ встрѣтился со своей прежней невѣстой, которая его бросила. Лаура была увѣрена, что ея нѣтъ въ Варшавѣ. Ужасно нехорошо, что это случилось.

— Кто это? — спросилъ тоже вполголоса Морскій.

— Марія Тыжвецкая.

Лаура глядѣла испуганными глазами то на мужа, то на сестру, словно ожидая отъ нихъ совѣта, и, наконецъ, сказала:

— Куда онъ пошелъ? Юрій, иди за нимъ...

— Нѣтъ, лучше всего оставить его одного, — отвѣтилъ Пшервиць. — Можетъ быть, ему хочется уѣхать съ раута.

— Эля, отчего ты такъ блѣдна? — тихо спросилъ Морскій старшую Росенскую, замѣтивъ, что съ ней что-то происходитъ.

— Ничего, — отвѣчала она, стараясь овладѣть собою и улыбнуться.

— Ты устала, уже поздно, вы лучше всего сдѣлаете, если поѣдете домой, — говорилъ Морскій.

— Нѣтъ, лучше останемся...



— Нѣтъ, дѣйствительно, поѣдемъ, я самъ усталъ, — сказала Росенскій, которому Биша шепнула, чтобы онъ увезъ дѣвушекъ. — Ничего уже не будетъ, и рауть сейчасъ кончится.

— Ужасъ! — шепнула Лаура сестрѣ. — Я тоже ухожу! Развѣ можно было предвидѣть? Я думаю, что это только первое впечатлѣніе было такъ сильно... Я никогда себѣ не прощу, я во всемъ виновата... Если бѣ я его не уговаривала, онъ бы не пріѣхалъ... Надо же было именно теперь... Я, однако, увѣрена, что это только первое впечатлѣніе...

Рдзавичъ пошелъ въ буфетъ, лишь бы куда-нибудь пойти, только бы уйти съ глазъ и быть одному. Виски его и губы засохли. Онъ чувствовалъ жаръ и вмѣстѣ съ тѣмъ дрожалъ отъ холода. У него было то же ощущение, какъ въ первыя минуты послѣ разрыва: все рухнуло вокругъ, и онъ самъ провалился въ какую-то пропасть.

Онъ сидѣлъ, опершись головой на руки, забывъ, гдѣ онъ; очнулся онъ только тогда, когда гарсонъ спросилъ его, что подать. Онъ старался что-то сообразить, овладѣть собою, связать мысли, такъ беспорядочно кружившіяся въ его головѣ, словно мозгъ его разлетѣлся на части.

— Увидѣть ее!.. Еще разъ ее увидѣть!.. Это она!..

Онъ хотѣлъ встать, но снова сѣлъ: у него нехватило смѣлости, онъ боялся самъ себя, боялся впечатлѣнія, которое его ожидало. Онъ просидѣлъ еще ми-



пугу, въ немъ все росло желаніе увидѣть ее. Еще разъ увидѣть ее!...

Впрочемъ, если она такъ смутилась, увидѣвъ его, то, значитъ, она не забыла, она помнитъ... Такое прошлое трудно забыть, такихъ минутъ не забываютъ... Она должна чувствовать себя связанной съ нимъ навсегда... Можетъ быть, завтра она дастъ ему знать, что она хочетъ его видѣть, что хочетъ, чтобъ онъ вернулся къ ней... Можетъ быть, эта встрѣча была необходима, чтобы воскресло все, что умерло. Она тамъ! Она!.. Она!.. Она!..

Онъ вошелъ въ залъ; довольно долго ему пришлось блуждать въ толпѣ, пока, наконецъ, онъ не увидѣлъ Марію недалеко отъ эстрады, въ томъ же самомъ обществѣ. Какой-то молодой человекъ стоялъ передъ нею, а она разговаривала съ нимъ такъ, словно хотѣла его взять себѣ навсегда, и онъ прямо тонулъ въ ней, увлеченный неотразимыми чарами этой женщины. Рдзавичъ чувствовалъ, какъ углы его губъ стягиваются внизъ, внутрь, и онъ шелъ, не обращая вниманія ни на что, не видя взглядовъ Пожельской и Стжелиской. Марія увидѣла его, но ни во взглядѣ ея, ни въ глазахъ не отразилось уже никакого впечатлѣнія; она продолжала говорить, не глядя въ его сторону. Тогда онъ почувствовалъ боль, словно хищная птица впиалась когтями въ его сердце; губы его задрожали... «Я не существую уже для нея!» Онъ вышелъ изъ зала почти въ безпамятствѣ.

Онъ одѣлся, вышелъ на улицу и сѣлъ на извоз-



чика, совсѣмъ не сознавая, что онъ дѣлаетъ, — онъ не думалъ ни о чемъ, онъ ничего не чувствовалъ. Погрузился въ мракъ.

Неожиданно онъ сѣѣтился у воротъ своего дома. Вошелъ не въ квартиру, а въ мастерскую, и зажегъ всѣ лампы и свѣчи, какія тамъ были. Мастерская залилась свѣтомъ, падавшимъ на памятникъ Древскаго, на «Отравительницу», на этюдъ къ «Вампиру», на «Покинутого», — все это было лицевой стороной къ Рдзавичу. Онъ бросилъ шапоклякъ на полъ и отбросилъ его ногой въ уголъ комнаты, сбросилъ на полъ пальто и поднялъ кулаки. Страшный гнѣвъ, ужасное желаніе мести, страшное возмущеніе и ощущеніе собственной силы овладѣли имъ. Изъ-за сжатыхъ зубовъ на губахъ его выступила пѣна, грудь дышала порывисто и громко. Онъ схватилъ со стѣны портретъ Маріи, бросилъ его на землю и ударилъ ногой. Въ головѣ его шумѣло и гудѣло, онъ чувствовалъ, что что-то ужасное родитъ въ немъ гнѣвъ и жажду мести.

Вдругъ словно крылья выросли у него за плечами и распростерлись надъ головой... Онъ схватилъ блейтрамъ съ только что наклееннымъ картономъ, поставилъ его на подставку и сталъ чертить. Подъ его рукой формы росли съ неимовѣрной быстротой. На землѣ лежалъ мужчина въ плащѣ съ закрытымъ лицомъ, какъ въ «Вампирѣ». Надъ нимъ стояла женщина, опираясь одной ногой на его грудь, выставивъ другую немного впередъ и обѣими руками открывая свое нагое тѣло, — вызывающимъ движеніемъ куртизанки она гово-



рила: впередъ! впередъ!.. Лицо ея было лицомъ Маріи, оно было нарисовано на память и сдѣлано такъ, какъ въ галлюцинаціи, и такъ похоже, какъ валявшійся на землѣ портретъ. Внизу онъ начерталъ большими буквами:

### АНГЕЛЪ СМЕРТИ.

Потомъ онъ почувствовалъ что-то, чего до сихъ поръ не ощущалъ: онъ совсѣмъ потерялъ сознаніе, но не такъ, какъ его теряютъ подъ вліяніемъ чего-нибудь ужаснаго, а такъ, словно мозгъ его совсѣмъ пересталъ существовать; онъ вздрогнулъ и испугался: въ этомъ обморокѣ мозга было что-то ужасное, предвѣстникъ чего-то страшнаго, похожаго на живую смерть, на смерть души въ живомъ тѣлѣ. Измученный, обезсиленный, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ какимъ-то дикимъ торжествомъ онъ упалъ на диванъ.

Передъ его глазами было лицо Эли Росенской съ большими, глубокими, грустными глазами подъ громадными рѣсницами, съ вишневыми губами, зовущими: «жажду...» Онъ презрительно разсмѣялся, опустилъ руки и закрылъ глаза.

### V.

Рдзавичу казалось, будто какой-то громадный колоколь бьетъ въ пространствѣ, а послѣ cadaго звука этого набата словно громадный мѣдный щитъ лопається отъ удара тяжелаго молота. Кругомъ царила тьма, гдѣ-



то внизу шумѣло море, шумѣло глухо, но такъ могуче, словно весь океанъ вышелъ изъ береговъ. Въ этой тьмѣ, среди этого глухого и темнаго шума онъ шелъ вверхъ по стекляннымъ голубымъ ступенямъ, какими-то извилинами, но все выше и выше. За нимъ осталось все; землю онъ отряхнулъ отъ себя, она упала, какъ прахъ. Онъ чувствовалъ себя духомъ и стремился все выше и выше... Вдругъ ступени куда-то исчезли, и подъ ногами у него образовалась пустота. Раздался послѣдній громъ колокола, шумъ океана затихъ, а онъ провалился въ темное пространство, въ пропасть безъ дна и конца. На лету онъ протягивалъ руки, чтобъ ухватиться за что-нибудь или опереться, но всюду встрѣчалъ одну пустоту. Онъ чувствовалъ, что не летитъ ни вверхъ, ни внизъ, — онъ летитъ въ безконечность. Имъ овладѣло отчаяніе, онъ чувствовалъ, что лучше разбить голову о скалы или утонуть въ океанѣ, чѣмъ летѣть такъ въ безконечность, которой не можетъ вынести его человѣческая природа. Чувство того, что его окружаетъ что-то противное его человѣческой природѣ, было хуже страха. Онъ сталъ махать руками, какъ утопающій, и кричалъ въ отчаяніи: «Границъ! Берега! Границъ!»

Вдругъ онъ почувствовалъ, что коснулся лбомъ чего-то мягкаго, теплаго; онъ взглянулъ, свѣтъ ударилъ въ его глаза, а въ блескѣ этого свѣта онъ увидѣлъ знакомое женское лицо; онъ почувствовалъ женскую руку на своей головѣ.

Потомъ какой-то голосъ почти шопотомъ спросилъ его:



— Вы меня узнаете?

У него мелькнуло слово: «Геймертъ». Онъ зашевелилъ губами, и снова кругомъ воцарилась тьма, въ которой онъ ничего не видѣлъ и не чувствовалъ.

Спустя нѣкоторое время, онъ снова увидѣлъ свѣтъ, солнце въ стеклахъ оконъ, а далѣе зеленые деревья.

— Паркъ, — сказалъ онъ.

— Паркъ, — повторилъ за нимъ тотъ же голосъ.

Онъ старался собрать свои мысли. Сначала онъ сталъ различать отдѣльныя вѣтки, которыя видѣлъ въ окно, потомъ положеніе стеколъ въ окнахъ, наконецъ, онъ узналъ, что лежитъ въ своей мастерской, наконецъ, онъ увидѣлъ людей. Онъ напрягъ глаза и различилъ ихъ: madame Пшервицъ, баронесса Геймертъ и Тенжель. Они сидѣли къ нему бокомъ и не могли замѣтить, что у него открыты глаза. Madame Пшервицъ вышивала что-то на канвѣ, баронесса читала книгу, а Тенжель ковырялъ карандашомъ въ рамѣ окна. Рдзавичъ почувствовалъ въ себѣ какую-то силу и радость, онъ обрадовался, что видитъ Лауру и Тенжеля, даже тому, что видитъ баронессу, и удивлялся, какъ эти женщины попали сюда, въ его мастерскую, а потомъ, какимъ образомъ сюда попала кровать изъ его комнаты и почему онъ самъ лежитъ на ней? Онъ не могъ ничего понять и чувствовалъ, что его голова тяжела, какъ послѣ крѣпкаго вина. Онъ подумалъ, что все это ему, вѣроятно, снится. Но нѣтъ. Когда онъ сказалъ вполголоса: «пани Лаура», — она вскочила и обернулась къ нему со свѣтлымъ лицомъ, и въ то же время оберну-



лись къ нему и остальные. Минуту всё на него глядѣли влажными глазами, а потомъ подошли къ кровати.

— Ты узнаешь насъ? — спросилъ Теижель дрожащимъ отъ волненія голосомъ.

— Вы узнаете насъ? — повторила Madame Геймертъ съ доброю улыбкой.

— Да, правда? Слава Богу! — сказала Лаура. Рдзавичъ удивился, отчего бы ему ихъ не узнавать и отчего они спрашиваютъ объ этомъ; онъ спросилъ:

— Что случилось?

— Вы были больны, — отвѣчала Лаура. — Но не утомляйтесь разговоромъ.

Онъ, однако, чувствовалъ себя сильнымъ, онъ не былъ только въ состояніи связать мысли, вспомнить и понять, что случилось... Больше всего его удивляло, что деревья зелены, когда они должны быть еще безъ листьевъ. Если деревья успѣли покрыться зеленью, то онъ стало быть долго хворалъ. Онъ совсѣмъ не могъ припомнить начала своей болѣзни, онъ не помнилъ, чтобъ заболѣлъ такъ, что вынужденъ былъ лечь въ постель и что кровать съ нимъ или для него переносили изъ его квартиры въ мастерскую. Что съ нимъ случилось и когда?

— Я былъ боленъ? — повторилъ онъ.

— Да.

— Долго?

— Около четырехъ недѣль, — отвѣчала Лаура.

Онъ ужасно удивился.



— Четыре недѣли?! — повторилъ онъ. — Что же сомной было? Я ничего не знаю...

Онъ замѣтилъ, что *madame* Пшервицъ обмѣнялась съ баронессою вопросительнымъ взглядомъ, словно спрашивая, можно ли ему сказать; потомъ она отвѣтила:

— Нечему удивляться, что вы не знаете. У васъ былъ жаръ.

— Но чѣмъ я былъ боленъ?

— Отъ переутомленія, — сказала *madame* Геймертъ. — Вы слишкомъ много работали. Вы болѣли нервами. Но теперь все хорошо.

— Я думалъ, что съ тобой будетъ плохо, — сказалъ Тенжель, взявъ его руку въ свою широкую ладонь и пожалъ ее нѣжно и сердечно.

Рдзавичъ замѣтилъ, что его рука въ сравненіи съ рукой Тенжеля была странно блѣдна и худа.

— Но какъ же случилось, что я ничего не помню и ничего не видѣлъ? Когда я заболѣлъ?

— Вы не должны много говорить, это васъ утомляетъ, — сказала *madame* Геймертъ. — Потомъ понемногу мы вамъ все расскажемъ.

— Хорошо, потомъ понемногу вы мнѣ все расскажете, — повторилъ онъ, чувствуя, что ему легче думать чужими мыслями и что силы снова оставляютъ его.

Снова у него стало темнѣть въ глазахъ, и снова имъ стало овладѣвать безсиліе и слабость. Онъ проснулся ночью. Въ углу комнаты на столѣ горѣла лам-



па, въ креслѣ сидѣлъ Тенжель съ опущенной на грудь головой и спалъ или дремалъ, но былъ одѣтъ.

Рдзавичъ чувствовалъ себя теперь гораздо сильнѣе, чѣмъ прежде: онъ приподнялся, почти сѣлъ на кровати и крикнулъ:

— Тенжель!

Тенжель вздрогнулъ и пробормоталъ что-то сквозь зубы: «Окно, пошелъ!» или что-то въ этомъ родѣ, потомъ вдругъ широко открылъ глаза и спросилъ: — Что? что?

— Ты спалъ?

— Да, кажется... немножко уснулъ. Извини. Какъ ты себя чувствуешь? Надо тебѣ чего-нибудь?

— Нѣтъ, ничего. Теперь уже ночь?

— Ночь.

— Скажи мнѣ, правда ли это, что я боленъ четыре недѣли?

— Правда.

— А что же со мной было? Madame Геймертъ говорила, что я переутомился? Я вѣрно болѣлъ мозгомъ? Да?

Тенжель отрицательно потрясъ головою и сказалъ:

— Это правда, ты переутомился. Но теперь ты здоровъ, ну и ничего. Скоро встанешь.

Рдзавичъ задумался: онъ, по всей вѣроятности, болѣлъ мозгомъ, но ему не хотять этого сказать изъ опасенія испугать его. Онъ вздрогнулъ, ему вспомнилось, что въ ихъ семействѣ есть наследственная склонность къ душевнымъ болѣзнямъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ,



подъ вліяніемъ того, что онъ сознаеть это, у него въ головѣ совсѣмъ прояснилось, и онъ совершенно опомнился.

— Тенжель, — сказалъ онъ, — что ты скрываешь отъ меня? У меня было воспаленіе мозга, правда?

Тенжель немного замаялся и отвѣтилъ:

— Нѣтъ, что-то въ этомъ родѣ отъ переутомленія, но никакого воспаленія не было.

— Я былъ въ безпамятствѣ четыре недѣли?

— Не совсѣмъ, но это ничего: это со всякимъ можетъ случиться отъ утомленія.

Рдзавичъ вспомнилъ теперь все: онъ лѣпилъ «Ангела смерти» въ продолженіе трехъ недѣль слишкомъ съ неслыханнымъ напряженіемъ, какъ бы въ горячкѣ, не выходя почти совсѣмъ изъ дому и не видясь ни съ кѣмъ; во время работы онъ нѣсколько разъ терялъ сознаніе; по временамъ онъ чувствовалъ боль въ мозгу. Это, должно быть, было началомъ болѣзни. Какъ-то разъ, это была среда, въ началѣ апрѣля, съ нимъ сдѣлалось вдругъ странно дурно. Онъ легъ на диванѣ въ мастерской въ четвертомъ часу послѣ обѣда — и съ того времени онъ уже ничего не помнилъ.

— Тенжель! — сказалъ онъ.

— Что? — спросилъ Тенжель.

— Кто меня лѣчилъ?

— Краузъ и Магнушевскій.

— А кто бывалъ у меня, кромѣ тебя?

— Всѣ. Madame Пшервицъ, самъ Пшервицъ, madame Елизавета, всякій разъ какъ бывала въ Вар-



шавѣ, madame Геймертъ, Стославскій, Морскій, Лановскій...

— Лановскій, значить, пріѣхалъ изъ Флоренціи?

— Пріѣхалъ. Мильця приходила, Чемшинскій, но Окно надо было оставлять дома, а то каждый разъ, какъ онъ приходилъ, онъ сейчасъ же лѣзъ къ тебѣ, а когда его выталкивали за двери, онъ выль... Ну, и я...

— А какъ же попала сюда madame Геймертъ?

— Какъ только разнеслась вѣсть о твоей болѣзни, она сейчасъ пріѣхала и привезла Магнушевскаго; сначала былъ одинъ Краузъ. Это добрая женщина, она ухаживала за тобой, какъ сестра.

Рдзавичъ сталъ оглядываться по мастерской.

Картины были повернуты къ стѣнамъ, статуи прикрыты матеріями и драпировками, въ углу комнаты стояла большая картонная коробка, подъ которой, по всей вѣроятности, была глиняная модель «Ангела смерти».

— Это ты сдѣлалъ? — спросилъ онъ Тенжеля, указывая на коробку.

— Я.

Портрета Маріи на стѣнѣ онъ не искалъ. Онъ хорошо помнилъ, что заперъ его въ послѣднемъ ящикѣ комода, лицомъ внизъ. Ему ужасно хотѣлось взглянуть на него, спросить о Маріи, но ему было стыдно Тенжеля... Послѣ такой пощечины... Онъ живо вспомнилъ борьбу съ самимъ собою, когда онъ лѣпилъ «Ангела смерти».



Онъ кончилъ обѣ фигуры, но лица женщины не дѣлалъ. Сколько разъ онъ поднималъ руку, чтобы начать моделировать лицо, но рука его падала. Картонъ, на которомъ онъ нарисовалъ лицо Маріи, онъ на другой же день порвалъ и сжегъ. «Отравительницѣ» онъ рѣшилъ дать фантастическое лицо, въ «Вампирѣ» онъ его почти закрылъ волосами, въ «Покинутомъ» повернулъ женщину спиной, но здѣсь закрыть лица онъ не могъ, необходимо было его показать; фантастическаго лица онъ не могъ сдѣлать, не могъ сдѣлать и лица Маріи. Онъ помнилъ, какъ въ бѣшенномъ раздраженіи бросался на диванъ, словно въ судорогахъ, какъ онъ кидался, чтобъ всю свою работу сбросить на землю. Но всякій разъ онъ останавливался, очарованный своимъ собственнымъ произведеніемъ. Чудныя линии тѣла женщины, которыя онъ идеализировалъ съ Мильди такъ, какъ отгадывалъ ихъ у Маріи, очаровывали его, и онъ снова принужденъ былъ вызывать ихъ изъ небытія, опутанный ихъ зловѣщей красотой. Во время работы онъ запирался въ мастерской и не пускалъ въ нее никого, кромѣ натурщиковъ, Чемпинскаго и Тенжеля, которые кончали памятникъ Древскаго. На ихъ вопросы, что онъ дѣлаетъ, онъ отвѣчалъ, что не знаетъ еще, какъ назвать свою вещь, что это будетъ вещь совсѣмъ фантастическая. Тенжель, понимавшій отлично, что это продолженіе цикла, начатаго «Вампиромъ», ломалъ голову, какія черты дастъ Рдзавичъ этой женщинѣ и не закроетъ ли онъ лица ея драпировкой, что могло бы испортить весь эффектъ; Чемпинскій



боялся только, будетъ ли между лицомъ и головой этой женщины необходимая гармонія.

Въ продолженіе трехъ недѣль лѣпки Рдзавичъ не видалъ никого изъ знакомыхъ и никого не спрашивалъ о Маріи. Онъ не выходилъ изъ дому, чтобы не встрѣтить кого-нибудь или ее. Онъ былъ все время въ аномальномъ состояніи какого-то болѣзненнаго возбужденія, доходившаго почти до галлюцинацій, во время которыхъ онъ нѣсколько разъ почти терялъ сознаніе. Онъ чувствовалъ, что теряетъ силы, что что-то прямо валитъ его съ ногъ отъ утомленія и внутренняго жара; наконецъ, у него не хватило силъ бороться, онъ пролежалъ четыре недѣли. Теперь онъ вспомнилъ всю свою болѣзнь. Это было море хаотическихъ видѣній, ихъ было такъ много, что ему казалось, будто они его раздавятъ, какъ падающія на человѣка пирамиды, церкви, обелиски. Страшныя картины клубились и валились на него — красные отвратительные призраки, бѣлыя мраморныя башни, вампиры и мертвецы, великаны съ громадными лицами и страшныя чудовища съ птичьими головами, съ глазами, какъ карбункулы, съ крыльями, какъ у громадныхъ летучихъ мышей, на тонкихъ павлиньихъ ногахъ. Они пронзительно кричали и издавали запахъ гниющаго тѣла. На него падали отсѣченныя головы Медузы, и клубы змѣй на нихъ издыхали у него на лицѣ, — холодныя, скользкія, — къ нему приближались полусгнившіе мертвецы и прижимали свои гнилыя губы къ его губамъ.

Это была страшная сплошная мука, пока, наконецъ,



онъ не очнулся отъ послѣдней галлюцинаціи — отъ ощущенія безконечности.

— Спрашивалъ обо мнѣ кто-нибудь изъ города?

— Да, нѣсколько лицъ спрашивали письменно.

Рдзавичъ взглянулъ на письма и карточки, указанныя Тенжелемъ, и сердце его болѣзненно сжалось; онъ вспомнилъ свою болѣзнь въ Кленжѣ и тѣ записки, которыя приносила къ нему отъ Маріи Ядвига Стжелиска въ домикъ въ саду, въ которомъ его помѣстили. Разъ она писала: «Прошу не пить такъ много лимонада, это можетъ повредить, съѣшьте кусокъ бѣлаго мяса курицы». Въ другой разъ она писала: «Скоро вы придете? Бабушка очень хочетъ васъ видѣть». На другой день: «Мы вмѣстѣ съ бабушкой очень просимъ васъ не выходить слишкомъ рано, но бабушка говоритъ, что, если бы вы тепло одѣлись, то это вамъ не повредитъ. Мы пришлемъ вамъ завтра шубу дяди, ту большущую, выѣздную». Потомъ: «Этотъ пирожокъ въ серединѣ неудачный; сверху съ малиновымъ сокомъ; я для васъ пекла. Извините, что онъ такъ некрасивъ, но онъ такъ искривился только на сковородѣ; прежде онъ былъ красивъ, съ зубчатыми краями. Пожалуйста, скушайте его прежде другихъ, но если онъ невкусенъ, то не кушайте. Даже обязательно не кушайте, онъ можетъ повредить. Но мнѣ было бы очень пріятно, если бы вы его съѣли прежде другихъ. По крайней мѣрѣ, варенье».

Эти маленькія записочки онъ зналъ наизусть. Потомъ, по требованію семьи Маріи, когда ему возвратили его письма, онъ вернулъ ихъ вмѣстѣ съ ея письмами.



Теперь ему казалось, что всё эти записки и письма онъ помнить слово въ слово. Онъ сталъ ихъ вспоминать и повторять по очереди, вмѣстѣ съ числами, мучаясь, чтобы ни одной не пропустить и повторить слово въ слово. Это было его величайшее сокровище; послѣ Маріи онъ больше всего полюбилъ эти записочки и письма въ блѣдно-розовыхъ продолговатыхъ конвертахъ съ запахомъ геліотропа.

— Сонъ, сонъ, — говорилъ онъ про себя.

А Марія являлась въ его воображеніи и памяти по очереди въ своихъ свѣтлыхъ и темныхъ платьяхъ, въ самое разнообразное время дня и въ самыхъ разнообразныхъ позахъ; онъ припоминалъ ея слова, ея улыбки и взгляды, все, что онъ съ нею пережилъ, все, чѣмъ онъ жилъ отъ знакомства съ нею до минуты, когда онъ потерялъ сознание, четыре недѣли тому назадъ. «Навсегда, навсегда», — повторялъ онъ мысленно. И вдругъ въ этой боли въ немъ родилась мысль уничтожить эскизъ «Ангела смерти», и ему стало страшно, что, можетъ быть, кто-нибудь видѣлъ и, хотя лица и не было, догадался, кто эта женщина, топтавшая чело-вѣка и обнажившая свои ноги вызывающимъ движеніемъ куртизанки.

— Тенжель! — воскликнулъ онъ нервно. — Видѣлъ ли кто-нибудь мою послѣднюю работу?

— Нѣтъ; прежде чѣмъ мы тебя принесли изъ комнаты, гдѣ ты лежалъ, я накрылъ ее коробкой.

— Придвинь сюда и открой.

Тенжель пододвинулъ и снялъ коробку.



Рдзавичъ сталъ всматриваться въ свою работу. Постепенно изъ глазъ его исчезала идея, его стало очаровывать искусство. Онъ вникалъ въ подробности, искалъ ошибокъ, но не могъ ихъ найти.

— Слушай, — сказалъ онъ Тенжелю. — Это я сдѣлалъ?

— Какъ такъ: конечно, ты? — спросилъ съ удивленіемъ Тенжель?

— Миѣ кажется, что, если бы это сдѣлалъ эллинь, онъ бы не могъ сдѣлать лучше; правда?

— Ба! — сказалъ Тенжель съ убѣжденіемъ. — Самъ Миронъ былъ бы доволенъ.

— Чувствуешь ли ты здѣсь что-нибудь другое, кромѣ тѣла и матеріи? А прежде всего, видишь ли ты здѣсь работу?

Тенжель ничего не отвѣчалъ. Онъ смотрѣлъ на глину глазами знатока и поклонника искусства.

Рдзавичъ долго всматривался въ свою работу, наконецъ, сказалъ:

— Накрой это, поставь подальше. Миѣ кажется, что это сдѣлано грекомъ въ четвертомъ или въ пятомъ вѣкѣ до Рождества Христова, а не въ концѣ девятнадцатаго вѣка послѣ Рождества. Мы пошлемъ это въ Салонъ. Если тамъ будетъ лучшая статуя, я позволю себя повѣсить. Я пошлю все: «Діану», «Центавровъ», «Вампира», «Конгу», «Покинутого» и это. «Отравительницу» я отложу на время, а «Древскій» слишкомъ тяжелъ, и перевозка его слишкомъ дорого бы стоила. Если миѣ



не дадутъ большой золотой медали, то я не возьму больше въ руки ни глины, ни кисти.

— Тебѣ дадутъ орденъ «Почетнаго Легіона», — сказалъ Тенжель съ глубочайшимъ убѣжденіемъ.

— Ангела смерти» можно будетъ сейчасъ отлить въ гипсъ. Хорошо, что я его кончилъ. Я думалъ, что меня черти возьмутъ, но выдержалъ до послѣдняго удара.

— Это называется «Ангель смерти»? — спросилъ Тенжель, позволяя себѣ удивиться.

— Да... впрочемъ, можетъ быть, я еще иначе назову. Это, дѣйствительно, ничего не говоритъ... не говори, что я такъ назвалъ. Но это хорошо, правда?

— Ты получишь орденъ «Легіона», увидишь, — повторилъ, какъ прежде, Тенжель.

Выздоровленіе шло долго, и Рдзавичъ очень медленно приходилъ въ себя. Madame Пшервицъ и баронесса Геймертъ такъ за нимъ ухаживали, что онъ говорилъ имъ, что онѣ его избалуютъ. Въ особенности баронесса, которой позволяли это средства; она засыпала его цвѣтами, выписывала ему иллюстрированныя изданія за баснословныя деньги и читала ему по цѣлымъ часамъ. Она увѣряла его, что онъ дѣлаетъ ей большое одолженіе своей болѣзною, что у нея есть, по крайней мѣрѣ, о комъ думать и чѣмъ заняться. Рдзавичъ не хотѣлъ ей сдѣлать непріятности и не спрашивалъ ее о мужѣ; онъ узналъ, однако, что онъ два мѣсяца уже за границей: въ Лондонѣ, въ Гамбургѣ и въ



другихъ коммерческихъ пунктахъ Европы. Сама она ему казалась очень взбалмошной женщиной. Приходилъ также Лановскій, молодой двадцатилѣтній скульпторъ, пріѣхавшій изъ Италіи, красивый, стройный блондинъ съ сантиментальными глазами, всегда грустный и тихій, такъ что madame Геймертъ звала его «кипарисъ» или «нениофаръ». Онъ совсѣмъ влюбился въ Рдзавича, смотрѣлъ на него, какъ на радугу, и звалъ его «мастеръ». Ему казалось счастьемъ, если онъ могъ подать Рдзавичу умыться или чашку чаю. Образовался кружокъ, ежедневно по вечерамъ собиравшійся въ большой, специально обставленной для этого мастерской. Madame Геймертъ называла это «causerie romaines», отъ имени Рдзавича, по примѣру «Флорентійскихъ вечеровъ». Для Рдзавича время шло тихо и спокойно: не о чемъ было заботиться, не о чемъ было думать. Руки волшебницъ, Лауры и баронессы Геймертъ, — говорилъ онъ, — устлали его жизнь цвѣтами.

Пшервицъ, Морскій и Коваль, отложившій свой отъѣздъ въ Австралію, приходили очень часто, а послѣ возвращенія изъ деревни приходилъ и Стославскій. Спорили и разговаривали, а Рдзавичъ даже съ нѣкотораго рода ужасомъ думалъ о томъ времени, когда онъ, наконецъ, совсѣмъ выздоровѣетъ и снова надо будетъ думать о себѣ самомъ, и когда онъ перестанетъ быть центромъ цѣлаго кружка людей, чѣмъ онъ является теперь въ качествѣ больного. Но тогда онъ оглядывалъ свою мастерскую и думалъ, что все же онъ всегда останется человѣкомъ, на котораго смотреть, о которомъ гово-



рять, о которомъ заботятся, у котораго есть свои исключительныя права.

При немъ старательно избѣгали щекотливыхъ темъ, такъ что онъ ничего не зналъ о Маріи; напротивъ, Лаура рассказывала ему, что Рузя Росенская очень часто спрашиваетъ о немъ изъ деревни (куда она уѣхала недѣли двѣ тому назадъ, такъ какъ Эля не хотѣла дольше оставаться): «болитъ ли у пана Рдзавича голова?», что Эля была больна, но уже поправилась, и что панъ Росенскій приглашаетъ ихъ къ себѣ, а вмѣстѣ съ ними и Рдзавича, если бы доктора посоветовали ему уѣхать въ деревню. Пани Росенской сдѣлалось лучше, и поѣздка за границу отложена до осени. Рдзавичъ просилъ поблагодарить пана Росенскаго, но не далъ никакого опредѣленнаго отвѣта. Онъ боялся встрѣчи съ Элей, о которой не могъ думать безъ чувства недовольства самимъ собою. Въ немъ осталось ощущеніе, что онъ обидѣлъ эту дѣвушку, что онъ запятналъ ее чѣмъ-то и оскорбилъ. Впечатлѣніе, которое она произвела на него, совсѣмъ потускнѣло; онъ помнилъ только, что она красива и понравилась ему. О томъ, что между ними произошло, никто, повидимому, не зналъ; Эля, по всей вѣроятности, никому не говорила. Если бы она говорила о немъ дурно, панъ Росенскій не сталъ бы его приглашать, а Лаура какъ-нибудь дала бы ему это почувствовать. Тѣмъ не менѣе, онъ не могъ вообразить себѣ, какъ онъ взглянетъ на эту дѣвушку. Сотнѣ другихъ онъ бы смѣло глядѣлъ въ глаза, но въ Элѣ онъ чувствовалъ другую душу, и то, что въ



глазахъ другихъ было бы мелочью, въ ея глазахъ могло стать обидой.

Лаура радовалась, какъ ребенокъ, тому, что они будутъ ѣздить верхомъ и въ экипажахъ, кататься на лодкахъ по озеру и играть съ собаками, которыхъ тамъ множество; она говорила Бишѣ, которая пріѣхала на одинъ день въ Варшаву, что въ деревнѣ навѣрное Рдзавичъ объяснится съ Элей, на что Биша отвѣчала, что это ея «*idée fixe*», и что какъ бы изъ поѣздки Рдзавича къ Росенскимъ не вышло чего-нибудь нехорошаго.

— Но вѣдь они сами его приглашаютъ, и я знаю, что они не имѣли бы ничего противъ, — защищалась Лаура.

— А ты начинаешь старѣть, если тебѣ такъ нравится сватовство.

— Дорогая моя, — отвѣчала Лаура, — каждая изъ насъ должна чѣмъ-нибудь заняться, кромѣ мужа. У тебя двое дѣтей; пройдетъ полгода, и будетъ третій ребенокъ, а у меня что? Ты видишь, какъ я люблю Юрія, но вѣдь онъ не заполняетъ всей моей жизни, какъ и я ему всей не заполняю. Онъ пишетъ и стремится къ славѣ, а я хотѣла бы дѣлать добро. Можно дѣлать людямъ добро не только деньгами, и не только бѣднякамъ нужна помощь. Рдзавичъ въ своей хорошей обстановкѣ несчастнѣе многихъ, живущихъ въ подвалахъ или нигдѣ. Не для всѣхъ людей одна мѣрка. Дорогая моя, это ничуть не желаніе сватать. Сдѣлать кого-нибудь счастливымъ, развѣ это не пріятно? Если



это зависитъ отъ насъ, то, по-моему, это наша обязанность.

Биша согласилась и сказала, что все это прекрасно, но что она, какъ всегда, совѣтуетъ быть осторожнѣе.

Между тѣмъ Рдзавичъ, какъ только его силы немного вернулись, не слушаясь докторовъ и совѣтовъ знакомыхъ, сталъ работать. Онъ велѣлъ отлить изъ гипса «Ангела смерти» такъ, какъ онъ былъ, съ едва намѣченнымъ лицомъ женщины. Въ то же время онъ быстро кончалъ «Покинутаго». Это его сильно утомляло, но на всѣ предостереженія, что онъ можетъ снова заболѣть, онъ не обращалъ вниманія. Одна баронесса Геймертъ не удерживала его; напротивъ, онъ замѣтилъ, что сколько разъ она ни встрѣчала его съ румянцемъ утомленія на щекахъ, съ разстроенными нервами, раздраженнаго, она глядѣла на него съ особеннымъ вниманіемъ, съ какимъ-то энтузіазмомъ.

Разъ она сказала ему:

— Вы творите собственной жизнью, какъ Рафаэль, какъ Байронъ, какъ Шопенъ и Словацкій.

— Всѣ они умерли молодыми, — отвѣтилъ онъ.

— Да, но это самыя поэтическія натуры въ искусствѣ.

— Любимцы боговъ умираютъ рано, — улыбнулся онъ.

— Вы — такой любимецъ, — сказала она съ нѣсколько мелодраматическимъ взглядомъ.

— Вы мнѣ желаете ранней смерти?

Она ничего не отвѣтила, только закуталась въ тон-



кую, какъ тюль, турецкую шаль и, опершись головой о спинку кресла, стала смотрѣть въ небо.

Усиленный трудъ не привелъ возврата болѣзни, но довелъ Рдзавича до высшей степени нервнаго раздраженія. Онъ сталъ не выносить людей. Нервность его увеличилась тѣмъ, что онъ послалъ въ мюнхенскій Сецессионъ обѣ свои картины и всѣ статуи, за исключеніемъ неоконченной «Отравительницы» и гипсового «Ангела смерти». Все это повезъ въ Мюнхенъ Тенжель, боявшійся отправить вещи безъ присмотра; кромѣ того, ему хотѣлось видѣть послѣднихъ сецессионистовъ.

Рдзавичъ не выносилъ теперь никакого общества, за исключеніемъ баронессы Геймертъ и Лановскаго; ему казалось, что всѣ остальные не понимаютъ его, хотягь сдѣлать изъ него «филистера» и обращаются съ нимъ, какъ «съ чиновникомъ торгово-промышленнаго банка» или «съ владѣльцемъ склада колониальныхъ товаровъ». За глаза доставалось даже Лауръ.

Ему нравилось въ madame Геймертъ, что она налету отгадывала самыя необыкновенныя его прихоти, ничему не удивлялась и никогда съ нимъ не спорила. Даже ея взбалмошность, которая сначала непріятно дѣйствовала на него, стала ему теперь нравиться, какъ противовѣсъ «филистерской разсудочности». Лановскій вполне замѣнялъ ему Тенжеля, онъ такъ же обожалъ его, какъ тотъ, но въ гораздо болѣе изящной формѣ.

О поѣздкѣ къ Росенскимъ Рдзавичъ не хотѣлъ даже слышать, говоря, что не тронется съ мѣста, пока не будетъ извѣстій изъ Мюнхена, и что вообще онъ не ду-



маеть ѣхать въ деревню. Прежде всего его угнетало то, что онъ ничего не зналъ о Маріи; онъ чувствовалъ себя до того обиженнымъ послѣднею ихъ встрѣчею, тѣмъ, что она не хотѣла даже взглянуть на него, ея полнымъ равнодушіемъ, что не смѣлъ спросить о ней. Онъ сталъ думать, что, если любовь можетъ быть велика, какъ міръ, то самолюбіе можетъ быть еще больше, и если можно перестать любить, то забыть обиды невозможно. Любилъ ли онъ еще Марію? На это трудно было отвѣтить, онъ самъ не зналъ. Минутами ему казалось, что да, минутами, — что нѣтъ. Но то, какъ она его обидѣла, онъ помнилъ всегда съ одинаковой силой. Ему даже казалось, что, если бы ему пришлось прощать, то онъ скорѣе простилъ бы ей то, что она его бросила, чѣмъ то, что она его обидѣла и дала ему понять, что онъ для нея ничто. Ему казалось обиднымъ передъ самимъ собой, что онъ о ней думаетъ и помнитъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ, что, если бы у него хотѣли вырвать эти мысли и воспоминанія, то ихъ пришлось бы вырвать вмѣстѣ съ кровью и отнять вмѣстѣ съ жизнью. Любилъ ли онъ ее еще, онъ не зналъ; но онъ чувствовалъ, что къ этимъ мыслямъ и воспоминаніямъ, ставшимъ неотдѣлимой частью его организма, онъ привязанъ болѣе, чѣмъ къ чему-либо на свѣтѣ.

Когда онъ бывалъ одинъ, онъ вынималъ портретъ Маріи изъ ящика, всматривался въ него по цѣлымъ часамъ, потомъ снова закинулъ его въ ящикъ на прежнее мѣсто. И всегда послѣ этихъ часовъ въ немъ росла тоска по ней. Вначалѣ онъ, какъ могъ, открещивался



отъ этого чувства, вспоминая встрѣчу на раутѣ; но теперь все чаще и чаще Марія являлась передъ нимъ, какъ въ первую минуту встрѣчи, съ огнемъ въ лицѣ, съ застывшимъ словомъ на губахъ. Онъ вновь поддавался тоскѣ. По цѣлымъ часамъ, запершись на ключъ въ своей мастерской, онъ глядѣлъ то на своего «Ангела смерти», на кусокъ мрамора, въ которомъ думалъ его высѣчь и который онъ выписалъ, продавъ Сто-славскому еще неоконченную «Отравительницу», то на портретъ Маріи, который онъ думалъ продолжить до пояса. Ему казалось, что вся жизнь его, со всѣмъ, что случилось отъ знакомства съ Маріей — это сонъ, что вотъ онъ проснется и будетъ такимъ же, какъ тогда, когда онъ лѣпилъ «Діану» и «Центавровъ», бѣгалъ за уличными красавицами и спорилъ съ Тенжелемъ, который совѣтовалъ ему вести умѣренный образъ жизни.

О Маріи онъ думалъ, что она уже помолвлена съ Божевскимъ; если бы она была уже замужемъ, то не вѣроятно, чтобы онъ какъ-нибудь не узналъ объ этомъ, несмотря на то, что онъ о ней ни съ кѣмъ не говорилъ и не читалъ газетъ изъ опасенія прочитать случайно объ ея обрученіи или бракѣ. Онъ чувствовалъ, однако, что дольше не выдержитъ этой неизвѣстности. Со своими знакомыми говорить о ней онъ не рѣшался; единственнымъ человѣкомъ, съ которымъ онъ могъ бы говорить, была Ядвига Стжелиская. Она одна знала все ихъ прошлое, она довела ихъ до того, что они дали другъ другу слово, она, наконецъ, взглянула на него на раутѣ съ какимъ-то трогательнымъ сочувстві-



емъ. Онъ не медлилъ долѣе. Если она въ Кленжѣ, — онъ напишетъ ей, если она въ Варшавѣ, — онъ постарается съ ней повидаться. Къ счастью Ядвига оказалась въ Варшавѣ и на письменную его просьбу повидаться съ нимъ отвѣчала, что придетъ завтра утромъ въ его мастерскую и что они могутъ свободнѣе поговорить, если она никого тамъ не застанетъ, но, впрочемъ, ей это безразлично; она добавила, что безвыѣздно живетъ въ Варшавѣ, и спрашивала о его здоровьи, говорила, что охотно приходила бы ухаживать за нимъ, какъ другія дамы, но боялась раздражить его своимъ присутствіемъ и думаетъ, что ее изъ-за этого къ нему не допустили бы.

О томъ, что Стжелиская навѣдывалась къ нему во время болѣзни, ему ничего не говорили, что было вполне понятно, но это его очень тронуло; ему даже пришло въ голову, что, можетъ быть, это Марія просила ее узнавать о немъ, такъ какъ не можетъ вѣдь быть, чтобы у Маріи ничего больше къ нему не осталось, несмотря на все. Желаніе Стжелиской притти въ мастерскую ничуть его не удивило; онъ помнилъ, что она была готова на все, была смѣла до скандала, и ничто не причиняло ей столько удовольствія, какъ раздражать общественное мнѣніе.

Ожиданіе Стжелиской довело его до лихорадки. Въ томъ, что ему предстоитъ встрѣтиться съ человѣкомъ близкимъ къ Маріи, онъ чувствовалъ какъ бы новое сближеніе съ прошлымъ; все, что произошло послѣ разрыва, какъ бы исчезло. Все, что касалось его и Ма-



ри, стало вновь вставать въ его памяти съ необыкновенной силой и свѣжестью красокъ; словно со старой картины стирали пыль и грязь. Теперь онъ помнилъ не только платья Маріи, но даже узоръ ихъ матерій; онъ видѣлъ не только ея взгляды, но отличалъ почти каждую рѣсницу, каждый волосокъ отдѣльно; онъ не только видѣлъ ея движенія, а даже каждое малѣйшее мановеніе пальца, которое ему пришлось когда-либо видѣть. Она стояла передъ его глазами, какъ живая, такая милая, такая знакомая, какъ никогда, даже тогда, когда онъ по ней больше всего тосковалъ, когда онъ напрягалъ всѣ силы памяти и воображенія, чтобы представить себѣ ее, потерянную навсегда, — даже тогда она не бывала такой. Онъ видѣлъ пушокъ, покрывавшій ея лицо, видѣлъ маленькія синія жилки на вискахъ и шейкѣ; тѣни ея рукъ и миндаины ея длинныхъ, узкихъ ногтей... Ему казалось, что вотъ-вотъ онъ протянетъ руки, чтобы обнять ее, и будетъ писать ея портретъ красками или въ глинѣ, какъ съ живой.

— Ты ея не лѣпишь съ того портрета, она у тебя въ душѣ... — сказалъ ему когда-то Тенжель. Давно, давно... когда Марія была еще его и когда онъ смѣло готовъ былъ бы поцѣловать крестъ, что она не будетъ принадлежать другому. «Ангела смерти» онъ закрылъ, портретъ же ея то вынималъ, то пряталъ. Онъ не рѣшался, оставить ли его при Стжелиской или нѣтъ. Стжелиской могло показаться, что онъ его нарочно вынулъ, чтобъ она его видѣла и сказала Маріи, что онъ



виситъ на стѣнѣ, какъ «доказательство неумершей любви». Это выраженіе изъ тысячи и одного романа показалось ему отвратительнымъ. Будетъ ли этотъ портретъ висѣть или нѣтъ, все равно — лучшее доказательство «неумершей любви», это то, что онъ хочетъ говорить о Маріи. Впрочемъ, пускай она видитъ портретъ, пускай расскажетъ о немъ; ему ли стыдиться, что онъ любитъ, ему ли, у ногъ котораго была Марія, котораго она держала въ объятіяхъ? Пусть Марія знаетъ, что онъ не пересталъ ее любить, какъ клялся когда-то. Думая такъ, хотя онъ даже передъ самимъ собою не хотѣлъ въ этомъ сознаться, онъ чувствовалъ, что если ему и хочется, чтобъ Марія знала о его любви, то съ другой стороны его нѣсколько удовлетворяетъ сознание, что Марія должна чувствовать себя хуже его, несмотря на то, что она вышла побѣдительницей въ этой борьбѣ. Иной разъ можно побѣдить, но побѣдить, — именно своею гибелью.

Стжелиска обѣщала притти въ десять часовъ утра; онъ всталъ въ восемь и старался чѣмъ-нибудь заняться, чтобы нѣсколько сократить время и успокоиться. Онъ мучился мыслью, что будетъ говорить о Маріи, но вдругъ въ немъ началась реакція. Все это стало ему казаться ненужнымъ и смѣшнымъ. Собственно говоря, чего ему надо отъ Стжелиской? Что Марія ни дѣлаетъ, она не для него, даже не думаетъ о немъ. Помолвлена ли она съ Божевскимъ, иль нѣтъ, это не повліяетъ на то, что она перестала быть его невѣстой, а, въ концѣ-концовъ, разспрашивать, выходить ли за



мужъ дѣвушка, годъ тому назадъ вернувшая ему слово, — развѣ это не смѣшно? Не положить ли еще для пущаго эффекта револьверъ на столѣ. Стжелиская сумасшедшая, она всегда была такой, она довольна, что ей представляется случай пойти въ разрѣзъ съ тѣмъ, что принято въ обществѣ, напримѣръ, пойти одной въ частную квартиру молодого человѣка. Хоть и мастерская, а все же это его частная квартира. Это будетъ для нея новымъ доказательствомъ того, что она «esprit fort», и она не преминетъ при первомъ же случаѣ бросить это свѣту въ глаза. Притомъ вѣдь это новый случай играть роль въ «жизни выдающихся личностей», а это всегда было въ ея отношеніяхъ къ нему плохо скрываемой задней мыслью; наконецъ, она всегда любила наиболѣе высокія, безкорыстныя отношенія между двумя людьми. Что она поцѣловала его руку, когда онъ сидѣлъ у ногъ Маріи, это фактъ, но что она потомъ осѣняла ихъ крыльями своихъ заботъ съ величайшимъ удовольствіемъ, это тоже фактъ.

Вся эта Ядвига Стжелиская со всѣмъ своимъ esprit fort казалась ему чѣмъ-то крайне безвкуснымъ. Она могла бы найти сто мѣстъ для «rendez vous», нѣтъ, она назначаетъ ему свиданье въ его мастерской въ десять часовъ утра, а вѣдь умѣе всего она бы сдѣлала, написавъ ему, что не видитъ ни малѣйшаго повода для какихъ бы то ни было разговоровъ. Все, что она дѣлаетъ, она дѣлаетъ для позировки; для того, чтобы о ней говорили, она охотно пришла бы даже ухаживать за нимъ во время его болѣзни. Лучшее всего было



бы, если бъ она теперь совсѣмъ не пришла. Можно было бы написать ей, чтобы она отложила этотъ утренній визитъ. И этотъ портретъ, вся эта декорация... все это, прежде всего, смѣшно. Онъ извинится передъ Стжелиской, объяснитъ, что писалъ ей въ нервномъ раздраженіи, что ему не о чемъ ее спрашивать, онъ ей объяснитъ, что подъ вліяніемъ болѣзни и утомленія онъ иной разъ не сознаетъ хорошенько того, что дѣлаетъ. Онъ протянулъ руку къ стѣнѣ, чтобы снять портретъ; но, когда онъ положилъ его на столъ, темно-синіе съ золотымъ блескомъ глаза Маріи взглянули на него — онъ упалъ въ кресло и оперся головой на сжатые кулаки. Глаза Маріи взглянули ему въ глубину души, въ которой сильнѣе всего отозвалась боль.

Въ ту же минуту онъ услыхалъ стукъ въ двери, вскочилъ и обернулъ портретъ лицомъ къ столу. Онъ почувствовалъ, какъ его бросило въ жаръ.

Въ темномъ платьѣ и темной шляпѣ, довольно высокая, тонкая, блѣднѣе обыкновеннаго, вошла Ядвига Стжелиская.

Рдзавичъ поклонился, подошелъ къ ней, подалъ руку, а Ядвига вложила въ свое нѣжное пожатіе такую сердечную теплоту, что сразу тронутый Рдзавичъ пожалъ ей руку во второй разъ, какъ человѣкъ, который чувствуетъ себя слабымъ и которому оказываютъ сочувствіе.

Они сказали этимъ другъ другу все: онъ зналъ, что Ядвига нечего спрашивать, зачѣмъ она пришла.



Она сѣла на пододвинутомъ ей стулѣ и стала оглядывать мастерскую; Рдзавичъ видѣлъ, что, несмотря на врожденную смѣлость и страсть къ эксцентричности, она нѣсколько сконфужена. Впрочемъ, продолжалось это очень недолго: совсѣмъ свободно она спросила его:

— Какъ поживаете?

Онъ отвѣчалъ, что теперь чувствуетъ себя вполне хорошо, только немного утомленъ.

— Здѣсь красиво, — продолжала она. — Васъ, можетъ быть, удивляетъ, что я выбрала вашу мастерскую, но мнѣ кажется здѣсь удобнѣе всего; впрочемъ, чего намъ искать другихъ мѣстъ, если есть это. Никто меня не видѣлъ, когда я сюда шла, а если бы и видѣлъ, то мнѣ это безразлично. Бабушка (она въ Варшавѣ) увѣрена, что я пошла въ костель, и въ восторгѣ. Я скажу ей, что выслушала всю мессу и что молилась святой Терезѣ, это ея любимая святая.

Рдзавичу тонъ, которымъ говорила Стжелиска, показался циничнымъ и то, что она говорила, безвкуснымъ, но, быть можетъ, она хотѣла какъ-нибудь завязать разговоръ. Все, о чемъ онъ хотѣлъ спрашивать, застряло у него въ горлѣ.

— Что у васъ тамъ? — спросила она, показывая на «Ангела смерти».

Ему пришло въ голову, что такъ будетъ лучше всего, и онъ открылъ группу.

Ядвига встала, подошла и стала смотрѣть.



— Я понимаю это, какъ поняла «Вампира», — сказала она грустно и съ сочувствіемъ.

— Скажите же мнѣ теперь, — сказалъ Рдзавичъ, пододвигая ей стулъ.

— Она невѣста.

Рдзавичъ почувствовалъ, что пламя охватило его голову, но вмѣстѣ съ тѣмъ удивился: первое чувство было не боль, а напротивъ, какъ бы облегченіе послѣ продолжительнаго страданія. Въ одну секунду промчалось въ его головѣ: «кончено, пропало, надо кончить...» Онъ вздохнулъ съ облегченіемъ, словно сбросивъ тяжелое бремя съ плечъ, словно прежняя свободная жизнь открылась передъ нимъ. Во всякомъ случаѣ, у пронасти есть дно. Блѣдное, чистое лицо Эли Росенской мелькнуло у него въ глазахъ.

— Божевскаго? — спросилъ онъ почти свободно.

— Нѣтъ, Кололяесскаго, — отвѣчала Стжелиска.

Рдзавичъ вздрогнулъ. Онъ не могъ понять.

— Что? Что? — спросилъ онъ.

— Кололяесскаго, — повторила она.

— Какъ? Этого толстаго немолодого блондина изъ-подъ Клецка?

— Да. Его.

— Какъ это случилось? Когда?

— Двѣ недѣли тому назадъ.

— А Божевскій?

— Его нѣтъ въ Варшавѣ.

— Вѣдь онъ былъ влюбленъ въ нее?

— Да, даже очень.



— И она въ него?

— Да, даже теперь влюблена.

— Ну, такъ какъ же это случилось?

— Иначе не могло быть. Впрочемъ, это я сдѣлала, — спокойно сказала Стжелиска.

— Вы?! Но зачѣмъ?

— Я вѣдь вамъ говорю, иначе не могло быть. Божевскій совсемъ разоренъ.

У Рдзавича появилось чувство удовлетворенія и удовольствія.

— Какъ вы вѣрно слышали, — продолжала Стжелиска, — онъ открылъ стеклянный заводъ вмѣстѣ съ Сѣдловскимъ и княземъ Мойвилломъ. Товарищество было такого рода, что Божевскій и Сѣдловскій давали деньги, а Мойвиллъ, у котораго, кромѣ княжескаго титула, ничего нѣтъ и который учился за границей, долженъ былъ быть директоромъ - распорядителемъ. Между тѣмъ Сѣдловскому, милліонеру и сумасброду, надоѣлъ заводъ; онъ поссорился съ Божевскимъ и, воспользовавшись какимъ-то пунктомъ контракта, вышелъ изъ товарищества и даже не совсемъ правильно взялъ изъ дѣла свои деньги. Божевскій остался одинъ въ предпріятіи съ подорваннымъ кредитомъ. Онъ сталъ усиленно поддерживать дѣло, втянувъ въ него имущество своихъ родныхъ. Вдругъ старому папѣ Божевскому пришло въ голову попробовать счастья на биржѣ въ Кіевѣ, чтобы помочь сыну; въ три дня онъ потерялъ семьдесятъ тысячъ рублей. Божевскій сталъ терять точку опоры, онъ поступилъ чрезвычайно легкомысленно: вложилъ



въ предпріятіе капиталъ трехъ своихъ малолѣтнихъ двоюродныхъ сестеръ, которымъ онъ управлялъ по порученію отца: сто двадцать тысячъ.

— Вы это называете легкомысліемъ? — сказалъ съ удивленіемъ Рдзавичъ. — Вѣдь это пахнетъ уголовщиной.

— Онъ былъ увѣренъ, что съ помощью этихъ денегъ онъ обернется и все имущество вернетъ. Можетъ быть, онъ какъ-нибудь бы и выплылъ, если бѣ сидѣлъ на Украинѣ, но онъ торчалъ въ Варшавѣ, былъ влюбленъ въ Мариню, а тѣмъ временемъ Мойвилль, который, какъ выяснилось, мало отличается отъ своихъ родичей, исключенныхъ изъ клуба въ Кіевѣ, всѣ деньги частью проигралъ и пропилъ, частью куда-то запряталъ; кажется, онъ прямо ихъ спряталъ въ карманъ. Онъ вѣрно догадывался, откуда онѣ и что ихъ будетъ трудно искать съ него; Божевскій не могъ съ нимъ судиться, все бы вышло на чистую воду. Въ концѣ-концовъ, они продали все, что у нихъ было, и онъ вернулъ своимъ двоюроднымъ сестрамъ девяносто тысячъ, но сами они остались безъ копейки, въ полномъ смыслѣ этого слова. Имѣніе пошло съ молотка, а оба дома въ Кіевѣ и стеклянный заводъ купилъ кіевскій богачъ, крещенный двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, Соломонъ Гольдфельдъ.

— Когда же все это произошло?

— Въ послѣдніе полгода. Когда Божевскій познакомился съ Маріей, его дѣла были уже плоховаты, это было въ то время, когда изъ товарищества выхо-



диль Сёдловскій, но объ этомъ еще не знали, такъ какъ онъ согласился до поры до времени, чтобъ не подрывать сразу дѣла, не разглашать этого. Юристы говорили моему отцу, что Божевскій могъ бы принудить Сёдловскаго судомъ выполнить условія контракта, но у него не было тогда времени думать объ этомъ, онъ былъ влюбленъ въ Марию. Ужасъ прямо, какъ онъ велъ свои дѣла, съ какой-то страшной расточительностью, легкомысліемъ, легковѣріемъ и полнымъ незнаніемъ дѣла. Притомъ они жили не по средствамъ, и, говорятъ, половина того, что они проживали, шла изъ капитала и въ кредитъ. Итакъ въ одно прекрасное утро, обаятельный и «непобѣдимый» Божевскій остался безъ копейки, и подъ угрозой уголовной отвѣтственности за растрату тридцати тысячъ имущества малолѣтнихъ.

Рдзавичъ замѣтилъ, что послѣднія слова Стжелиская говорить съ нѣкоторымъ, даже нескрываемымъ, удовольствіемъ.

— Былъ ли онъ уже помолвленъ съ Маріей?

— Къ счастью для нея, только тайно, такъ что никто, кромѣ меня, объ этомъ не зналъ... Онъ хотѣлъ открыто просить ея руки только тогда, когда можно будетъ говорить, что Марія Тыжвецкая выходитъ за богача, — она, говорилъ онъ, можетъ выйти только за милліонера, — а потомъ черезъ нѣсколько недѣль должна была быть свадьба. Онъ думалъ, что это будетъ въ октябрѣ



— Какъ такъ, онъ думалъ въ нѣсколько мѣсяцевъ нажить милліоны?

— Нѣтъ, но къ тому времени фабрика должна была дать полное ручательство въ этомъ. Онъ былъ въ этомъ увѣренъ, даже послѣ выхода Сѣдловскаго, пока его отецъ не проигрался на биржѣ.

— Положимъ, что это такъ, но я все же не понимаю, какъ Марія стала невѣстой Кололяскаго?

— Подождите. Божевскій объяснился съ Маріей на томъ раутѣ, на которомъ вы насъ встрѣтили (онъ просилъ насъ, чтобы мы были, а то мы думали въ тотъ же день уѣхать). На этомъ же раутѣ ей сдѣлалъ предложеніе Кололяскій, но она ему отказала, не говоря ничего о Божевскомъ. Марія не хотѣла уже уѣзжать, подъ предлогомъ, что ей нездоровится, и осталась у тетки Пожельской, съ ней и я. Недѣли черезъ три послѣ этого раута, Божевскій, уѣхавшій было дней на десять послѣ предложенія, возвращается, вбѣгаетъ къ намъ разстроенный и говоритъ мнѣ, — онъ встрѣтилъ меня первый, — что ему необходимо переговорить съ Маріей наединѣ. Я догадывалась, что случилось что-то неладное, о его положеніи говорили все хуже и хуже, и даже тетка Пожельская стала о немъ говорить не «панъ Станиславъ», а «панъ Божевскій». Чувствуя, что я могу пригодиться, я сѣла въ сосѣдней комнатѣ, возлѣ гостиной, въ которую я его впустила. Тетки не было дома. Не знаю, сказали ли они другъ другу хоть пятнадцать словъ, какъ вдругъ вбѣгаетъ Божевскій, крича: «воды!» Марія упала въ обморокъ. Мы ее привели



въ себя. Вотъ что случилось: Божевскій пришелъ съ револьверомъ въ карманѣ проститься съ ней, онъ рѣшилъ пустить себѣ пулю въ лобъ.

— Этотъ блестящій Божевскій? — сказалъ Рдзавичъ, вспомнивъ прекраснаго блондина съ большими усами.

— Этотъ блестящій Божевскій, — повторила Стжелиская. — Тогда Марія сдѣлала то, что должна была сдѣлать: она упала передъ нимъ на колѣни и стала просить его взять ея приданое, которое черезъ нѣсколько мѣсяцевъ должно было все равно принадлежать ему, и покрыть изъ него сумму, недостающую въ капиталахъ малолѣтнихъ сестеръ. Сначала онъ и слышать объ этомъ не хотѣлъ, наконецъ, уступая ея угрозамъ, что она отравится, уступилъ и согласился.

По тѣлу Рдзавича пробѣжала нервная дрожь, и судорога сжала ему горло: ему стало несказанно жаль Марію и вмѣстѣ съ тѣмъ стало жалко, что столько любви и столько жертвъ выпало на долю другого, а не его; противъ Божевскаго въ немъ поднялась неприязнь; онъ чувствовалъ гнѣвъ, что Марія такъ страдаетъ изъ-за него; кромѣ того, въ немъ сильнѣе всѣхъ другихъ чувствъ поднялась ревность.

— Но это было легче обѣщать, чѣмъ сдѣлать, — продолжала Стжелиская, — такъ какъ Марія не была еще совершеннолѣтней, а отецъ мой, которому я, по ея просьбѣ, написала и который управляетъ ея имуществомъ, прямо заявилъ, что отдастъ ввѣренное ему приданое Маріи или ей, когда она будетъ совершенно-



лѣтней, то-есть черезъ четырнадцать мѣсяцевъ, или ея мужу, если она раньше выйдеть замужъ.

Онъ спрашивалъ, зачѣмъ Маринѣ нужны такія большія деньги, но мы, конечно, не могли этого сказать изъ опасенія скомпрометировать Божевскаго. Между тѣмъ, можно было опасаться, что вотъ-вотъ соберется семейный совѣтъ изъ опекуновъ его двоюродныхъ сестеръ и потребуетъ отъ него, какъ отъ банкрота, ввѣренныя ему сто двадцать тысячъ рублей. Миѣ кажется, что семейный совѣтъ отлично зналъ, что случилось, но нарочно не собирался, въ надеждѣ, что Божевскій какъ-нибудь вывернется; они не хотѣли скандала въ семьѣ. Всѣ знали, что Божевскій неотразимъ для женщинъ и что ему, быть можетъ, удастся, несмотря на банкротство, жениться на богатой. Стало извѣстно, что въ него ужасно влюблена дочь того Гольдфельда, о которомъ я вамъ говорила, а за ней отецъ давалъ двѣсти или триста тысячъ и мечталъ о томъ, чтобъ его дочь вышла за дворянина, хотя его дочь такая вновь испеченная, что можетъ выйти только за обанкротившееся «скій», но онъ и на это готовъ. Все семейство стало склонять Божевскаго къ женитьбѣ на *mademoiselle* Гольдфельдъ; что онъ имъ тамъ говорилъ, я не знаю, но намъ онъ клялся, что на ней онъ ни за что не женится и что онъ, во всякомъ случаѣ, долженъ пустить себѣ пулю въ лобъ, что онъ не переживетъ преданія суду за уголовное преступленіе, что Марія и такъ для него навсегда потеряна, такъ зачѣмъ же жить — и такъ далѣе въ этомъ духѣ.



— А Марія? — спросилъ Рдзавичъ, у котораго лицо пылало, какъ въ жару.

— Марыня была въ отчаяніи. Итти за Божевскаго, который долженъ былъ содержать себя и всю семью, разорившуюся до послѣдней копейки, и остаться послѣ платежа недочета въ тридцать тысячъ съ какими-нибудь двѣнадцатью тысячами, — это значило обречь себя на вѣчную нужду. Божевскій, правда, сталъ искать мѣста, но онъ кончилъ въ Берлинѣ историко-литературный факультетъ и не имѣлъ ни о чемъ практическомъ ни малѣйшаго понятія. Нигдѣ онъ ничего не могъ найти, одинъ только Гольдфельдъ далъ ему мѣсто личнаго секретаря съ жалованьемъ въ двѣ тысячи; дала ему это мѣсто, собственно говоря, mademoiselle Гольдфельдъ, которая дѣлаетъ все, что хочетъ, со своимъ папашей, совсѣмъ простымъ евреемъ. Конечно, Божевскій, женившись на Тыжвецкой, не получилъ бы этого мѣста. Тогда я рѣшила все взять въ руки. Я объяснила Маринѣ, что обречь себя на вѣчную нужду было бы крайне глупо. Вначалѣ она кричала, что для нея лучше сухой хлѣбъ съ Божевскимъ, чѣмъ съ другимъ милліоны, но и она постепенно стала пугаться нужды. Тогда я предложила ей слѣдующій планъ: ты уговори Божевскаго жениться на mademoiselle Гольдфельдъ; такимъ образомъ, онъ спасетъ не только себя, но свое имя и семейство, а то выходи за Кололяскаго. Другой дороги нѣтъ. Вы можете тогда дѣлать, что вамъ угодно. Кололяскій уже не молодъ и ужасно глупъ, не замѣтитъ, а если даже и замѣтитъ, то не довѣ-



рить. Каждый другой стѣснялъ бы тебя; онъ словно созданъ на то, что его ожидаетъ. Божевскій достаточно хитеръ, чтобъ отвести своей еврейкѣ глаза.

— Вѣдь это ужасно! — крикнулъ Рдзавичъ, который почувствовалъ такое отвращеніе къ Стжелиской, что еле удержался, чтобы не схватить ее за плечи и не вытолкать за двери. — Это ужасно! Вы сами не знаете, что вы совѣтовали Маріи! И она этого не понимаетъ, конечно!

— Нѣтъ, панъ, — отвѣчала Стжелиска, — и я знаю, и она понимаетъ. Прежде всего вы забываете о томъ, или, быть можетъ, вы этого не замѣтили, что Марія, собственно говоря, никого не любитъ, она любитъ только свою красоту и то, что люди въ нее влюбляются. Кромѣ этого, въ ней одни нервы. Я увѣрена, что она отдала бы все свое приданое Божевскому, но это не сердце, а нервы.

— Зачѣмъ вы такъ о ней говорите? — прервалъ его Рдзавичъ съ возмущеніемъ, внутренно, однако, сознавая, что Стжелиска права.

— Я ее знаю. Мариня колебалась нѣкоторое время, но когда я ей доказала, что, собственно говоря, она погубила Божевскаго, кокетничая съ нимъ, таская его съ раута на рауть, съ бала на балъ, вмѣсто того, чтобъ велѣть ему смотрѣть за дѣлами, что она погубить его совсѣмъ или доведетъ его до самоубійства, она согласилась на то, чтобъ онъ женился на mademoiselle Гольдфельдъ. Только о своемъ бракѣ съ Кололяскимъ она не хотѣла и слышать. Она заявила, что будетъ ста-



рой дѣвой. Я еле уговорила ее сдѣлать эту маленькую жертву и выйти за Кололяскаго, который, говоря между нами, очень хорошій человекъ, и, кромѣ того, у него порокъ сердца; это гораздо лучше, чѣмъ рисковать скандаломъ, или, что еще хуже, связать навсегда свою жизнь; лучшаго мужа по нынѣшнимъ обстоятельствамъ она со свѣчей не найдетъ. Въ концѣ-концовъ, я уговорила ее.

— Она согласилась? — спросилъ Рдзавичъ такимъ глухимъ голосомъ, какого онъ у себя никогда не слыхалъ; въ груди у него словно вода переворачивала острые камни.

— Согласилась. Мариня нервна, впечатлительна, легко поддается вліянію минуты, но не глупа. Съ Божевскимъ только трудно было поладить. Онъ кричалъ, что пуститъ себѣ пулю въ лобъ, и Маринѣ снова пришлось просить его на колѣняхъ сдѣлать такъ, какъ велитъ разсудокъ, что это единственный выходъ для него и лучшее, что возможно для обоихъ. Я ему говорила, что, такъ какъ Кололяскаій ухаживалъ за ней такъ же, какъ и онъ, и такъ какъ никто не знаетъ, что онъ сдѣлалъ Маринѣ предложеніе, то это никого не удивитъ, всѣмъ покажется вполне естественнымъ, что дѣвушка съ среднимъ приданымъ выходитъ замужъ за человека богатаго, а не за банкрота, а еще болѣе естественнымъ, что банкротъ спасается путемъ богатаго брака, тѣмъ болѣе, что у него есть такой отличный предлогъ, какъ то, что онъ уступаетъ настояніямъ семьи и жертвуетъ собой ради нея. Вы



еще станете героемъ, — сказала я Божевскому, который больше всего боялся того, что скажутъ о немъ, особенно тѣ, кто зналъ, что онъ влюбленъ въ Мариню. Что касается ея, то, разъ она рѣшилась, ее надо было сдерживать отъ слишкомъ поспѣшныхъ шаговъ, чтобы она не возбудила какихъ-нибудь подозрѣній. Кололяескій послѣ отказа пересталъ бывать, надо было его снова затащить, что мы съ теткой Пожельской и устроили, распустивъ повсюду слухи, что онъ уже дѣлалъ ей предложеніе; Мариня при первомъ же визитѣ сказала ему, что обдумала и рѣшила выйти за него замужъ, хотя бы сейчасъ.

— А что же Божевскій?

— Мы услали его въ Кіевъ къ Гольдфельдамъ; на него нельзя было особенно полагаться, такъ какъ онъ время отъ времени снова начиналъ грозить, что застрѣлитъ Кололясекаго, а потомъ себя.

— А Кололяескій?

— Упалъ къ ногамъ Марини и расплакался, потомъ къ ногамъ тетки Пожельской, потомъ ко мнѣ; я думала, что онъ тѣмъ же почтитъ и прислугу. Онъ спрашивалъ о Божевскомъ, онъ былъ увѣренъ, что Мариня имъ интересуется, но я отвѣчала за нее (каждый мужчина глупъ), что, дѣйствительно, по наружности онъ нравился ей, но она узнала, что онъ легкомысленный человекъ, и ее охладило то, что семья его рассчитываетъ на его женитьбу, чтобъ спасти свое матеріальное положеніе, и что Мариня, если бы даже и любила его, — о чемъ нечего и говорить, — отступила бы передъ волей



семьи. Вообразите себѣ, этотъ болванъ опять упалъ въ ноги всѣмъ намъ тремъ и назвалъ насъ ангелами. На вопросъ его о Божевскомъ, въ любовь котораго къ Маринѣ онъ крѣпко вѣрилъ, тетка Пожелъская очень умно отвѣтила, что Марию охладило къ Божевскому именно то, что онъ выбиралъ между ней и mademoiselle Гольдфельдъ.

Рдзавичъ топнулъ ногой и крикнулъ съ возмущеніемъ:

— А что же говорила Марія на всю эту ложь и обманы?!

Стжелискская, уставшая отъ длиннаго разсказа и немного поблѣднѣвшая, отвѣчала тономъ чловѣка, слишкомъ развитаго, чтобы обидѣться выходкой Рдзавича.

— Вы любите сильныя выраженія или ихъ не понимаете. Это часто встрѣчается въ жизни.

— Извините, — холодно сказалъ Рдзавичъ, желавшій поскорѣе узнать все. — Такъ что жъ Марія?

— Съ Маришей послѣ ухода Кололяскаго случился истерическій припадокъ, который съ трудомъ прошелъ; она очень нервна.

— Вы ее убиваете, эту бѣдную Марию.

— Нѣтъ, истерика не рѣдкость у дѣвушекъ съ ея натурой. Она, впрочемъ, была тогда не совсѣмъ здорова, вы знаете... Вы вѣрно помните, что около двадцати пяти она всегда нервничаетъ... Потомъ снова случился скандалъ. Ни съ того, ни съ сего же послѣ



обрученія Марини съ Кололяскимъ, является Божевскій и говоритъ, что онъ ни въ какомъ случаѣ не согласится, что онъ застрѣлитъ Кололяскаго, Марию, *mademoiselle* Гольдфельдъ, всѣхъ. Какъ дикій. Сорвалъ съ Марини обручальное кольцо. На нее онъ всегда имѣетъ большое вліяніе, притомъ у нея впечатлительная и легко поддающаяся натура, — и она взяла уже перо, чтобъ написать Кололясскому, что возвращаетъ ему слово. Тогда я насѣла на Божевскаго. Я ему сказала, что онъ думаетъ только о себѣ. Можетъ быть, онъ хочетъ, чтобъ Мариня стала его любовницей и рисковала скандаломъ? Или, можетъ быть, ей итти въ монастырь и изъ-за рѣшетки восхищаться, какъ господинъ Божевскій съ *madame* Божевской, *mère* Гольдфельдъ, ѣдетъ въ экипажѣ и засматривается на красивыхъ дѣвушекъ? Тогда онъ схватился за голову и сталъ кричать, что пойдетъ въ лакеи къ Кололясскому, что, можетъ быть, Кололясскій найметъ его чистить сапоги, что онъ убьетъ его, не допустить, чтобъ Мариня стала его женой, — ну, что онъ говорилъ, даже трудно повторить, онъ былъ, какъ сумасшедшій, какъ вы всѣ, впрочемъ. Мариня снова упала въ обморокъ; онъ ужасно испугался, а я ему прямо въ глаза сказала, что онъ хочетъ убить эту дѣвушку, что онъ ее мучитъ, что она и такъ жертвуетъ собой, выходя за Кололяскаго, что вѣдь съ своей красотой она могла бы сдѣлать лучшую партію, но тогда ему было бы труднѣе пользоваться ея красотой, и онъ долженъ это цѣнить и уважать.

— Не говорите, по крайней мѣрѣ, такими словами, —



прервалъ Рдзавичъ. — Я вамъ скажу теперь, что вы ихъ, вѣрно, не понимаете.

Стжелиская серьезно посмотрѣла на него, улыбнулась и кротко сказала:

— Панъ Романъ, какой вы еще ребенокъ!

Онъ смутился: спокойствіе, увѣренность Стжелиской и тотъ тонъ свысока, которымъ она съ нимъ говорила, совсѣмъ озадачили его. Она же глядѣла на него съ такой улыбкой, съ какой смотрятъ на ребенка, который уже въ томъ возрастѣ, что долженъ кое-что понимать, но не понимаетъ, и этимъ смѣшонъ.

— Хотите, чтобъ я рассказывала дальше? — спросила она, — хотя, собственно говоря, исторія уже кончена.

— Что же Божевскій?

— Выбѣжалъ, какъ сумасшедшій, бросился, кажется, прямо на вокзалъ, и написалъ черезъ недѣлю Маріи изъ Кіева, что онъ помолвленъ съ дочерью Гольдфельда, что тесть далъ ему пятнадцать тысячъ рублей для ликвидаціи холостой жизни; изъ нихъ десять онъ сейчасъ же внесъ въ растроченный капиталъ малолѣтнихъ, а двадцать ему удалось занять, какъ будущему зятю Гольдфельда, такъ что онъ ничего уже не долженъ, и ему ничто не грозитъ, но онъ чувствуетъ себя такимъ несчастнымъ, что не имѣетъ ни малѣйшаго желанія жить, что онъ не вѣритъ въ ея любовь, и лучше всего ему было бы пустить себѣ пулю въ лобъ. Мариня такъ расплакалась надъ этимъ письмомъ, что я ее еле успокоила, и она послала телеграмму: «Вѣрь мнѣ. Толь-



ко для тебя, для насъ обоихъ, я дѣлаю то, что дѣлаю». И ей, впрочемъ, продиктовала.

— Она его такъ страшно любитъ... — сказалъ какъ бы самому себѣ Рдзавичъ.

— Мариня? Она любитъ свою красоту и наслажденія и красоту Божевскаго.

Тогда Рдзавичъ пристально поглядѣлъ на Стжелискую; ей, видимо, было пріятно, что она все это говорить и говорить именно ему.

«Она прежде всего завидуетъ Маріи, — подумалъ онъ, — завидуетъ ея красотѣ, ея счастію въ любви, ея успѣхамъ и триумфамъ и, можетъ быть, даже передъ собой самой не сознается въ этомъ, но ее радуетъ страшное, во всякомъ случаѣ, паденіе Маріи. Впрочемъ, она сама довела ее до этого».

— Что вы думаете? — спросила Ядвига, которую, видимо, заинтересовалъ странный взглядъ Рдзавича; она взглянула ему въ глаза.

— Я думаю, что вы очень умны, — отвѣтилъ онъ.

— Часто вы это мнѣ говорили... прежде.

— Да, я говорилъ это вамъ. Если ужъ мы стали вспоминать прошлое, скажите мнѣ, что значили ваши слова, что я иду далеко, не замѣчая того, что близко? Помните?

Ядвига покраснѣла, но, не потерявъ свойственнаго ей спокойствія и увѣренности, спросила:

— Думаете ли вы, что Марія васъ когда-нибудь любила?



— Я обманывалъ себя. Я знаю уже давно, что она меня никогда не любила.

— Да. Вы ее заинтересовали своей артистической душой, какъ Божевскій своею красотою и привлекательностью. Возможно, что, если бы вы не разошлись, и вы, какимъ-нибудь чудомъ, очутились въ положеніи Божевскаго, она сдѣлала бы для васъ то же самое

— То-есть?

— Она вышла бы за Кололяесскаго и готова была бы отдать вамъ свое приданое.

Рдзавичъ вздрогнулъ.

— Не говорите мнѣ даже объ этомъ! Это болѣе, чѣмъ отвратительно. Развѣ вы полагаете, что въ томъ же положеніи я велъ бы себя такъ, какъ Божевскій? Прежде всего взять деньги малолѣтнихъ, потомъ продаться ради денегъ, и, наконецъ, вѣнецъ всего, согласиться, чтобъ любимая женщина вышла за болвана, только чтобъ онъ не мѣшалъ намъ въ нашей жизни?! Марія слаба и пассивна, но Божевскій подлець, и все это отвратительно.

— Прекрасный и «непобѣдимый» Божевскій, — процѣдила вполголоса Стжелиская.

— Божевскій подлець! — повторилъ Рдзавичъ. — Ни одинъ порядочный человѣкъ не долженъ ему подавать руки. И для такого человѣка, ради такого мошенника Марія начинаетъ жизнь преступленіемъ!

— Фразы, — пожала плечами Стжелиская.

— Возможно, что при другихъ обстоятельствахъ я



назвалъ бы это иначе, но въ данномъ случаѣ я называю это преступленіемъ, слышите?

— Оттого, что вы любите Мариню.

— Божевскій долженъ отказаться отъ нея!

— Она не хотѣла отъ него отказываться. Панъ Романъ, ради какихъ убѣжденій, предразсудковъ, этическихъ требованій необходимо отречься отъ чловека, котораго любишь, отъ единственной радости въ жизни? Нѣтъ, это было бы слишкомъ, согласитесь сами.

Спокойствіе и увѣренность Стжелиской потрясли Рдзавича; впрочемъ, она говорила то же, изъ-за чего онъ часто спорилъ съ спокойнымъ моралистомъ Тенжелемъ.

— Но что значило то, что вы мнѣ тогда сказали? — спросилъ онъ, чтобы переменить тему, такъ какъ онъ не зналъ, что отвѣтить.

Стжелиска улыбнулась и, глядя на него свысока, отвѣтила:

— Вотъ что: вы искали любви у Марини, гдѣ вы не могли ее найти, и я уже тогда знала, что не найдете. Вы не хотѣли видѣть, что около васъ есть женщина, которая питала къ вамъ большую дружбу.

Рдзавичу хотѣлось отвѣтить: «А я знаю, что этой женщиной прежде всего было непріятно, что я у ногъ ея кузины, а не у ея ногъ». Но онъ воздержался. Ядвига тогда бы навѣрное ушла, а онъ хотѣлъ еще съ нею поговорить. Онъ промолчалъ и спросилъ:

— Отчего вы насъ сблизили и сказали намъ, въ



концѣ-концовъ, чтобы мы женились, если любимъ другъ друга?

— Миѣ самой тогда казалось одно время, что Марія васъ любитъ. Это была моя ошибка.

— Вѣдь она должна была съ вами говорить обо миѣ?

— Она говорила миѣ, что она васъ любитъ, но чаще всего, что ей такъ, по крайней мѣрѣ, кажется.

Рдзавичъ умолкъ на минуту, потомъ спросилъ:

— Скажите миѣ, что она дѣлала послѣ разрыва со мной?

— Вы меня спрашиваете объ этомъ въ концѣ, а вѣдь ради этого вы, собственно, и хотѣли со мной видѣться; правда? Васъ всѣхъ всегда интересуеть, что дѣлается за вашей спиной съ женщиной, которую вы бросили или которая васъ бросила. Марія нѣкоторое время была удручена. Она говорила, что поступила съ вами отвратительно, что обидѣла васъ, что вы никогда ее не простите...

— Отчего же, въ сущности, она со мной порвала?— прервалъ ее Рдзавичъ.

— Прежде всего и главнымъ образомъ оттого, что ей перестало казаться, что она васъ любитъ. Потомъ, если вамъ интересно, она успокоилась. Нѣсколько мѣсяцевъ она время отъ времени спрашивала: «Что дѣлаетъ этотъ бѣдный Рдзавичъ»? А черезъ полгода, кажется, она забыла вашу фамилію. Я вижу, что вамъ очень неприятно, но я говорю съ вами искренно, какъ вы меня просили.

— Да, спасибо, — отвѣчалъ Рдзавичъ, стараясь по-



давить сильную боль. — Я зналъ, впрочемъ, что такъ было, что не могло быть иначе. Скажите мнѣ еще одно, была ли она съ Божевскимъ такою же, какъ со мной?

— Нѣтъ, онъ былъ другимъ. Вы художникъ, а онъ свѣтскій человѣкъ, не имѣющій понятія о такихъ подробностяхъ въ чувствѣ, какъ вы, но умѣющій гораздо болѣе правиться женщиной.

— Марія его гораздо больше любила, чѣмъ меня, правда?

— Марія настолько любила Божевскаго, насколько она вообще можетъ любить. Ей нравится въ мужчинѣ, прежде всего, представительность, а это было у него въ высшей степени. Притомъ на нее надо смотрѣть не много свысока, а у Божевскаго въ высшей степени развить такой взглядъ на женщину; онъ не падаетъ передъ ними на колѣни, вы же обращались съ Маріей, какъ съ равной, или даже сами поддавались ея вліянію.

— Мнѣ это было очень пріятно, но я чувствовалъ, что она слабѣе.

— Женщины слабѣе и хотятъ чувствовать это въ сношеніяхъ съ мужчинами. Онѣ царятъ тамъ, гдѣ ихъ считаютъ слабѣе. Женщины любятъ приказывать просьбою, но просить приказаніемъ — ваше дѣло. Она всегда должна быть на голову ниже; если она наравнѣ, она оглядывается, благо ничто не мѣшаетъ, а если она выше, то чувствуетъ, что не на что смотрѣть. Женщина только тогда смотритъ сверху, если смотритъ снизу. Чѣмъ больше она женщина, тѣмъ сильнѣе она съ вами; наша женственность для васъ то же, что для



насъ ваша мужественность, сама природа сдѣлала ее ростомъ ниже. Вы съ Мариной держались плохой политики; вы были тогда разстроены и угнетены неприятностями, вы потеряли свой престижъ въ ея глазахъ, и съ той минуты судьба ваша была рѣшена. Слава ваша тогда еле рождалась; впрочемъ, къ этому такая женщина, какъ Мариня, легко привыкаетъ; свѣтскость Божевскаго никогда не потускиветъ въ ея глазахъ. Такой женщиной, какъ Мариня, надо прежде всего нравиться наружностью, въ ней больше тѣла, чѣмъ души, надо понять, что для насъ, полекъ, гостиная значитъ больше спальни, столовой и кабинета для чтенія, а блескъ дома больше, чѣмъ счастье въ немъ.

— Миѣ кажется, что вы правы, — сказалъ Рдзавичъ, котораго стала утомлять быстрая и длинная рѣчь Стжелиской, а мысль о Марии терзала его и отнимала ясность мыслей. — Оттого лучше всего избѣгать менѣе блестящихъ людей, чѣмъ Божевскій.

Стжелиска взглянула на него съ улыбкой, въ которой что-то напоминало смѣлую улыбку изнуреннаго жизнью узника и сказала:

— Кому ужъ кому, но вамъ нечего злиться изъ-за этого всего. У женщины, у которой одинъ любовникъ, бываетъ ихъ потомъ двое и трое.

Она умолкла, такъ какъ Рдзавичъ, блѣдный, со стянутыми бровями и подавшимися назадъ углами губъ, сдѣлалъ къ ней шагъ, глядя на нее стальными глазами.

— Какъ вы смѣете такъ говорить?! — сказалъ онъ сквозь сжатые зубы. — Какъ вы смѣете?!



Она сейчас же овладѣла собой и, пожавъ плечами, сказала съ отгѣнкомъ неприятнаго удивленія:

— Я вижу, что можно быть великимъ художникомъ, а смотрѣть на жизнь, какъ гимназистъ.

Онъ также овладѣлъ собою: во всякомъ случаѣ, Стжелиская была женщина и у него въ гостяхъ. Онъ взялъ ближайшее кресло и бросился на него, какъ человѣкъ, очень утомленный.

— Простите меня, вы сдѣлали мнѣ большую неприятность. Не обижайтесь на меня за то, что я вамъ скажу, но я начинаю думать, что вы, какъ всѣ крайне испорченные люди, любите портить другихъ.

Стжелиская сдѣлала видъ человѣка, Богъ вѣсть за что обижаемаго, и сказала:

— Такъ за то, что я спасла Божевскаго отъ самоубійства или отъ позора, а Мариню отъ несчастной жизни, или отъ потери добраго имени, — вы говорите, что я порчу людей? Что жъ я должна была дѣлать? Ждать, пока Божевскій пуститъ себѣ пулю въ лобъ или попадетъ подъ судъ за растрату? Вообразите, что тогда случилось бы съ Мариной, которая, какъ ни любить, сердцемъ иль нервами, но любить его, его одного на свѣтѣ?

— Нѣтъ, — прервалъ Рдзавичъ, — что вы склоняли Божевскаго жениться на mademoiselle Гольдфельдъ въ томъ положеніи, въ какомъ онъ находился, это я понимаю, но бросить Мариню Кололясскому...

— Что жъ я должна была дѣлать?

— Ждать. Вы сами говорили, что Марія любитъ Бо-



жевскаго больше нервами, чѣмъ сердцемъ. Она бы переждала. А въ томъ, что вы уговорили ее выйти за Кололяскаго, чтобъ ей легче было завести романъ, въ этомъ я вижу страсть портить другихъ; надежда испортить Марию доставляетъ вамъ удовольствіе, это слишкомъ явно. Какая у васъ цѣль, не знаю. Я вамъ скажу прямо, я думаю, что вы морально больны и это было еще лучше всего; но толкаете ли вы Марию въ грязь оттого, что вы больны, или оттого, что вы злы, все равно; я знаю, что это вамъ не удастся, она не упадетъ! Она или не выйдетъ за Кололяскаго и отвернется отъ всего, или, если выйдетъ за него, то не затѣмъ, чтобы на третій день послѣ свадьбы стать любовницей Божевскаго.

Говоря это, Рдзавичъ глядѣлъ на Стжелискую и видѣлъ, какъ она вся измѣнилась въ лицѣ отъ гнѣва, но все-таки не вспылила, а, улыбаясь съ циническою ироніей, отвѣчала съ явнымъ намѣреніемъ раздражить его:

— Не на третій день, нѣтъ, они на первыя двѣ недѣли уѣдутъ въ деревню къ Кололясскому, значить, скорѣе всего на третью недѣлю. Я безнравственное чудовище, правда? Но вы ребенокъ, — кончила она, смѣняя ироническую улыбку презрительной. — Теперь я вижу, что Мариня отлично сдѣлала, бросивъ васъ. Вы бы связали ей жизнь вашей провинціальной моралью. Ей нельзя было бы ни на кого взглянуть, а вы, когда бы она вамъ надоѣла, стали бы выбирать между натурщицами и дамами, съ которыхъ вы пишете портреты. Славную бы вы ей жизнь устроили. Правда? Для муж-



чинъ одни правила, для женщинъ другія. Женщина должна быть «чистымъ ангеломъ», а вы хоть міръ вверхъ ногами переворачивайте. Панъ Рдзавичъ измѣнилъ бы сотнѣ женщинъ ради одной Тыжвецкой, захоти только она, но Тыжвецкая не смѣетъ измѣнить ради своего удовольствія одному болвану, Кололясскому. Правда? А если бы на мѣстѣ Божевскаго былъ панъ Рдзавичъ?

Тонъ, которымъ Стжелиская подчеркнула слова: «захоти только она», задѣлъ Рдзавича за живое, словно онъ получилъ пощечину; кромѣ того, онъ видѣлъ, что она права.

«Захоти она только меня?» сказалъ онъ себѣ мысленно, чувствуя горечь во рту. Онъ ослабѣлъ. Для неокрѣпшихъ послѣ болѣзни силъ всего этого было слишкомъ. Стжелиская замѣтила, вѣрно, что ему дурно, она перестала говорить и пристально на него посмотрѣла.

— Что съ вами? — спросила она немного спустя.

У него потемнѣло въ глазахъ, и онъ чувствовалъ, что, если всѣми силами не удержится, то упадетъ въ обморокъ. Стжелиская встала, положила ему руку на лобъ, попробовала пульсъ и спросила, нѣтъ ли у него эфиру. Онъ отрицательно покачалъ головой, но не могъ говорить; тогда она пододвинула ему столъ, чтобъ онъ могъ опереться, и вышла; вскорѣ она вернулась, говоря, что послала дворника въ аптеку.

— Простите меня, я васъ замучила. Съ вами ничего не будетъ, но все же лучше, если у васъ нужныя средства будутъ дома. Вы должны быть осторожнѣе,



я забыла объ этомъ. А если бы вы заболѣли, дайте мнѣ знать. Я рождена сестрой милосердія и этимъ, вѣроятно, кончу.

Несмотря на обморокъ, Рдзавичъ улыбулся; Стжелиска со своими взглядами — сестра милосердія. Это былъ слишкомъ грубый и яркій контрастъ. Когда, однако, онъ вспомнилъ заботливость, съ которой она ухаживала за нимъ во время его болѣзни въ Кленжѣ, и восторгъ, съ какимъ о ней говорили мужики, которыхъ она лѣчила и за которыми сама ухаживала во время самыхъ заразныхъ эпидемическихъ болѣзней, онъ подумалъ, что у нея необыкновенное и доброе сердце.

— Вы бы развратили всѣхъ сестеръ, — сказалъ онъ, чувствуя, что ему лучше и что гнѣвъ его противъ Ядвиги, которая съ безпокойствомъ смотрѣла на него, проходить. Въ эту минуту онъ почувствовалъ къ ней прежнюю симпатію; онъ былъ благодаренъ ей за то, что видѣлъ въ ней искреннюю заботливость.

— Можете встать? — спросила она.

— Могу.

— Встаньте.

Рдзавичъ всталъ и прошелъ нѣсколько разъ по комнатѣ.

— Ничего съ вами не будетъ, вы только еще немного слабы, — сказала Стжелиска. — Не надо всему придавать такого значенія и принимать все къ сердцу. Вамъ надо уѣхать. Я пойду, ужъ поздно. Я рада, что вамъ сдѣлалось дурно, а то бы мы плохо разстались. Помните, что вы во мнѣ найдете всегда дружеское серд-



це. Выйдите сейчасъ прогуляться и освѣжитесь. Остерегайтесь только madame Геймертъ: чѣмъ хуже будетъ вашъ видъ, тѣмъ съ большимъ восторгомъ будетъ она на васъ смотрѣть. Я знаю, всѣ объ этомъ говорятъ. До свиданія.

— Господи! — крикнулъ Рдзавичъ съ нетерпѣніемъ. — Есть о чемъ говорить! Вы мнѣ лучше скажите еще одно, говорила ли Марія съ Божевскимъ обо мнѣ?

— Я сама ее спрашивала объ этомъ, интересно было. Она ему сказала, что была съ вами помолвлена, сама не знаетъ, отчего; нѣкоторое время ей казалось, что она васъ любитъ, потомъ она порвала, и ей было васъ жалко, но серьезно она никогда не думала за васъ выйти замужъ. У него осталось такое впечатлѣніе, что это была полуребяческая выходка скучающей барышни, которая слишкомъ много себѣ позволяетъ, зная, что ей все можно. Въ этомъ много правды.

Рдзавичъ прикусилъ губы.

— Онъ вообще очень доброжелательный человѣкъ, и ему было васъ жалко. Однажды при мнѣ онъ даже говорилъ Маринѣ, что она дурно поступила, обманывая васъ, но она его перебила (тогда она была въ веселомъ настроеніи), чтобы онъ не раздражалъ ея чувствительность и не заставлялъ порвать съ нимъ и вернуться къ вамъ, что ей очень легко. Вы знаете, она ужасно любитъ дразнить.

Рдзавичъ почувствовалъ вдругъ враждебное чувство



къ Маріи, и ему захотѣлось узнать что-нибудь, ей не-  
пріятное; онъ спросилъ:

— Что жъ говорятъ вашъ отецъ, бабушка и другіе  
родственники по поводу такой внезапной перемѣны:  
отъ Божевскаго къ Кололясскому?

— Родственники? — повторила Стжелиска. — Будь-  
те увѣрены, что никто не станетъ удивляться, что  
Мариня не хочетъ итти за банкрота, и все́ будутъ до-  
вольны, что она идетъ за Кололяскаго, у котораго  
около трехсотъ тысячъ состоянія и репутація серьез-  
наго и замѣчательно честнаго человѣка. Притомъ все́мъ  
надоѣло заботиться о ней, надоѣло и то, что мой  
отецъ слишкомъ хорошо берегъ ея приданое и что отъ  
него ничѣмъ не удалось попользоваться.

— Вы черните людей.

— Каждый влюбленный думаетъ, что родственники  
его возлюбленной не такіе, какъ все́, оттого что они  
ея родственники. Было бы лучше всего, если бы вы  
выкинули Мариню изъ головы разъ навсегда.

— Я уже давно это сдѣлалъ, — сказалъ Рдзавичъ,  
чувствуя въ эту минуту, что его ничто съ Мариней  
не связываетъ. — Мнѣ было только любопытно знать  
все.

Стжелиска не могла скрыть улыбки, а потомъ, про-  
тягивая ему руку, сказала сердечно:

— До свиданія. Не погибайте и ищите женщинъ,  
которыя васъ понимаютъ такимъ, какой вы въ дѣйстви-  
тельности, и которыя васъ уважаютъ за то, что въ  
васъ есть. До свиданія.



Послѣ ухода Ядвиги Рдзавичъ чувствовалъ себя такимъ утомленнымъ, развинченнымъ, раздавленнымъ, что ему казалось, будто въ головѣ у него что-то падало и летѣло. Ему не хотѣлось задумываться о томъ, что она говорила, онъ не хотѣлъ вспоминать, боялся. Онъ боялся, что, если онъ позволить себѣ думать о Маріи, то сойдетъ съ ума, или сдѣлаетъ что-нибудь несообразное, а главное, онъ былъ утомленъ и хотѣлъ отдохнуть. У него не было силъ ни на что, даже на потерю разсудка. «Другого воздуха, другой атмосферы! Вырваться! Отряхнуться!» вздохнулъ онъ вполголоса, опираясь головой о косякъ дверей, у которыхъ остановился, провозжая Стжелискую. И передъ его глазами показалось чистое лицо Эли Росенской, все въ зелени и солнцѣ. Онъ схватилъ шляпу, выбѣжалъ изъ мастерской и вскочилъ на извозчика; черезъ нѣсколько минутъ онъ звонилъ уже къ Пшервицамъ. Лаура была дома.

— Если вы собираетесь къ Росенскимъ, — сказалъ онъ, быстро входя, — а я дѣйствительно могу воспользоваться ихъ приглашеніемъ, то я поѣду.

— Имъ будетъ очень пріятно, — отвѣчала Лаура, — они такіе хорошіе люди. Я не знаю, когда мы поѣдемъ, но я сегодня же переговорю съ Юріемъ, когда онъ вернется. Садитесь, я велю поставить вамъ приборъ, вы позавтракаете съ нами.

Она вышла изъ комнаты, а Рдзавичъ, глядя, какъ она шла въ бѣломъ утреннемъ костюмѣ, шепнулъ съ огромной, отчаянной болью:

— Какъ она чиста! Какъ она бѣла!



## VI.

Маленькій котенокъ, совсѣмъ бѣлый, съ розовымъ носикомъ и зелеными глазенками, былъ въ отчаянномъ положеніи. Сзади на дорожкѣ стоялъ журавль, котораго онъ страшно боялся, по обѣимъ сторонамъ дорожки росла высокая мокрая трава, въ которую онъ ни за что бы не вошелъ, а передъ нимъ невозмутимо стоялъ могущественный индюкъ, мотавшій время отъ времени своей страшной головой. Всякій разъ, какъ индюкъ кивалъ головой, маленькій котенокъ вздрагивалъ и немного отступалъ, потомъ, однако, сейчасъ же дѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, имѣя въ виду журавля, который стоялъ сзади. Наконецъ, онъ сѣлъ и, не спуская глазъ съ индюка, лизнулъ свою лѣвую переднюю лапу и вымылъ ею мордочку, потомъ поднялъ заднюю правую выше головы, полизалъ ее нѣсколько разъ и снова занялъ неподвижную позицію противъ неподвижнаго индюка. Наконецъ, когда индюкъ долго не кивалъ головой, онъ осмѣлился осторожно протянуть лапку, какъ бы предлагая индюку посторониться, но сейчасъ же съ ужасомъ отдернулъ ее. Онъ попробовалъ второй и третій разъ, но каждый разъ такъ же быстро отступалъ. Вдругъ журавль сдѣлалъ два шага впередъ; маленькій котенокъ, принявъ это за атаку, сдѣлалъ громадный прыжокъ наискось надъ индюкомъ, такъ что пролетѣлъ надъ нимъ, описавъ дугу въ воздухѣ, съ



растопыренными лапами и вытянутымъ хвостомъ, и, упавъ въ какомъ-нибудь полуметрѣ за индюкомъ, сталъ быстро убѣгать по дорожкѣ. Тутъ встрѣтило его новое приключеніе: два лягавыхъ щенка отошли отъ матери, лежавшей за ними на травѣ, пошли ему навстрѣчу и стали на дорожкѣ лицомъ къ нему, поднявъ одну лапку, съ открытыми мордочками, веселые, игривые, любопытные и смѣлые.

Маленькій котенокъ не боялся старой лягавой, съ которой былъ знакомъ со дня своего рожденія, но къ щенятамъ, однако, онъ питалъ нѣкотораго рода аристократическое отвращеніе и даже (правда, чуть-чуть) что-то въ родѣ страха. Они были толстые, черные, съ обвислыми ушами. Маленькій котенокъ остановился и задумался. Онъ оглянулся: журавль былъ далеко и искалъ чего-то въ травѣ; индюкъ гдѣ-то пропалъ. Маленькій котенокъ придалъ на минуту своему лицу выраженіе: «а, видишь, сукинъ сынъ!» Но было некогда, надо было рѣшиться, какъ быть со щенятами. Можно перескочить черезъ нихъ, но за ними изъ травы вышелъ еще одинъ, потомъ другой, потомъ третій, такъ что всего ихъ стало пять, и, перескочивъ черезъ двухъ первыхъ, можно было попасть въ самую середину къ тремъ остальнымъ. Къ счастью, маленький котенокъ совсѣмъ не боялся суки, которая спокойно лизала шестого щенка.

Между тѣмъ, первые два понемногу къ нему приближались; тогда котенокъ согнулъ спину и принялъ грозный видъ, чтобъ испугать ихъ однимъ взглядомъ.



Но они шли къ нему съ глуповатыми фізіономіями, нѣмного боясь, но не въ состояніи преодолѣть любопытства. На разстояніи шага они остановились и вытаращили на него глаза. Тогда котенку пришло въ голову, не попробовать ли завязать съ ними игры. Онъ наблюдалъ за ними уже два мѣсяца и не разъ замѣчалъ, что они очень всело играютъ, правда, грубо, невоспитанно и неизящно, но нельзя не согласиться, что пріятно. У маленькаго котенка во всемъ домѣ не было подходящаго общества, и ему не разъ хотѣлось познакомиться съ ними; ихъ мать его обласкивала и лизала его всякій разъ, какъ онъ подходилъ къ ней. Маленькій котенокъ подумалъ, что, быть можетъ, теперь самая удобная минута завязать знакомство, и замѣнилъ грозную позу привѣтливой. Щенята подошли и стали его обнюхивать, осторожно протягивая къ нему головки; осмѣлившись и желая выразить свое расположеніе, одинъ изъ нихъ лизнулъ котенка въ носъ; котенокъ быстро далъ ему пощечину, потомъ перескочилъ черезъ его братьевъ, потомъ черезъ мокрую траву, которая въ этомъ мѣстѣ узкимъ клиномъ подходила къ окну, и вскочилъ на подоконникъ. Здѣсь онъ былъ въ безопасности: свысока взглянулъ онъ на удивленныхъ щенятъ, поднявшихъ кверху мордочки какъ за птицей, которая выпорхнула у нихъ изъ-подъ ногъ, облизалъ свои мокрыя лапочки и, въ отличномъ расположеніи духа, сталъ ловко подбивать и ловить шнурокъ отъ занавѣсей.

— Кисъ, кисъ! — крикнулъ изъ другого окна Рдза-



вичъ, глядѣвшій на дворъ и на котенка; котенокъ высунуль мордочку изъ-за рамы, увидѣлъ, что это знакомый, мяукнулъ, соскочилъ на полъ и подошелъ къ Рдзавичу, который взялъ его на руки, посадилъ на подоконникъ и позволилъ играть часовой цѣпочкой.

Рдзавичъ былъ въ Загужѣ у Росенскихъ ужъ пятый день. Онъ выѣхалъ изъ Варшавы съ Пшервицами только черезъ двѣ недѣли послѣ разговора съ Ядвигой, такъ какъ Пшервицъ хотѣлъ кончить какой-то литературный трудъ; все это время онъ не выходилъ изъ дому, чтобъ не встрѣтить Маріи, кого-нибудь изъ ея близкихъ или Кололяскаго. Эти двѣ недѣли были для него ужасны, и онъ не могъ дожидаться дня отъѣзда изъ Варшавы.

Въ немъ все кипѣло. Минутами онъ вскакивалъ и хотѣлъ бѣжать къ Маріи, броситься передъ нею на колѣни и молить ее не выходить замужъ за Кололяскаго; минутами имъ овладѣвала полнѣйшая апатія или онъ начиналъ смѣяться самъ надъ собою. Не доказательство ли высшаго слабоумія рвать волосы оттого, что женщина, которая любила одного, выходитъ за другого? Такъ ли, иначе ли, ему что за дѣло? Бросится ли Марія на шею Божевскому, или Кололясскому, иль по очереди будетъ обнимать ихъ обоихъ, — ему во всякомъ случаѣ нечего ожидать. Онъ совсѣмъ оселъ, что портить себѣ жизнь мыслями о ея бракѣ. Развѣ одно... развѣ Стжелиска была права, что женщина, у которой есть одинъ любовникъ, становится потомъ любовницей второго, третьяго.



Думая объ этомъ, онъ проклиналъ и себя и Стжелискую, иной разъ чувствовалъ циническое удовольствіе, иной разъ униженіе, стыдъ, зависть; Марія могла его оттолкнуть. Иной разъ онъ забывался до такой степени, что думалъ о томъ, чтобы постараться сблизиться съ Маріей, и какъ это сдѣлать. Совсѣмъ такъ, словно она была уже извѣстной въ этомъ отношеніи женщиной. И снова ему становилось жаль ея, имъ овладѣвалъ и гнѣвъ на себя самого, ему хотѣлось упасть на колѣни и просить у нея прощенія. Во всемъ этомъ самымъ страшнымъ было для него то, что онъ ничто для Маріи, что теперь, когда въ его головѣ все клубится и мчится, его образъ не мелькаетъ тамъ ни на мгновеніе. Чувства, которыя онъ питалъ теперь къ ней, онъ не умѣлъ бы даже назвать: постоянная, громадная, не уменьшающаяся боль и увѣренность, что, что бы то ни было, онъ долженъ думать объ этой женщинѣ; его мысль связана съ ней разъ навсегда и не могла бы отъ нея оторваться и не сумѣла бы, если бъ онъ этого даже хотѣлъ.

Марія вошла въ его кровь, сдѣлалась частью его организма. Этой мысли онъ покорился. Онъ отлично понималъ, что ломаетъ свою жизнь, и согласился съ этимъ, какъ страстный алкоголикъ покоряется мысли, что водка, которой онъ не бросить, убьетъ его. Призракъ гибели черезъ Марію все чаще и чаще вставалъ передъ его глазами; онъ смотрѣлъ на него, какъ приговоренный къ смерти смотритъ на строящійся на его глазахъ эша-



фоть. То, что съ нимъ случится, будетъ страшно, — но пусть!

Разстроенные нервы сдѣлали его суевѣрнымъ. Онъ вспоминалъ всевозможные случаи изъ своей связи съ Маріей, все тогда предвѣщало дурной исходъ, а онъ не обращалъ на это вниманія. Даже послѣ разрыва онъ велѣлъ Тенжелю пить за здоровье ея любовника и самъ пилъ, какъ бы предчувствуя, что это будетъ. Съ того времени прошелъ годъ, и вотъ уже векорѣ конецъ половины второго года... Не тратить ли онъ попустому жизнь?... Не скажетъ ли онъ когда-нибудь, какъ Бальзакъ: «миѣ кажется, что я прошелъ мимо моей жизни»? Иной разъ лицо Эли Росенской, тихое, чистое, съ вишневыми губами, зовущими «жажду!» и какъ бы созданными для поцѣлуевъ, вставало передъ его глазами, какъ воспоминаніе пережитаго когда-то июльскаго утра, запечатлѣвшееся въ памяти среди другихъ прожитыхъ минутъ и возвращающееся время отъ времени.

Прежде всего онъ, однако, чувствовалъ, что кругъ его мыслей ужасно грязенъ. Все, что сдѣлалъ Божевскій, все, что должно было случиться съ Кололяскимъ, семейства Божевскаго и Маріи, Стжелиска — все это было грязно. Относительно Маріи онъ не хотѣлъ употребить этого слова, не могъ, не смѣлъ и, когда думалъ объ этомъ, то старался не думать о Маріи. Онъ защищалъ ее передъ самимъ собою: прежде всего, она очень несчастна, очень несчастна, тѣмъ болѣе, что у нея всѣ данныя быть счастливой, и она это знаетъ и чувствуетъ. Съ пассивнымъ характеромъ, легко под-



дающаяся чужому вліянню, воспитанная подъ вліянiемъ такой тетки, какъ Пожелская, и такой кузины, какъ Стжелиска, избалованная людьми, очарованная успѣхомъ и своей красотой, она сама не знаетъ, что дурно, что хорошо, что можно, чего нельзя... Лучшимъ доказательствомъ, какая у нея природа, чѣмъ бы она могла быть и чѣмъ бы должна была быть, можетъ послужить готовность, съ которой она предложила Божевскому свое приданое для покрытія растроченнаго имъ капитала малолѣтнихъ; она отдала бы все, если бы понадобилось. Что она понимаетъ, что такое деньги и чего онѣ стоятъ, онѣ зналъ еще давно, не разъ еще невѣстою она говорила, что отлично понимаетъ, отчего родственники такъ ухаживаютъ за ней. Она даже говорила, что тетка Пожелская хотѣла бы ее выдать за богача, чтобы онѣ подписалъ ей мужу вексель или прямо далъ деньги; конечно, это былъ бы родственный подарокъ подъ видомъ займа. Она ему разъ сказала въ минуту раздраженія и грусти: «Тетка выдала бы меня за перваго встрѣчнаго, лишь бы у него были деньги и была надежда, что онѣ дастъ ей взаймы».

Она теперь, по всей вѣроятности, толкаетъ ее къ браку съ Кололяскимъ. Кололяскій идеаль: глупъ, добръ, богатъ, и его можно будетъ обирать, а къ тому же у него порокъ сердца, онѣ можетъ скоро умереть, а тогда наслѣдниками, собственно говоря, станутъ тетка Пожелская съ мужемъ и сыномъ. Онѣ готовъ былъ крестъ цѣловать, что madame Пожелская думаетъ такъ, и у него совсѣмъ не было чувства, что онѣ



обижаетъ эту женщину такими подозрѣніями. Во всей этой сферѣ Божевскихъ, Стжелиескихъ, Пожельскихъ, Мойвилловъ, Гольдфельдовъ *e tutti quanti*, Марія была бѣднымъ, очень бѣднымъ ребенкомъ, дѣвушкой, заброшенной въ жизнь, въ злую людскую толпу. Ему было ее такъ жаль, что, казалось ему, онъ охотно позволилъ бы себѣ кровь выпустить, лишь бы ее вырвать отсюда, но онъ чувствовалъ, что его самого что-то душишь и что, если онъ не выветея изъ Варшавы, то не выдержитъ. Правда, онъ могъ бы уѣхать куда-нибудь за границу или въ окрестности, но онъ чувствовалъ потребность вздохнуть чистымъ воздухомъ польской деревни и прожить нѣкоторое время, какъ онъ выражался, въ обществѣ «чистыхъ» людей. Madame Пшервицъ представляла ему семью Росенскихъ въ идеальныхъ краяхъ, и, если бы не хроническая болѣзнь самой Росенской, это, по ея словамъ, былъ бы чистый деревенскій рай.

Его беспокоила только мысль о встрѣчѣ съ Элей.

Такой дѣвушкѣ, какъ Эля, до конца жизни будетъ его стыдно, и, пожалуй, она чувствуетъ себя обиженной имъ... Онъ ее сломалъ, покорилъ, пересилилъ. Если бъ она отдала ему навсегда ту руку, которую онъ задержалъ самовольно въ своей, то это осталось бы для нея стыдливымъ, но милымъ воспоминаніемъ, но объ этомъ нечего даже говорить. Если бы она даже полюбила его и родители согласились, то онъ - то не былъ теперь въ состояніи даже понять, какъ могъ онъ хотя бы на минуту поддаться впечатлѣнію, что въ



немъ зарождается къ Элѣ какое-нибудь чувство. Марія закрыла ему весь міръ; не свѣтомъ, какъ тогда, когда порвала съ нимъ, но чѣмъ-то темнымъ, угрюмымъ и зловѣщимъ. Впечатлѣніе, произведенное на него Элей Росенской, исчезло такъ же быстро, какъ возникло. Если его беспокоила мысль о встрѣчѣ съ ней, то лишь оттого, что онъ считалъ себя передъ ней виноватымъ. Во всякомъ случаѣ, онъ далъ ей замѣтить, что онъ къ ней равнодушенъ или... Онъ поступилъ съ ней, какъ съ свѣтской кокоткой. Если она — а у нея есть на это право — будетъ искать у него въ глазахъ то, что она въ нихъ видѣла, когда онъ бралъ ея руку, и не найдетъ, она должна будетъ почувствовать, что онъ поступилъ съ ней, какъ съ кокоткой, хотя бы она и не знала этого слова. На всякую другую онъ махнулъ бы рукой, съ Элей онъ не могъ этого сдѣлать и не хотѣлъ. У него хватило смѣлости на то, чтобъ, увидѣвъ въ первый разъ эту дѣвушку и сразу ее понявъ, поступить съ нею почти нахально; теперь онъ боялся ея взгляда. Онъ пробовалъ узнать что-нибудь отъ Лауры, которая ничего не знала о случившемся, онъ даже прямо ее спросилъ, не будетъ ли Элѣ непріятенъ его пріѣздъ. Лаура отвѣчала, что Росенскіе охотно приглашаютъ его, какъ близкаго родственника Юрія, котораго онѣ очень любятъ, что барышни, конечно, не вмѣшиваются въ это, но она не понимаетъ, отчего бы Элѣ его пріѣздъ могъ быть непріятенъ, тѣмъ болѣе, что во время раута она ничѣмъ не показала, что Рдзавичъ ей несимпатиченъ. Ей по необходимости пришлось



объяснить всѣмъ встрѣчу съ Маріей на раутѣ, иначе никто бы не понялъ его поведенія. Потомъ ей мало удалось говорить съ Элей, она на другой же день заболѣла и слегла въ кровать на два дня въ гостиницѣ, а на третій день пришло извѣстіе, что матери ея хуже, и проектъ остаться недѣльки на двѣ въ Варшавѣ поэтому рухнулъ. Онѣ пріѣдутъ осенью, когда родители поѣдутъ на воды.

Рдзавичъ замѣтилъ, что Лаура говорила съ нимъ объ Элѣ серьезно и съ нѣкоторой сдержанностью, гораздо менѣе свободно, чѣмъ въ первый разъ, когда онъ съ ней говорилъ о ней.

Она хочетъ, чтобъ я не думалъ объ Элѣ, или, чтобы Эля обо мнѣ не думала, — подумалъ онъ, — или ей не хочется вмѣшиваться въ это и она хочетъ дать мнѣ это понять. Но, во всякомъ случаѣ, послѣ того, что она видѣла, ей нечего меня подозревать.

Тѣмъ не менѣе, по мѣрѣ приближенія дня отъѣзда въ Загуже, онъ сталъ немного беспокоиться. Наканунѣ выѣзда ему хотѣлось написать Пшервицамъ, что онъ не ѣдетъ.

Когда они подѣзжали, имъ овладѣла легкая дрожь, и ему стоило многихъ усилій овладѣть собой. Первой выбѣжала Рузя и чуть не бросилась послѣ Лауры и Пшервица на шею къ нему, потомъ съ нимъ очень радушно поздоровался Росенскій, поблагодаривъ Пшервицевъ за то, что они его привезли, а его, что онъ пріѣхалъ. Madame Росенская, которую привезли въ столовую, приняла его также очень радушно и просила



его чувствовать себя какъ дома. Во всемъ этомъ было много сердечнаго и милаго.

Эля ушла куда-то въ деревню; когда она пришла, сѣдѣли уже за столъ. Когда она вошла, она покраснѣла до ушей, но никто не обратилъ на это вниманія, такъ какъ молодыя барышни краснѣютъ легко при первомъ удобномъ случаѣ; съ Рдзавичемъ она поздоровалась очень привѣтливо, но онъ замѣтилъ, что она сильно взволнована и всѣми силами старается скрыть это. Кромѣ него и Лауры, какъ ему казалось, никто этого не замѣтилъ; онъ самъ чувствовалъ себя не въ своей тарелкѣ и нѣсколько разъ начиналъ разговоръ на тему, какъ утомляетъ желѣзная дорога, особенно, когда жарко.

Съ Элей, возлѣ которой ему пришлось сидѣть, онъ мало разговаривалъ; ни она, ни онъ не старались завязать разговора. Онъ былъ увѣренъ, что она видитъ, что онъ съ ней какъ-то стѣсняется.

Слѣдующіе дни не измѣнили ихъ отношеній; онъ видѣлъ, что Эля красива и привлекательна, но почти не помнилъ, что думалъ когда-то о возможности серьезно увлечься этой дѣвушкой. Мысль о Маріи не покидала его и не переставала его мучить; ему было только потому лучше, что онъ былъ отъ нея далеко, притомъ его стала влечь къ себѣ природа; у него въ головѣ родилась картина: дѣвушка, нашедшая цвѣтъ папоротника, и другая, которую тащитъ въ рѣку водяной, до половины выплывшій изъ воды.

Пшервицы и Рузя веселились, какъ дѣти, Эля была



немного задумчива и замѣчательно предупредительна, деликатна и добра съ Рдзавичемъ, который подчасъ съ трудомъ скрывалъ свою грусть. Она словно угадывала, чего ему надо и что ему неприятно. Сколько разъ, однако, случалось, что они оставались одни, и она всякій разъ старалась найти предлогъ чтобы уйти, и приходила, когда кто-нибудь возвращался; если же такого предлога найти было невозможно, она много говорила о самыхъ обыкновенныхъ дѣлахъ, видимо, принуждая себя, такъ какъ она вообще не была охотницей говорить, и ни съ кѣмъ другимъ такъ не разговаривала. Онъ же отдыхалъ и чувствовалъ, что ему съ этой дѣвушкой хорошо. Не разъ ему хотѣлось безъ малѣйшей чувственности склонить голову на ея грудь и закрыть глаза. Такая ли дѣвушка представлялась ему — думалъ онъ, — когда онъ писалъ Теижелю изъ Италіи, что ему хотѣлось бы излить свое горе на груди доброй и умной женщины?..

Чувство страсти къ Элѣ совсѣмъ теперь имъ не овладѣвало; съ равнодушнымъ удовольствіемъ смотрѣлъ онъ на ея лицо и формы, скорѣе, какъ художникъ на произведеніе искусства, чѣмъ молодой человекъ на молодую дѣвушку.

На пятый день послѣ пріѣзда случилось такъ, что Эля забыла переодѣться передъ прогулкой и вернулась съ дороги. Лаурѣ, отлично знавшей Загуже, пришло въ голову пойти въ другую сторону, чѣмъ всѣ рѣшили сначала. Элѣ надо было дать знать объ этомъ, и Рдзавичъ вернулся за ней. Они встрѣтились. На ней



было бѣлое мягкое платье съ золотымъ поясомъ, бѣлая мягкая шляпа и красный зонтикъ. Она шла быстро, и была вся розовая; увидѣвъ Рдзавича, она застѣнчиво и мило улыбнулась, а потомъ еще больше покраснѣла.

— Вы вернулись? — спросила она.

— За вами. Пани Лаура измѣнила планъ прогулки. Не спѣшите такъ, вы страшно утомлены.

Они повернули по боковой дорожкѣ въ поле и шли довольно медленно. Передъ ними поднимались холмы, поросшіе лѣсомъ, а кругомъ, сколько глазомъ окинешь, все хлѣба, хлѣба. Былъ одиннадцатый часъ утра, солнце сильно грѣло и вызывало изъ земли, изъ хлѣбныхъ нивъ, изъ полевыхъ цвѣтковъ крѣпкій, наркотическій, теплый запахъ. Они шли молча другъ возлѣ друга, ея мягкая шляпа съѣхала немного на затылокъ, на волосы, а легкій вѣтерокъ то моделировалъ, то стиралъ формы ея ногъ подъ мягкимъ платьемъ. Кругомъ была весна во всей своей полнотѣ, со всѣмъ своимъ плодотворнымъ инстинктомъ; тогда головы Эли и Рдзавича, какъ бы случайно, наклонились другъ къ другу на минуту.

Она стала сейчасъ же говорить о Пшервицахъ, а онъ почувствовалъ, что, несмотря на все, что въ немъ происходитъ, онъ жаждетъ этой дѣвушки. Онъ взглянулъ на нее; поклонился, сорвалъ нѣсколько васильковъ и подалъ ей; она привѣтливо кивнула ему головой и заткнула цвѣты за поясъ.



— Вы бросите ихъ, когда они увянутъ? — спросилъ онъ, чувствуя, что этотъ вопросъ ей непріятенъ.

Дѣйствительно, Эля взглянула на него, какъ бы съ чувствомъ страха и неудовольствія; однако, она спокойно отвѣтила:

— Нѣтъ. Цвѣтовъ отъ такихъ людей, какъ вы или кузень Юрій, не бросаютъ.

Отвѣтъ этотъ былъ такъ не въ ея стилѣ, что Рдзавичъ нетерпѣливо мотнулъ головой и сказалъ:

— Зачѣмъ вы такъ говорите? Если бъ это сказала madame Геймертъ или первая встрѣчная женщина, то ей это было бы къ лицу, но не вамъ.

— Во-первыхъ, насколько мнѣ извѣстно, madame Геймертъ не первая встрѣчная, а во-вторыхъ, отчего бы мнѣ не было къ лицу то же, что первой встрѣчной? — сказала она.

— Оттого, что вы не такая.

— Вы меня слишкомъ мало знаете, чтобъ судить обо мнѣ хорошо или дурно.

— Настолько, довольно. Вы могли бы меня спросить, отчего мнѣ хочется знать, бросите ли вы эти цвѣты, или нѣтъ, хотя это такая мелочь, что не о чемъ, собственно говоря, и спрашивать. Я самъ даже не знаю, отчего я спросилъ.

— Ну, такъ будемъ говорить о другомъ, — сказала быстро Эля, пользуясь его послѣдними словами, чтобъ переменить разговоръ. — Повѣрьте мнѣ, однако, я совсѣмъ искренно сказала, что отъ такихъ людей, какъ вы, каждая женщина съ удовольствіемъ спрячетъ цвѣ-



ты, хотя бы для того, чтобы похвастаться, — добавила она съ улыбкой.

Онъ же, словно повинуюсь какому-то внутреннему голосу, отвѣтилъ:

— Я бы васъ просилъ не бросать этихъ цвѣтовъ, они были вамъ даны отъ души.

— Въ такомъ случаѣ, я ихъ еще лучше спрячу, — отвѣчала Эля, краснѣя, но тотчасъ же добавила:

— Не видите ли вы гдѣ-нибудь Рузи и Лауры?

Въ эту минуту Рдзавичъ почувствовалъ потребность говорить о томъ, что между ними произошло; онъ зналъ, что Элѣ это будетъ неприятно, но не могъ сдержаться. У него появилось желаніе раздражить ее, желаніе, которое, однако, не выразилось въ простой формѣ стремленія подѣйствовать на ее чувство.

— Въ васъ должно быть по отношенію ко мнѣ чувство обиды?

— Обиды? Почему? — спросила Эля, смущаясь.

Въ немъ снова проснулось къ ней чувство хищной птицы: онъ пристально взглянулъ прямо въ глаза Элѣ и сказалъ, нарочно выбирая слова:

— За то, что я позволилъ себѣ сдѣлать.

Эля поблѣднѣла и грустно взглянула на него.

— Отчего вы не отвѣчаете? — спросилъ онъ, чувствуя страстное желаніе мучить ее.

— Мнѣ нечего отвѣчать, — сказала Эля, съ усиленным стараньемъ казаться спокойной.

— Вы слишкомъ вѣжливы, чтобъ отвѣтить мнѣ, какъ я заслуживаю. Притомъ я вашъ гость. Впрочемъ, вы



вообще очень снисходительны и добры, — кончилъ онъ со смѣлою и вызывающею ядовитостью въ выраженіи лица и голоса.

Эля поняла; лицо ея облилось кровью, онъ же продолжалъ съ ироническимъ равнодушіемъ.

— Вамъ очень идетъ этотъ румянецъ гнѣва, вы похожи на Діану; простите я думалъ, что кое о чемъ не такъ легко забыть. Вамъ кажется, что это слишкомъ; правда?

Эля не отвѣчала, она отвернулась и пошла обратно въ ту сторону, откуда они пришли. Рдзавичъ остановился и смотрѣлъ ей вслѣдъ; онъ увидѣлъ, что она плачетъ.

Въ первую минуту онъ почувствовалъ болѣзненное удовольствіе раздробить, раздавить что-то; это чувство присуще всѣмъ людямъ, обиженнымъ и раздавленнымъ судьбою; но потомъ ему стало ея жалко, онъ почувствовалъ потребность оправдаться, и вмѣстѣ съ тѣмъ теперь онъ чувствовалъ больше, чѣмъ когда-либо, свое собственное несчастіе. Онъ побѣждалъ за Элей съ протянутой рукой, и почти касаясь ея руки, сказалъ взволнованнымъ голосомъ:

— Mademoiselle Эля, простите. Я теперь въ такомъ состояніи, что не знаю, что говорю и дѣлаю. Если бы вы знали, что происходитъ во мнѣ, вы не сердились бы, вы поняли бы, что иной разъ трудно овладѣть собой. Не плачьте, вернитесь...

Минуту Эля боролась съ собой, потомъ осушила платкомъ глаза и, не отвѣчая ни слова, повернула



и съ сжатыми губами пошла впередъ. Рдзавичъ видѣлъ, что она нарочно идетъ быстро, желая устать и покраснѣть, чтобъ не было видно, что она плакала. Ему стало ее жалко. Если онъ укололъ эту дѣвушку, то глубоко и больно. Это онъ отлично понялъ; онъ не могъ только понять, откуда въ немъ явилась эта страсть дразнить и мучить, стремленіе бросать въ глаза тѣмъ, что больнѣе всего; отчего съ красивой, милой Элей онъ поступилъ такъ, что этого нельзя уже исправить? Отчего онъ обижаетъ созданіе, которое видимо шло къ нему съ теплымъ сердцемъ?

— Миѣ не остается ничего, кромѣ отъѣзда, — подумалъ онъ. — Невозможно же здѣсь больше оставаться. Поѣду въ Варшаву, а тамъ ужъ будь, что будетъ.

Вдругъ Эля увидѣла Пшервицевъ и Рузю, ждавшихъ ихъ; она махнула зонтикомъ и стала итти еще быстрѣе.

— Мы ждемъ! — кричала Лаура. — Не бѣги такъ, задохнешься!

Войдя на холмикъ, Эля упала на траву, еле дыша. Лаура стала ее журить, что нѣтъ смысла такъ бѣгать; она покраснѣла, какъ ракъ, даже глаза красные.

Эля старалась быть спокойной и веселой; Рдзавичъ, однако, видѣлъ, что она собираетъ всѣ силы, чтобъ ничѣмъ не обратить на себя вниманія; нѣсколько разъ голосъ ея задрожалъ, какъ бы отъ слезъ. Они не разговаривали другъ съ другомъ; его молчаніе не удивляло никого; вообще съ нимъ здѣсь старались такъ держаться, чтобъ онъ не чувствовалъ на себѣ ничьего взгляда.



Ему было жаль бѣдной Эли, съ которой онъ такъ варварски поступилъ, и его мучила мысль, что она должна теперь разочароваться въ немъ; съ другой стороны, онъ самъ былъ такъ раздраженъ, что ему было непріятно быть въ обществѣ, и понемногу отставая, онъ очутился, наконецъ, одинъ. Онъ легъ на траву лицомъ къ громадному пылающему солнцу. Былъ полдень. Теперь у madame Пожельской садятся завтракать, возлѣ Маріи ея женихъ, панъ Кололяскій. Или всѣ у Лурса, тетка Пожельская около двѣнадцати ужасно любить наѣсться пирожныхъ; Кололяскій сидитъ у столика возлѣ Маріи, знакомые киваютъ ему головой съ многозначительными улыбками, незнакомые глядятъ на эту прелестную барышню и не могутъ понять, какимъ образомъ этотъ не первой молодости пухлый блондинъ обращается съ ней, какъ съ невѣстой? Онъ вѣрно очень богатъ, — говорятъ они мысленно. Будетъ ему уже, — добавляютъ они и улыбаются. Впрочемъ, каждый гарсонъ объяснить, что это Тыжвѣцкая, что она выходитъ за этого господина; тетка Пожельская вѣдь часто беретъ тамъ конфекты и пирожное на счетъ своей племянницы, часто даже безъ ея вѣдома.

— Знаешь, Маринетка, тамъ есть маленькій счетикъ у Лурса, — говоритъ она потомъ. Такіе счетики бывали время отъ времени и у модистки, и у перчаточника, разъ даже у мужского сапожника: «у дяди нога болѣла». Нога, должно быть, болѣла долгое время. Марія заплатила тогда около сорока рублей.

Все это она какъ-то рассказывала ему, когда пос-



сорилась съ теткой, именно изъ-за него, котораго тетка особенно не долюбивала.

Тогда Марія забросила ему руки на шею — они остались въ комнатѣ одни, Ядвига Стжелиская ушла — и сказала :

— Ты одинъ только мой. Порву съ ними всѣми, знать ихъ не хочу. У меня будетъ твоя семья, и съ меня довольно. Впрочемъ, кого мнѣ надо, если ты будешь моимъ?

На ней было тогда легкое розовое платьице, котораго онъ не любилъ.

Теперь тетка Пожелъская самая счастливая женщина въ мірѣ. Кололяскій будетъ ульемъ, она пчеловодомъ. Безъ сомнѣнія она посоветуетъ Маріи уговорить Кололяскаго записать все свое состояніе еще до брака на ея имя; если она сама не хочетъ этимъ заняться, то пусть она уполномочитъ ее и ея мужа, они ужъ это устроятъ. Кололяскій не молодъ, у него порокъ сердца; конечно, можно жить съ этимъ лѣтъ сто, но всегда лучше обдумать все заранѣе.

Марія не захочетъ даже слушать того, что будетъ ей говорить эта женщина; она знаетъ ее и въ душѣ презираетъ, но она пассивна въ отношеніяхъ съ ней, тѣмъ болѣе, что провела у ней много лѣтъ съ самаго дѣтства.

Свиданія съ Божевскимъ будетъ ей устраивать Ядвига; она создана для этого, и это будетъ для нея большимъ удовольствіемъ, во-первыхъ оттого, что она хитро обманетъ такого дурака, какъ Кололяскій, во-вторыхъ



всякое сближеніе Маріи съ мужчинами дѣйствуетъ на нее самое, затѣмъ это будетъ въ высшей степени не морально, замѣчательно «fin de siècle», наконецъ, она снова будетъ третьей между двумя, лично незаинтересованной стороной, любимой, смотрящей на все, такъ сказать, съ птичьяго полета, — это ея любимая роль. Ей нравилось «осѣнять крыльями», говорила она.

Удрученный, разбитый, онъ направился домой.

Онъ засталъ у себя пересланное изъ Варшавы письмо отъ Тенжеля, который уже писалъ ему изъ Мюнхена, что жюри все приняло на выставку съ большими похвалами; теперь онъ писалъ:

— Дорогой Ромекъ! Побѣда по всей линіи! Панъ Лдзавичъ, ой, панъ Лдзавичъ! Несмотря на твою «натулу», ты удостоенъ почетнаго диплома, самое большое, чѣмъ тебя могли одарить эти проклятые швабы, чортъ ихъ возьми, и на будущее время ты признанъ «hogs concours». Пришли мнѣ, какъ можно скорѣе, твою фотографическую карточку, всѣ журналы хотятъ помѣстить твой портретъ; сразу просятъ нѣсколько редакцій. Пока посылаю тебѣ кучку восторженныхъ отзывовъ мѣстныхъ критиковъ. Нѣмцы, какъ нѣмцы, но все-таки знатоки дѣла. Ты побилъ всѣхъ. Скажи теперь Лановскому, что онъ смѣло можетъ звать тебя великимъ мастеромъ, или метамастеромъ, мастеромъ ты пересталъ ужъ быть. Одинъ голландецъ говорилъ мнѣ, что со временъ Берни не было большаго таланта. Дипломъ я сейчасъ же тебѣ вышлю, а самъ я скоро возвращаюсь, а то денегъ уже маловато. Здѣшніе ху-



дожники вышлютъ тебѣ все. Посылаемъ отсюда телеграмму въ «Курьеръ».

Обнимаю тебя, и легко можешь себѣ вообразить, что я радуюсь, какъ собака коркѣ. Vivat.

Тенжель.

Въ первую минуту у Рдзавича появилось чувство торжества, которое совсѣмъ закружило ему голову и овладѣло имъ. Прочитавъ письмо, онъ выпрямился, поднялъ голову и провелъ рукой по волосамъ. Онъ достигъ славы.

Предъ этимъ чувствомъ на минуту поблѣднѣли всѣ другія: онъ унывался имъ. Онъ стоялъ у окна и глядѣлъ въ садъ, думая о своей славѣ и не видя ни деревьевъ, ни дождя, обильно падашаго ужъ нѣсколько минутъ; отъ славы мысли его отвлекъ маленькій бѣлый котенокъ, котораго онъ увидѣлъ, когда тотъ такъ осторожно обходилъ домашняго журавля, а потомъ очутился въ такомъ невыгодномъ положеніи между журавлемъ и индюкомъ.

Когда Рдзавичъ гладилъ котенка съ розовымъ носикомъ и зелеными глазенками, онъ почувствовалъ, что все мельчаетъ въ его глазахъ: Марія со всѣмъ, что ея касалось, казалась ему меньше и дальше; сцена съ Элей показалаь ему совсѣмъ ничтожной... онъ былъ, прежде всего, знаменитымъ.

Когда его позвали обѣдать, онъ въ первую минуту хотѣлъ было сказать о письмѣ Тенжеля, но когда онъ вошелъ и подумалъ, что все это, что ни говори, люди



болѣе или менѣе доброжелательные, но все-таки чужіе, ему стало грустно, и онъ сѣлъ на обыкновенномъ своемъ мѣстѣ между Лаурою и Элей.

Ему хотѣлось рассказать про свой успѣхъ, но онъ хотѣлъ бы сказать это кому-нибудь, кого это особенно интересовало бы, прежде чѣмъ извѣстіе это станетъ достояніемъ всѣхъ, и потеряетъ свою силу. Да, пріятно подѣлиться хорошей новостью съ тѣми, кого любишь.

Эля?.. Да, возможно, Эля увлечена имъ, но для него она ничто. Грусть его перешла въ болѣзненный гнѣвъ. Какъ?! Во всемъ мірѣ у него нѣтъ никого?! Зачѣмъ ему талантъ, если некому даже знать объ этомъ?! У Пшервица своя Лаура, почти у каждого художника своя Лаура, только у него... mademoiselle Тыжвецкая, выходящая за пана Кололяскаго, чтобъ легче вести свой романъ съ паномъ Божевскимъ.

Проклятая жизнь!..

Послѣ обѣда, который прошелъ очень молчаливо, такъ какъ барышни и Пшервицы были утомлены прогулкой, онъ ушелъ въ поле, гдѣ сталъ ловить маленькихъ зеленыхъ лягушекъ и глядѣть, какъ онѣ скачутъ съ его руки въ воду, или играть съ молодой гончей, выбѣжавшей за нимъ, бѣгавшей за воробьями и старавшейся порвать ему штаны и прокусить его сапоги.

Было воскресенье. Росенскіе по обыкновенію въ воскресенье ждали гостей. Надо было вернуться и войти въ общество людей, которые будутъ съ нимъ обращаться



ся, какъ съ болѣе или менѣе «извѣстнымъ паномъ Рдзавичемъ», не зная, что скоро, быть можетъ, фамилію его будутъ называть во всей Европѣ на ряду съ фамиліями Клингера или Штукка, какъ «новую звѣзду».

У подъѣзда онъ встрѣтился съ Рузей, кричавшей издалека:

— Панъ Романъ, знаете, кто у насъ? Приѣхали Твардовецкіе изъ Пенцина, старики, ихъ сыновья, изъ которыхъ одинъ влюбленъ въ Элю, и дочь ихъ, *mademoiselle* Матильда. Они говорятъ, что видѣли экипажъ пани Эмили Зрембской, вѣрно и она приѣдетъ. А вы не одѣты. Надѣньте тотъ красный галстухъ, бѣлый съ синими горошинами, хорошо?

— Хорошо...

— Вы такъ добры. Я бы хотѣла васъ спросить объ одной вещи...

— Что такое?

— Вы будете смѣяться. Я вамъ симпатична?

— Очень.

— Это хорошо. Вы мнѣ тоже, это такъ пріятно. Надѣньте бѣлый галстухъ съ синими горошинами и приходите.

Рдзавичъ, улыбаясь, пошелъ къ себѣ и, переодѣвшись, вышелъ на балконъ.

На балконѣ, увитомъ дикимъ виноградомъ, сидѣла на своемъ передвижномъ креслѣ Росейская, блѣдная, съ бѣлыми кружевами на преждевременно посѣдѣвшихъ волосахъ, и разговаривала съ Твардовецкой, немолодой,



довольно полной женщиной, одѣтой съ видимымъ желаніемъ нравиться; возлѣ нихъ сидѣли Росенскій и Твардовецкій, первый—курилъ трубку, второй—сигару съ красной позолоченной этикеткой. Въ углу сидѣла молодежь. На Элѣ было тоже бѣлое платье съ золотымъ поясомъ; mademoiselle Матильда Твардовецкая, дѣвица лѣтъ двадцати восьми, недурная лицомъ, съ страстнымъ желаніемъ быть прекрасной, была на рѣдкость несимпатична съ перваго же взгляда; она опиралась въ неудобной граціозной позѣ на локоть и глядѣла на кончикъ своей узкой ботинки; двое молодыхъ Твардовецкихъ сидѣли по обѣимъ сторонамъ Эли. Первый, старшій, очень красивый, Эдуардъ, одѣтый по послѣдней модѣ, былъ тиичнымъ представителемъ золотой молодежи; второй, Викторъ, гораздо менѣе элегантный, былъ, повидимому, тѣмъ, что называютъ «деревенщиной». Пшервицы сидѣли другъ возлѣ друга, она—очень красивая, въ темно-синемъ платьѣ, съ желтымъ кружевнымъ воротничкомъ. Рдзавичъ присѣлъ къ нимъ.

— Странно,—говорила Твардовецкая, взявшаяся, видимо, вести разговоръ, — что Зрембской еще не видно. Мы видѣли ея экипажъ на поворотѣ у костела, она должна была бы быть уже съ пять минутъ здѣсь.

— Да, если вы тамъ ее видѣли, то она должна была бы уже давно приѣхать,—сказалъ Росенскій, выпуская громадный клубъ дыма и смахивая его въ садъ.—Слышите, кто-то подъѣзжаетъ; вѣрно она?—Онъ вышелъ на минуту и вернулся съ молодой женщиной, элегантно, но немного ярко одѣтой; за ней шелъ Морскій и молодой



мужчина, лѣтъ тридцати, похожій на нее; у него было очень грустное лицо.

— Это madame Зрембская? — шепнулъ Рдзавичъ Лаурѣ.

— Да, а это ея братъ, Болеславъ Луковичъ. Оба они овдовѣли, она три года тому назадъ, онъ годъ, теперь они живутъ вмѣстѣ.

— Ah! cher comte! — сказала со сладкой улыбкой Твардовецкая, здороваясь съ Морскимъ.

Mademoiselle Матильда взглянула на него долгимъ взглядомъ и подала ему дружески руку, но такъ, чтобы всѣ это замѣтили.

— Вообразите себѣ, господа, — говорила быстро Зрембская, но успѣвъ даже поздороваться со всѣми, — что Морскій, который ѣхалъ отъ насъ, не могъ чего-то найти въ карманѣ, и надо было остановиться на дорогѣ, пока онъ не убѣдился, что эта таинственная вещь при немъ, а то онъ хотѣлъ возвращаться за ней въ Спешшево.

— Позвольте мнѣ, многоуважаемая сосѣдка, представить вамъ родственника Лорци, гостящаго у насъ, — сказалъ Росенскій, подходя къ ней съ Рдзавичемъ.

Зрембская быстро подняла лорнетъ на длинной ручкѣ съ серебряной монограммой къ глазамъ, какъ обыкновенно дѣлаютъ близорукіе, и, подавая ему руку, сказала:

— А! Вѣдь это васъ надо поздравить съ триумфомъ въ Мюнхенѣ?

Рдзавичъ почувствовалъ, что всѣ взглянули на него;



его бросило въ жаръ; онъ поклонился и коротко отвѣтилъ:

— Да. Благодарю васъ.

— Что случилось? Мы ничего не знаемъ! — спросили почти въ одно время Росенская и Лаура.

— Я получилъ дипломъ, — отвѣтилъ онъ.

— Почетный дипломъ и признаніе *hogs concours*; очень рада съ вами познакомиться, — добавила Зрембская, сжимая ему крѣпко руку. — Я читала уже въ «Курьерѣ».

— Мы еще не читали, — сказала Росенская.

Всѣ, одни искренно, другіе изъ вѣжливости, стали говорить ему комплименты. Росенская удивилась, что онъ ничего имъ не сказалъ, разъ самъ уже зналъ про это; ей это было очень непріятно; напротивъ, Росенскому нравилась его скромность. Лаура была и рада и огорчена, что «это не Зюци».

Морскій и Пшервицъ сердечно его поздравили, а Эдуардъ Твардовецкій придалъ выраженіе лицу: «хорошо и это, если нельзя быть такимъ, какъ я», а Викторъ вытаращилъ на него глаза, словно не понимая, въ чемъ дѣло. Эля подошла къ нему послѣдней, нѣсколько робко, съ яркимъ румянцемъ на щекахъ, видимо взволнованная:

— Примите и отъ меня поздравленіе, — сказала она тихо, протягивая ему руку.

Рдзавичъ пожалъ ея ручку, но не могъ ничего отвѣтить, такъ какъ Эдуардъ Твардовецкій и Рузя стояли слишкомъ близко.



Все это были чужіе, даже болѣе чѣмъ чужіе... Марія должна ужъ объ этомъ знать; она прочла о немъ въ «Курьерѣ» такъ же, какъ о какомъ-нибудь шведѣ или испанцѣ...

Въ эту минуту Твардовецкая спросила его, отчего онъ не посылаетъ своихъ работъ въ Италію? Онъ отвѣтилъ ей, что теперь центръ европейскаго искусства въ Германіи и во Франціи.

— Ахъ, Италія, что за чудная страна! — заговорила Твардовецкая. — Когда мы годъ тому назадъ были тамъ, я думала, что растаю.

— Отъ восторга или отъ жары? — спросилъ Морскій.

— Вы знаете, что вамъ все прощаютъ, — отвѣчала Твардовецкая, кокетливо грозя вѣеромъ.

— Оттого что я артистъ, или благодаря другимъ моимъ хорошимъ сторонамъ? — спросилъ снова Морскій.

— Оттого что вы такой, какой вы есть, — сказала Твардовецкая, дѣлая *bonne mine à mauvais jeu*.

— Италія, дѣйствительно, прелестная страна, — сказалъ Твардовецкій, толстый шляхтичъ съ банальнымъ лицомъ. Но эти шельмы итальянцы все переняли отъ насъ. Послушайте: спаржа — «аспараги», Римъ — «Рома», и такъ далѣе. А что вся страна зовется Италія, такъ и по-французски *Italie*, если по-нашему и не такъ.

— Удивительно глубокое замѣчаніе, — сказалъ Морскій.



— Видите, графъ, — сказалъ Твардовецкій и затушевалъ сигарой съ позолоченной бумажкой.

Твардовецкая, Матильда и Эдуардъ покраснѣли до ушей; а Викторъ, съ глазами, уставленными на Лауру, казалось, ничего не слыхалъ и не понималъ, что говорилъ отецъ.

— Мы завязали тамъ очень милыя знакомства, — начала снова Твардовецкая, — особенно въ Капри, гдѣ мы оставались въ Квисисана. Единственная порядочная гостиница; стоило это около пятнадцати франковъ ежедневно съ лица, но за табльдотомъ возлѣ Матильды сидѣлъ сперва молодой лордъ Пальмерстонъ, а потомъ графъ Сечени, поручикъ венгерскихъ гусаръ.

— Подпоручикъ, — поправила Матильда.

— Графъ Сечени очень ухаживалъ за Матильдой, — продолжала Твардовецкая, — но ее тянуло въ Польшу.

Говоря это, она выразительно взглянула на Морскаго, который тутъ же довольно громко шепнулъ Зрембской.

— Гдѣ нѣтъ дураковъ?!

— Дѣйствительно, въ Италиіи есть милыя мѣстечки, — сказалъ Эдуардъ тономъ много видѣвшаго чело-вѣка.

— Мы вывезли оттуда замѣчательно много впечатлѣній, — добавила Твардовецкая.

— Помните, мама, одну изъ дѣвокъ, танцовавшихъ тарантеллу на той большой площади? — спросилъ Викторъ Твардовецкій.



— Вицю, какъ ты выражаешься? — шепнула съ гримасой ужаса Твардовецкая.

— Это на площади Тиверія, — сказала Матильда.

— На Капри говорятъ «salto di Timberio» Дѣйстви-тельно, тарантелла оригинальный танецъ.

— Одна изъ нихъ, чтобъ ее... — началъ и замолкъ Викторъ, остановленный грознымъ взглядомъ матери, брата и сестры. Твардовецкій-отецъ пустилъ клубъ дыма изъ сигары и сказалъ:

— Вицю правъ, она была красива.

— Мы съ титей знатоки, — пробормоталъ, радуясь поддержкѣ, Викторъ.

— Но перчатки въ Венеціи совсѣмъ нехороши, — сказала Матильда. — Сколько мнѣ о нихъ наговорили! Нельзя даже сравнить съ тѣми, что я купила въ Ниццѣ.

— Въ Римѣ мы были на папской мессѣ, благодаря протекціи одной австрійской графини, съ которой мы познакомились черезъ Сечени, и видѣли королеву на Монте-Пинчіо. Съ ней ѣхалъ, говорили намъ, молодой князь Колонна.

— Доріа, — исправилъ Эдуардъ.

— Нѣтъ, мама права, Колонна, — возразила Матильда. — Намъ Сечени говорилъ, а онъ вѣдь ихъ знаетъ. Ахъ! Массу впечатлѣній вывезли мы изъ Италіи! Массу!

— Очень милый человекъ этотъ Сечени, онъ обѣщаль даже пріѣхать къ намъ, — сказала Твардовецкая,



потомъ обѣ съ Матильдой пристально взглянули на Морскаго, который дѣлалъ видъ, что ничего не понимаетъ.

Почти передъ самымъ ужиномъ пріѣхали Завильскіе, еще молодые супруги; онъ — симпатичный и, видимо, ужасно влюбленный, она — бабенка съ быстрыми глазами, немного слишкомъ декольтэ. За ужиномъ Завильскую посадили между Рдзавичемъ и Викторомъ Твардовецкимъ. Завильская вскорѣ слишкомъ близко наклонилась къ Рдзавичу и «зателеграфировала» ему кончикомъ башмака. Онъ почувствовалъ это, но не отвѣчалъ, хотя и не отодвинулъ ноги. Тогда Завильская «зателеграфировала» второй разъ. Рдзавичъ нарочно съ удивленіемъ взглянулъ на нее и отодвинулъ ногу. Завильская немного покраснѣла и перенесла свое вниманіе, какъ ему показалось, на Виктора Твардовецкаго, который принялъ его болѣе дружелюбно, хотя и не спускалъ глазъ съ Лауры. Завильскій, сидѣвшій возлѣ Лауры, то и дѣло глядѣлъ влюбленными глазами на жену, которая такъ хитро маневрировала своими глазками, что они всегда во-время успѣвали встрѣтиться съ его глазами. Она много и привѣтливо разговаривала съ Рдзавичемъ, наклоняясь къ нему головой и лѣвымъ плечомъ болѣе чѣмъ близко. Луковичъ мѣнялся въ лицѣ, глядя на Лауру, и жмурилъ глаза, какъ человѣкъ, который въ отчаяніи; Зрембская, сидѣвшая между Морскимъ и Пшервицемъ, часто громко и весело смѣялась, а то рассказывала имъ на ухо что-то, отъ чего они громко хохотали. Разъ она не



выдержала, встала и, сказавъ: «не могу выдержать, я должна и вамъ рассказать», стала шептать что-то Лаурѣ на ухо; Лаура вся покраснѣла; хотя всеми силами старалась показать, что ей ничуть не стыдно. Твардовецкая глядѣла на Зрембскую съ отвращеніемъ, а Матильда съ ненавистью и завистью. Возлѣ Эли сидѣлъ Эдуардъ Твардовецкій, впиваясь въ нее своими прекрасными голубыми глазами и очень походя на влюбленнаго Донъ-Жуана.

Изъ всего общества Рдзавича интересовалъ одинъ Луковичъ. Смерть жены, повидимому, сломила его навсегда. Казалось, онъ разговариваетъ, какъ автоматъ, а не какъ живой человѣкъ; мысленно онъ былъ у смертнаго одра жены, у ея гроба, или онъ думалъ о ней, о первой минутѣ, когда ее увидалъ, о первомъ «люблю», о первомъ поцѣлуѣ. Страшно подумать, что больше уже никогда не увидишь этой женщины, возвращаться въ пустую квартиру, засыпать безъ нея, чувствовать, что она потеряна навсегда. И жить... Рдзавичъ думалъ, что, если бы онъ потерялъ Марію, онъ не сумѣлъ бы жить. Онъ разрылъ бы ея могилу, пробилъ бы землю лицомъ до ея гроба, прожегъ бы ее грудью, раскопалъ бы ее ногтями... Онъ не жилъ бы... Настали бы лѣтнія луиныя ночи, а ея нѣтъ, чтобъ выйти съ ней въ поле; настали бы холодные осенніе вечера, а ея нѣтъ, некого приласкать, некому склонить головку къ его груди... Онъ не могъ бы жить, если бы такъ потерялъ Марію...

Луковичъ, словно отгадывая, что Рдзавичъ думаетъ,



или, можетъ быть, чувствуя въ немъ близкаго по злой долѣ и страданіямъ человѣка, поднялъ на него свои грустные глаза и посмотрѣлъ на него съ минутой.

Викторъ Твардовецкій, сидѣвшій возлѣ Завильской, ужъ третій разъ поднималъ изъ-подъ стола салфетку, что вызывало улыбку на губахъ Зрембекой и легкой румянецъ на щеки Завильской; это не мѣшало ему, какъ только голова его снова была надъ столомъ, пристально глядѣть на Лауру, которая была въ тотъ день замѣчательно хороша собой. Красота ея, какъ это бываетъ у нѣжныхъ женщинъ, была замѣчательно измѣчива; это былъ ея «хорошій день».

Рдзавичъ видѣлъ, что Пшервицъ замѣтилъ, что молодой Твардовецкій слишкомъ много смотритъ на его жену и что губы его дрожатъ отъ внутренняго гнѣва. Но что ему дѣлать? Встать и крикнуть: «Сударь, не смотрите такъ на мою жену, я этого не люблю»? —

Ее это тоже стѣсняло и совсѣмъ испортило хорошее настроеніе духа; но и она ничего не могла сдѣлать.

Рдзавичъ подумалъ, что, если бѣ Марія была его женой, онъ никогда не позволилъ бы ничего подобнаго. Особенно Марія, съ ея красотой и желаніемъ нравиться всѣмъ... Юрій, по крайней мѣрѣ, можетъ вѣрить Лаурѣ, а...

Онъ сжалъ губы, онъ не хотѣлъ знать, что Марія, если бѣ она вышла замужъ и по любви, нельзя было бы вѣрить, что любовь ея въ одно прекрасное утро могла бы исчезнуть, какъ исчезла «страшная любовь» къ нему.



Возможно, что Кололясскій такъ глупъ, что не замѣтитъ, какъ не замѣчаетъ Завильскій, глядящій на свою жену съ такимъ восхищеніемъ; но онъ бы замѣтилъ, а тогда...

У него въ глазахъ сразу потемнѣло и покраснѣло, и онъ почувствовалъ такой гнѣвъ на Марію, словно она уже была его женой и давала ему поводъ ее ревновать. Онъ былъ бы съ ней самымъ несчастнымъ человѣкомъ. Онъ никогда бы ей не вѣрилъ и никогда не могъ бы вѣрить. Она была бы недостойна вѣры! Это было бы одно продолжительное мученіе. Нѣтъ, лучше, что она не будетъ его женой. Любимая женщина должна быть бѣлой статуей чистоты. Конечно, вездѣ найдется такая скотина, какъ Викторъ Твардовецкій; съ этимъ ничего не подѣлаешь, но любимой женщиной надо такъ довѣрять какъ можетъ довѣрять Пшервиць Лаурѣ. У Лауры въ головѣ не промелькнетъ даже мысли, которой она не могла бы ему сказать.

А Марія...

Марія идетъ всегда за голосомъ страсти. Она увлекается и уже не думаетъ о людяхъ, которые ей перестаютъ нравиться. Въ этомъ отношеніи она не стѣсняется ничѣмъ, а въ стремленіи къ наслажденіямъ не разбираетъ средствъ; ея поступки лучшее этому доказательство. Она хочетъ наслаждаться такъ, какъ ей хочется.

Она хочетъ наслаждаться, то-есть она хочетъ того же, что и онъ...

Она живетъ такъ же, какъ и онъ, у ней такое же



тѣло и кровь, она такой же человѣкъ, у ней тѣ же желанія, тѣ же страсти; отчего же онъ признаеть за собой право наслаждаться, а за ней нѣтъ?.. Да, но она избрала недостойную дорогу къ наслажденію... А онъ? Если бъ Марія выходила за Кололяесскаго, чтобъ имѣть романъ не съ Божевскимъ, а съ нимъ, развѣ онъ пошелъ бы къ ней и произнесъ бы проповѣдь на тему недостойности ея поступка?.. По всей вѣроятности, нѣтъ.

Да, но Марія — женщина...

Такой же человѣкъ, что и онъ.

Значить, она невиновна?

Она хочетъ такъ же насладиться жизнью, какъ и онъ...

Вдругъ Морскій, долго мастеровившій что-то подъ столомъ, пустиль на столъ передъ Рузей громаднѣй волчокъ, къ которому была прикрѣплена на проволокъ красная плюшевая обезьяна, принимавшая забавившія позы.

— Это я привезъ тебѣ изъ Бостона, — сказалъ онъ.

Зрембская со смѣхомъ рассказывала, что Морскому показалось, будто онъ забыль это у нея, и что этотъ сумасбродъ хотѣль за волчкомъ сейчасъ же съѣздить къ ней.

Волчокъ шумѣль, гудѣль, наковецъ, ударившисъ разъ другой о блюдо, упаль на бокъ.

Твардовецкая и Матильда слегка улыгнулисъ, но Викторъ, забывъ обо всемъ, кричалъ:



— Вотъ смѣшно, ей-Богу! Что за славная бестія!  
Куплю себѣ такую! Какъ пуцу между дѣ...

Онъ умолкъ подѣ выразительными взглядами матери  
и брата.

Рузя, однако, обидѣлась; слезы показались въ ея  
глазахъ, и она обидчиво сказала Морскому, что она  
не ребенокъ, чтобы забавляться волчкомъ, что ей не  
надо ни его, ни его волчковъ, что пусть онъ самъ  
играетъ, если ему нравится. Она почти расплакалась.  
Морскій же, довольный аффектомъ, объяснялъ, что  
этотъ волчокъ не только вертится, что на немъ можно  
играть и свистѣть, какъ на губной гармоникѣ, и что  
онъ совсѣмъ такой же, какъ у младшаго сына одного  
изъ Вандербильтовъ. Это послѣднее извѣстіе добило  
Рюзю, которая съ гнѣвомъ стала доказывать Морско-  
му, что она — Рузя Росенская, а не младшій сынъ ка-  
кого-то Вандербильта!

Морскій помиралъ отъ смѣха.

Прогулка по парку послѣ ужина продолжалась не-  
долго, потому что время и мѣсто настраивали говорить  
то, что чувствуешь, а между тѣмъ, одни ничего не  
чувствовали, а другіе не находили, кому довѣриться.

Морскій, любившій играть на роялѣ Росенскихъ,  
сѣлъ передъ отъѣздомъ за него и сталъ играть однимъ  
пальцемъ какія-то пѣсенки, потомъ сталъ брать  
аккорды. Постепенно лицо его измѣнялось, онъ по-  
блѣднѣлъ и потерялъ свой видъ безцеремоннаго свѣт-  
скаго весельчака. Съ пѣсенокъ онъ перешелъ къ ме-



лодіямъ и сталъ играть серьезно. Твардовецкая дѣлала рукою знаки, чтобы было тихо.

Вдругъ Морскій взялъ полнозвучный аккордъ, потомъ сильнѣе, и звуки полились, какъ лучи, какъ запахъ. Подъ его руками струны зазвенѣли, заколебались, онъ сталъ бросать въ пространство клубы звуковъ, изъ которыхъ онъ творилъ гирлянды, звѣзды, сплеталъ ихъ въ ленты и разбрызгивалъ въ пыль. Вдругъ онъ ударилъ по клавишамъ и взялъ аккордъ, длинный и протяжный, какъ громъ.

— Буря, — шепнула Твардовецкая.

— Нѣтъ, это горохъ сыплютъ, — отвѣчалъ Морскій, не переставая играть.

Онъ открывалъ неизмѣримую глубину. Изъ рояля выходило что-то таинственное и страшное. Онъ открывалъ пещеры и донья озеръ, на которыхъ колебались подводные цвѣты. Вдругъ словно весла легко ударили о воду, и на волнахъ заколебалась лодка, потомъ раздалась пѣсня, полная истомы, страсти и грусти.

— Это любовь, — шепнула вполголоса Матильда.

— Флейта, — отвѣчалъ Морскій, ударяя все выше и выше такъ, что казалось, горный вѣтеръ играетъ по ледникамъ и снѣжнымъ ущельямъ.

— Ахъ! ахъ! — вздохнули вмѣстѣ Твардовецкая и Матильда, но Морскій ничего уже не отвѣчалъ; онъ весь отдался музыкѣ и улетѣлъ куда-то въ подоблачное царство. Казалось, онъ бросаетъ звѣзды и разбрызгиваетъ ихъ въ морскія волны. Надъ тихими морскими



волнами онъ раскинулъ, какъ облако, заколдованныя пѣсни сказочныхъ русалокъ.

— Шопень, — шепнула Твардовецкая.

— Моцартъ, — сказала вполголоса Матильда. Но Морскій не слыхалъ. Онъ разливалъ звуки, громадные, какъ сїяніе солнца въ полдень, и звуки неслись все далѣе и далѣе, въ безграничное пространство, въ безконечность, пока, наконецъ, не утонули гдѣ-то въ глубинѣ.

— Божественно! — крикнула Твардовецкая, а Матильда смахивала платочкомъ слезы, будто быстро, но, собственно говоря, возможно медленнѣе.

Лицо Морскаго стало обыкновеннымъ, и онъ шепнулъ Рдзавичу, стоявшему недалеко:

— Взгляните, она плачетъ гумми-арабикомъ, что его такъ трудно отлѣпить?

Вдругъ Твардовецкая въ припадкѣ восторга подекочила къ нему и, схвативъ его за руки, крикнула:

— Геній!

Морскій вѣжливо поклонился.

— Даже похвалить нельзя, вы всегда *farceur*. Что это вы мнѣ сказали про горохъ?

— Нѣтъ, правда, я хотѣлъ звуками изобразить мое хозяйство въ Пшихувкѣ, — отвѣтилъ Морскій просто и наивно.

Твардовецкая принужденно засмѣялась и сказала тономъ свѣтской дамы:

— Сыньте свой горохъ, а мы вамъ голову засыплемъ



лаврами. Нашъ рояль давно ждетъ васъ, нехорошій вы человекъ, — кончила она съ любезной гримасой.

— На этой недѣлѣ я уѣзжаю, — отвѣтилъ Морскій.

Лицо Твардовецкой вытянулось, однако, она сумѣла еще разъ улыбнуться.

— Неужели васъ никогда не задержать любящія сердца?

Морскій словно немного задумался, а Твардовецкая бросила на Матильду значительный, быстрый, какъ молнія, взглядъ. Эдуардъ Твардовецкій отвернулся движеніемъ нервнаго человекъ, когда при немъ кто-нибудь царапнетъ ножомъ о тарелку.

Около двѣнадцати въ Загужѣ остались одни свои. Была тихая, теплая ночь, полная запаха цвѣтовъ и деревьевъ, немного туманная, такъ что звѣзды лишь кое-гдѣ проглядывали мутными лучами. Сквозь туманъ видѣлся серпъ луны.

Разстроенный прожитымъ днемъ, впечатлѣніемъ, произведеннымъ на него Луковичемъ, и игрою Морскаго, Рдзавичъ пошелъ въ паркъ.

Ему стало ужасно грустно. Онъ былъ одинъ, и чувство одиночества тяготило его такъ, какъ никогда.

Вокругъ цвѣла любовь. Любовь вѣчна, она только измѣняетъ формы. Любовь громадное, вѣчное движеніе вокругъ одного центра. Она и на морѣ и на землѣ, все ей покоряется. У Рдзавича было только громадное видѣніе любви. Ему казалось, что подъ вліяніемъ игры Морскаго передъ нимъ открывается морская глубь и земля, и онъ видитъ чудовищный, всемірный хаосъ лю-



бовныхъ желаній, стремленій, страстей. Ему казалось, что у этой всемірной любви есть свой запахъ. Онъ понималъ ея вѣчность. Она существуетъ отъ перваго дня жизни, каждое поколѣніе — это только ея слой, ея волна.

Эта громадная идея проявляется въ миллиардахъ формъ и видовъ. Человѣкъ любитъ именно эту идею, принявшую наиболѣе подходящій для него видъ. Любовныя объятія — это безконечная космическая туманность, проявляющаяся все въ новыхъ видахъ, чтобъ уступить мѣсто еще новымъ. Любовь — вѣчное наследство, вѣчная общая идея безконечнаго числа явленій.

Отъ такихъ думъ ему сдѣлалось еще грустнѣе. Во всемъ мірѣ онъ былъ чѣмъ-то чужимъ — онъ былъ одинъ....

Онъ сѣлъ въ бесѣдкѣ, которую Рузя назвала бесѣдкой тети Лорци, и, закинувъ голову за спинку скамейки, закрылъ глаза. Вскорѣ въ аллеѣ показались двѣ тѣни, онъ узналъ ихъ: это были Пшервицы. Онъ ясно слышалъ.

— Слушай, Зюци, — говорила она, — много у тебя денегъ?

— Рублей шестьсотъ, — отвѣчалъ Пшервицъ.

— А мнѣ третьяго дня прислали четыреста пятьдесятъ, вмѣстѣ у насъ тысяча пятьдесятъ. Слушай, ты теперь, по крайней мѣрѣ, два мѣсяца не работай, ты утомленъ.

— Хорошо, дитяtko мое. Только надо будетъ въ



Варшавѣ еще недѣльки двѣ поработать. Я хотѣлъ бы быть совершенно свободнымъ.

— Хорошо, вернемся отсюда, а потомъ поѣдемъ въ Закопане.

— Олично.

— Заложу руку за жилетъ, мнѣ хочется покрѣпче опереться, ноги болятъ. Какъ хорошо, что мы ужъ одни. Поцѣлуй меня за это. Я такъ устала сегодня за день.

— Ну, такъ пойдёмъ домой, дитятко мое.

— Когда здѣсь такъ хорошо и пріятно съ тобой Скажи что-нибудь. Подожди, помнишь то стихотвореніе Гёте, такое прелестное? «Ueber allen Wipfeln»...

— Нѣтъ, Ueber allen Gipfeln ist Ruh'.

— Скажи.

— Ueber allen Gipfeln ist Ruh',  
Auf allen Wipfeln spuerest du  
Kaum einen Hauch;  
Die Voegelein schlafen im Walde  
Warte nur, balde  
Ruhest du auch.

— Ты такъ прекрасно читаешь. Остановимся... Какъ тихо...

Рдзавичъ видѣлъ изъ бесѣдки, что она оперлась головой о плечо мужа, держась обѣими руками за его руку.

— «Въ такую лѣтнюю ночь  
Прекрасная Ессыка»...

— Не помню дальше,—сказалъ шутливо Пшервиць.



— Знаешь, жизнь прекрасна, — сказала она. — Мы совсѣмъ принадлежимъ другъ другу и совсѣмъ одни. Во всемъ паркѣ мы одни, никого нѣтъ. Въ Законномъ ты поведешь меня куда-нибудь? Я теперь гораздо сильнѣе и могу много ходить. Дорогой мой, сбереги деньги, чтобы мы могли дѣлать длинныя экскурсіи. Мы будемъ ходить только вдвоемъ, правда? Спать хочется, — зѣвнула она, закрывая ротъ рукой.

— Вернемся, — сказалъ Пшервицъ. — Не помню, гдѣ у тебя тотъ бѣлый законскій плащъ? Пригодился бы. Пойдемъ.

Они ушли; она опиралась на руку мужа такъ, что онъ скорѣе несъ ее, чѣмъ она шла сама.

Въ груди Рдзавича кипѣла боль: онъ былъ одинъ. Онъ всталъ и пошелъ другой аллеей къ дому, чтобы взять палку и бѣжать куда-нибудь, куда глаза глядятъ, въ поле, въ лѣсъ. На темномъ крыльцѣ онъ увидѣлъ женскій силуэтъ на скамейкѣ.

— Это вы, madame Лаура? — спросилъ онъ, думая, что Пшервицы сѣли здѣсь.

— Нѣтъ, это я, — вздрогнула Эля Росенская, какъ бы испугавшись.

— Я думалъ, что Пшервицы были въ паркѣ.

— Они пошли уже къ себѣ, на другую половину. Спокойной ночи, — сказала она вставъ.

Въ ту минуту, когда онъ увидалъ Элю, въ немъ родилась горячая, ни на что не оглядывающаяся страсть. Это была женщина, молодая, красивая женщина, неравнодушная къ нему, что легко было замѣтить, хотя бы



по голосу, когда она его поздравляла съ дипломомъ, — въ его груди было столько боли, столько грусти, столько желанія... Сердце его сильно застучало, колѣни задрожали.

— Mademoiselle Эля, — сказалъ онъ вполголоса, подходя къ ней, — отчего вы такъ неувѣренно подошли ко мнѣ, когда меня поздравляли?

— Я думала, что вы сердитесь на меня, — сказала она просто и грустно. — Притомъ мнѣ кажется, что я вамъ не симпатична, а отъ такихъ людей все непріятно. Но здѣсь намъ невозможно дольше разговаривать. Прощайте.

Она протянула ему руку; онъ, однако, не могъ удержаться, когда почувствовалъ ея руку въ своей, и поцѣловалъ ее.

— Что вы дѣлаете? — крикнула Эля, дѣлая шагъ назадъ и стараясь вырвать руку. Въ немъ поцѣлуй еще болѣе пробудилъ страсть и вмѣстѣ съ тѣмъ какое-то теплое чувство къ Элѣ; онъ задержалъ ея руку и сказалъ мягко, тономъ просьбы:

— Простите мнѣ.

— Что? — спросила Эля, на которую тонъ его, видимо, произвелъ впечатлѣніе.

— Вы даже не можете мнѣ простить, не должны даже.

— Вы знаете, знать все — это простить все, но мнѣ надо идти. Пустите меня, — сказала она тихо, словно стыдясь, что должна это сказать; ей даже въ голову не приходило, что ей прійдется когда-нибудь просить



объ этомъ. Онъ чувствовалъ, однако, что рука ея сла-  
бѣетъ въ его рукѣ, какъ тогда на раутѣ.

«Останется!» подумалъ онъ и громко спросилъ: —  
Отчего вы, собственно говоря, уходите?

— Нельзя же намъ однимъ разговаривать такъ  
поздно.

Тогда онъ взялъ другую ея руку и сказалъ снова  
съ мягкой просьбой.

— Mademoiselle Эля... — онъ не видѣлъ ея ли-  
ца, но ему казалось, что онъ почти видитъ, какъ ея  
большія, съ длинными рѣсницами глаза закрываются,  
а прекрасныя, вишневыя, сотворенныя для поцѣлуевъ  
губы, слегка открываются съ упоительнымъ выраженіемъ  
страсти. Онъ наклонился къ ней и почти шепнулъ:

— Mademoiselle Эля, оставайтесь на минуту; мнѣ  
такъ плохо и грустно.

Онъ не лгалъ: ему было грустно до дна души.

— Вы должны быть сегодня счастливы, — отвѣчала  
Эля, не смѣя шевельнуть руками, чтобы не напомнить  
ему о себѣ, что онѣ въ его рукахъ.

— Вѣрьте мнѣ, что я чуть было не отказался отъ  
этого диплома. Мнѣ некому было даже сказать про него.  
Но отчего вы думали, что я сержусь на васъ или что  
вы мнѣ несимпатичны?

Эля наклонила голову и скорѣе шепнула, чѣмъ ска-  
зала громко:

— Быть можетъ, я вамъ сдѣлала тогда неприятность.

Въ ея голосѣ, въ ея фигурѣ, во всей въ ней видна  
была покорность, возможная только въ женщинѣ, кото-



рая очень любить. Рдзавичъ почувствовалъ въ жилахъ огонь; онъ самъ не помнилъ, какъ очутился передъ Элей на колѣняхъ и прижалъ обѣ ея руки къ губамъ.

Она задрожала и снова пыталась вырвать руки, но, когда онъ прижалъ къ нимъ лицо, онѣ безсильно упали.

Онъ стоялъ на колѣняхъ, ничего не думая, съ однимъ только чувствомъ, что онъ стоитъ на колѣняхъ передъ женщиной. Онъ чувствовалъ, что ему все равно, кто эта женщина, онъ охотно отдалъ бы за нее жизнь, за то только, что она съ нимъ.

Ея руки становились все болѣе безсильными, какъ бы сонными; онъ взялъ ихъ крѣпче и ближе — онѣ позволяли.

Тогда онъ всталъ, отпустилъ одну руку и обнялъ Элю; она вся вздрогнула, какъ бы очнувшись, и инстинктивнымъ движеніемъ свободной руки старалась оттолкнуть его; но онъ прижалъ губы къ ея рукѣ и снова прижалъ къ ней лицо, какъ прежде. Эля, какъ заколдованная, подалась немного назадъ.

Рдзавичъ совсѣмъ пересталъ владѣть собой: кровь закипѣла въ немъ, онъ прижалъ Элю къ себѣ и наклонился къ ней — она на его рукѣ повисла безъ силъ, какъ въ обморокѣ.

Онъ нашелъ ея маленькія влажныя губы и положилъ на нихъ свои огненные, потомъ посадилъ ее на скамейкѣ на крыльцѣ и цѣловалъ ея руки и платье. Тѣло Эли вздрагивало, а пальцы ея безсознательно блуждали по его лицу, волосамъ, шеѣ. Несмотря на все, Рдзавичъ боялся минуты, когда Эля совсѣмъ очнется; онъ сѣлъ



возлѣ нея, обнялъ ея голову и сталъ ласкать ее, какъ ребенка, котораго мы хотимъ успокоить. Вдругъ Эля зарыдала ужаснымъ, изъ сердца вырывавшимся плачемъ.

Она освободилась изъ его объятій, наклонила голову къ колѣнамъ и громко рыдала; это былъ почти стонъ, полный отчаянія, боли, страданія.

— Эля, Эля, — шепталъ Рдзавичъ, испуганный долгимъ, безутѣшнымъ плачемъ.

Наконецъ, Эля отерла слезы и встала со скамейки: онъ не смѣлъ ее ни задерживать, ни тронуть. Она хотѣла уйти, но вдругъ, словно подчиняясь какой-то непреодолимой силѣ, упала ему лицомъ на грудь и снова зарыдала. Онъ понялъ, что она въ немъ самомъ ищетъ помощи противъ него же.

— Любишь меня? — шепнулъ онъ.

— Больше жизни, — отвѣчала она, рыдая.

Ему стало странно непріятно; въ немъ было все къ ней въ эту минуту, что можно чувствовать къ женщиной, кромѣ любви. Онъ не находилъ въ своемъ сердцѣ ни капли чувства.

Онъ чувствовалъ себя виноватымъ, прежде всего виноватымъ, притомъ онъ не зналъ, что дѣлать.

— Не люби меня! — шепнулъ. — Я недостойнъ тебя и самъ не могу тебя любить.

— Такъ я и жить не хочу! — застонала Эля.

— Дитя, — прервалъ онъ, чувствуя, что горло у него сжимается. Онъ почувствовалъ, что его дѣйствительно любятъ, и это было первый разъ въ его жизни;



онъ видѣлъ, что любовь эта такъ велика, что прямо давить своей тяжестью. Онъ испугался ея могущества, которое окружило его, какъ море, такъ же стихійно, какъ оно. Казалось, волны этой любви поднимаются, заливаютъ его съ головой, охватываютъ его, подмываютъ подъ нимъ почву, топятъ его, тянуть за собой, бурныя, жгучія, бѣшенныя... Передъ нимъ была, однако, только смуглая дѣвушка, прижавшая лицо на его груди, плачущая, слабая, безсильная, которую онъ могъ зять на руки, какъ ребенка, или положить у своихъ ногъ.

Эля не говорила ничего, не прижимала его къ себѣ, онъ чувствовалъ, однако, что все въ ней любовь и только любовь. Онъ любилъ такъ когда-то Марію.

Вотъ они у цѣли своей жизни, о которой онъ мечталъ съ тѣхъ поръ, какъ началъ мечтать, къ которой онъ стремился съ тѣхъ поръ, когда сталъ объ этомъ думать: онъ любимъ... только не тою, кого онъ самъ любитъ... Онъ почувствовалъ, что онъ топчетъ, что онъ беретъ, ломая, и ломаетъ невинное существо. Что за злой рокъ! Если бъ Марія его дѣйствительно любила, онъ достигъ бы высшаго блаженства посредствомъ высшаго блаженства; теперь же онъ несчастенъ, какъ прежде, а съ его несчастіемъ можетъ связаться новое — этой бѣдной дѣвушки, Эли.

— Эля, — сказалъ онъ, — скажи, простишь?

Она подняла голову и посмотрѣла на него.

Онъ понялъ: она стояла передъ нимъ, еще надѣясь, чистая, бѣлая, молодая, готовящаяся къ браку серд-



цемъ; ему стало больно, онъ наклонился и прижалъ ея руки къ губамъ.

Теперь она поняла: она покачнулась, протянула руки и упала бы, если бъ онъ во-время не поддержалъ ея и не обнялъ.

Имъ овладѣлъ страхъ, что онъ сдѣлалъ что-то дурное, и онъ рѣшилъ, во что бы то ни стало, кончить эту драму. Онъ не могъ оставить Элю одну здѣсь; не долго задумываясь, онъ взялъ ее на руки и, толкнувъ ногой двери въ полуосвѣщенную ночной лампочкой прихожую, понесъ ее наверхъ въ ея комнату на второмъ этажѣ. Сначала на лѣстницѣ онъ не чувствовалъ тяжести, потомъ, однако, онъ сталъ подниматься съ трудомъ, тѣмъ болѣе, что ему пришлось идти почти впотьмахъ и ступать какъ можно тише, чтобъ не разбудить кого-нибудь въ деревянномъ, т.-е. съ большимъ резонансомъ, домѣ. На половинѣ дороги онъ оперся о перила — онъ не могъ больше идти, и притомъ было совсѣмъ темно. Во второмъ этажѣ съ одной стороны коридора жили Эля и Рузя, съ другой — въ двухъ комнатахъ Пшервицы, а за комнатой Пшервица была его. Надо было достать свѣчу. Можно было какъ-нибудь дать опереться Элѣ о перила, пойти къ себѣ за свѣчей и вернуться; но въ это время она могла упасть, а со свѣчей въ одной рукѣ можно было нести Элю на другой только въ томъ случаѣ, если бъ она держалась руками за его шею. Имъ овладѣло нервное раздраженіе: онъ сжалъ зубы и, словно совсѣмъ не чувствуя Эли и видя въ темнотѣ, пошелъ увѣреннымъ шагомъ впередъ. Къ счастью, изъ-за



тучь вынырнула луна и пролила немного свѣта въ коридоръ. Рдзавичъ отворилъ двери комнаты Эли; здѣсь было совсѣмъ темно, такъ какъ шторы были спущены. Онъ не зналъ этой комнаты и боялся ударить Элю о что-нибудь. Не оставалось ничего, какъ разбудить Рузю. Онъ недолго задумывался, онъ былъ слишкомъ утомленъ и раздраженъ; онъ крикнулъ.

— Эля, это ты? — спросила Рузя, не узнавъ съ просонокъ голоса.

— Нѣтъ, это я; встаньте и дайте сюда свѣчу или, по крайней мѣрѣ, освѣтите немного изъ-за дверей, — отвѣчалъ.

— Господи! Что случилось?! — воскликнула испуганная Рузя.

— Ничего, надо только свѣчу. Освѣтите мнѣ изъ-за дверей.

— Гдѣ Эля? — спросила съ безпокойствомъ Рузя.

— Mademoiselle Элиза немного нездорова. Освѣтите.

Рузя немного пріоткрыла двери и высунула руку со свѣчой: онъ увидѣлъ кровать и положилъ Элю на нее. Глаза и ротъ ея были закрыты, она была блѣдна, и производила впечатлѣніе мертвой.

— Бѣдняжка, — шепнулъ онъ, глядя на нее.

— Можно войти? — сказала Рузя изъ-за дверей.

— Сейчасъ. Только одѣньтесь, — отвѣтилъ Рдзавичъ, желая ее приготовить, чтобы впечатлѣніе не было слишкомъ сильно. — Mademoiselle Элѣ сдѣлалось дурно. Подождите, я зажгу свѣчу отъ вашей.



— Она тамъ? — спросила Рузя испуганнымъ голосомъ.

Надо было всему происшествію придать самый пустячный видъ и успокоить Рузю, чтобъ она не разбудила всѣхъ домашнихъ; Рдзавичъ отвѣтилъ самымъ равнодушнымъ голосомъ.

— Прежде всего, успокойтесь. Ничего не случилось, mademoiselle Эля слишкомъ утомилась.

— А она тамъ? — повторила Рузя со слезами въ голосъ.

— Да, только ей дурно. Одѣвайтесь и приходите.

— А отчего Эля ничего не говорить! — не унималась Рузя.

— Видите ли, паненка, Эля упала въ обморокъ...

Онъ не успѣлъ кончить, какъ въ комнату вбѣжала Рузя въ розовомъ шлафрокѣ и розовыхъ туфляхъ, съ распущенными волосами; несмотря на драматическое положеніе и на то, что у него масса мыслей кружилась въ головѣ, онъ чуть не воскликнулъ: «Какъ она прелестна!»

— Эля! Мама! — крикнула Рузя, бросившись къ кровати сестры.

— Не кричите! — шепнулъ Рдзавичъ, сильно сжимая ея руку. — Мама сюда прійти не можетъ, нечего пугать ни ее, ни отца, ни кого-либо изъ домашнихъ. Дайте одеколонъ, натремъ ей виски, а прежде всего разстегните ее.

Рузя разстегнула корсетъ, потомъ, слушаясь указаній Рдзавича и сдерживая рыданія, старалась при-



вести сестру въ чувство съ помощью одеколона и воды. Однако, Эля не открывала глазъ. Тогда Рдзавичъ вспомнилъ, что, когда съ нимъ сдѣлалось дурно, Ядвига Стжелискакая говорила объ эфирѣ.

— Есть у васъ эфиръ? — спросилъ онъ Рузю.

— Есть, въ аптечкѣ.

— Ключи у *mademoiselle* Эли, правда?

— Да, въ столикѣ.

— Такъ возьмите ихъ и принесите эфиръ. Только потихоньку, чтобы никого не разбудить, а то мама испугалась бы. Осторожно, не зажгите чего-нибудь.

Рузя взяла ключи и свѣчу и ушла; домашняя аптечка въ Загужѣ была внизу.

Рдзавичъ сѣлъ на кровати возлѣ Эли; она была похожа на крошечный цвѣтокъ. Она лежала на своей дѣвичьей кровати съ распущенными волосами, на которыхъ блистѣли капли воды, съ головой, склонившейся на грудь, блѣдная, неподвижная, полумертвая.

— Бѣдненькая, — шеннулъ онъ, чувствуя, что ему страшно жаль этой дѣвушки.

Онъ наклонился надъ ней и смотрѣлъ на нее, какъ на бѣдное, несчастное, слабое созданіе, которое онъ безчеловѣчно обидѣлъ.

Онъ слегка убралъ волосы съ ея висковъ и, наклонившись, поцѣловалъ ее въ лобъ. Въ немъ проснулось странное чувство жалости и сердечности, какое-то неизвѣстное доселѣ благородное, высокое чувство: первый разъ въ жизни онъ поцѣловалъ женскую душу, не тѣло.



«Мнѣ кажется, — подумалъ онъ, — что я первый разъ въ жизни могъ поцѣловать женскую душу...»

Онъ словно стоялъ надъ громаднымъ кладомъ. Онъ совсѣмъ забылъ, что Эля красива и есть ли женщины красивѣе ея; предъ нимъ открывался міръ, въ которомъ онъ до сихъ поръ не былъ, который ему теперь только немного показали.

Непривычными глазами глядѣлъ онъ туда, какъ сквозь туманъ, но онъ чувствовалъ, что могъ бы туда смотрѣть совсѣмъ ясно, и его тянуло въглубь того, что онъ видѣлъ.

— Это ты? — шепнулъ онъ, глядя на Элю.

Вдругъ ему показалось, что ея вѣки дрогнули; потомъ зашевелились губы, и вся она вздрогнула. Она открыла глаза. Глаза эти встрѣтились съ его глазами: сначала они не узнавали его и глядѣли безсознательно, потомъ взглянули съ безграничной любовью и нѣжностью. Но въ ту же минуту Эля вѣрно вспомнила, что между ними произошло; глаза ея закрылись, и на лицѣ выступило выраженіе боли. Рдзавичъ всталъ съ ея кровати и, ставъ на колѣни, прижалъ губы къ ея холодной рукѣ.

— Прости, — сказалъ онъ вполголоса.

— Прощаю, — отвѣтила она шопотомъ.

Рдзавичъ всталъ и подошелъ къ окну, чтобы подпять шторы; онъ чувствовалъ, что его глаза влажны.

— Что же?! — спросила Рузя, вернувшись съ ээиромъ.



— Mademoiselle Эля пришла въ себя, — отвѣтилъ Рдзавичъ.

— А я разбудила тетю Лорцю. Сейчасъ она придетъ.

— Несносная дѣвчурка! — чуть было не сказалъ Рдзавичъ.

Онъ отошелъ отъ окна и колебался; въ первую минуту онъ хотѣлъ уйти, но потомъ ему показалось, что онъ сдѣлалъ что-то дурное и боится отвѣчать за свою вину; онъ остался.

Набросивъ наскоро платье и длинный англійскій допятакъ плащъ, быстро вошла Лаура. Она была испугана и взглянула на него съ безпокойствомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ дружелюбно, что удивило его.

— Что она думаетъ? — спросилъ онъ самъ себя.

— Что съ тобой? — спросила Лаура, подойдя къ Элю и увидѣвъ, что она уже очнулась.

— Все ужъ прошло, — отвѣчала Эля слабымъ голосомъ.

— Я раздѣну тебя, это лучше всего, — сказала Лаура, давъ Рдзавичу знакъ уйти. Она пожала ему дружелюбно руку и взглянула на него такъ, словно хотѣла ему сказать глазами: «понимаю».

У себя въ комнатѣ Рдзавичъ всталъ у окна и глубоко вздохнулъ: ему надо было воздуха. Изъ сада въ окно шелъ запахъ сирени и ели. Небо очистилось отъ тумана и сіяло золотистыми звѣздами на почти черномъ фонѣ. Громадная сова пролетѣла у окна на пушистыхъ крыльяхъ, быстро, тихо. Ночь была теплая, тихая, только



съ полей время отъ времени доносились странные, таинственные, далекіе звуки.

Онъ оперся на окно и смотрѣлъ. Когда онъ очутился одинъ у себя, въ головѣ его былъ вихрь и хаосъ. Прежде всего, въ головѣ его гудѣло: «я любимъ, я любимъ»... Да, онъ любимъ всѣми силами женской любви; онъ чувствуетъ это въ первый разъ въ жизни, онъ знаетъ, что онъ любимъ, готовъ въ этомъ крестъ цѣловать. Безмѣрное довольство и гордость поднимали его грудь; ему казалось, что въ іерархіи жизни онъ поднялся на одну ступень выше.

Онъ любимъ, дѣйствительно, сильно, безъ границъ...

И вновь предъ глазами его стало блѣдное, чистое лицо Эли Росенской.

Ему снова стало жаль ея, и вмѣстѣ съ тѣмъ росло сознание чувства обиды, причиненной ей; чувство это взяло вскорѣ верхъ надъ всѣми другими. Да, онъ обидѣлъ ее, тѣмъ сильнѣе, что она такая, какъ она, что она чувствуетъ обиду и должна чувствовать.

Онъ мучить ее съ первой минуты знакомства. Что ей было дѣлать? Вырвать силою на раутѣ у него свои руки, обратить на себя вниманіе толпы? Что ей было сегодня дѣлать? Онъ схватилъ ее, обезсилилъ... особенно, если она любитъ...

А она любитъ...

— Но что ему теперь дѣлать?.. Въ немъ къ ней — всѣ чувства, кромѣ любви...

Онъ взялъ бы ее на руки, носилъ бы ее, цѣловалъ бы ее и ласкалъ, но онъ не любитъ ея...



Но онъ обидѣлъ ее. Эта обида должна перестать быть обидой... онъ это сдѣлаетъ. Если Эля захочетъ стереть эти поцѣлуи поцѣлуями жены, онъ завтра же сдѣлаетъ ей предложеніе. Медлить нельзя.

Онъ не любитъ ея, никогда не будетъ любить, но будетъ для нея всегда самымъ лучшимъ, самымъ снисходительнымъ, самымъ сердечнымъ мужемъ. Если это даже будетъ съ его стороны жертвой, то лучше пожертвовать собой, чѣмъ быть человѣкомъ, обидѣвшимъ такую женщину, какъ Эля.

Тѣмъ болѣе, что она его любитъ.

Онъ сдѣлалъ зло, но искупить его.

Онъ почувствовалъ удовольствіе, какъ человѣкъ, увидѣвшій свое собственное благородство, хотя и не зысказавшій этого слова. Марія?... Марія выйдетъ за

Кололяскаго, у нея будетъ романъ съ Божевскимъ... и она будетъ вѣчною его любовью, проклятіемъ его жизни, его ангеломъ смерти... онъ уже согласился съ этимъ. Пока онъ не погибнетъ черезъ Марію, онъ всеми силами будетъ стараться осчастливить Элю. Она стоитъ этого. Стоитъ жить, хотя бы для того, чтобъ осчастливить такую женщину, какъ Эля.

Онъ сдѣлаетъ ей завтра предложеніе.

Онъ былъ утомленъ, и глаза его слипались. Въ головѣ у него стало темно, какъ темно было передъ глазами. Онъ оперся головой о руки. Шумъ легкаго предразвѣтнаго вѣтерка напомнилъ ему море. Оно тамъ гдѣ-то далеко, черное, темное. Милліоны лѣтъ тому назадъ оно могло быть здѣсь и, можетъ быть, будетъ



снова. Нѣтъ слѣда отъ того, что здѣсь было, и слѣда не останется отъ того, что есть теперь.

А жизнь со всѣмъ, что въ ней, такъ мала, такъ ничтожна, такой пустякъ... Онъ уснулъ.

## VII.

Онъ проснулся подъ сильнымъ впечатлѣніемъ сна. Снилось ему, что онъ идетъ со старымъ Твардовецкимъ по Новому Свѣту и спорить съ нимъ, гдѣ лучше держать живую рыбу, въ акваріумахъ или въ сажалкахъ; время отъ времени передъ ними проходилъ на четверенькахъ Кешилеръ; вдругъ Твардовецкій и городъ исчезли, а онъ очутился въ Кленжѣ, въ комнатѣ бабушки Стжелиской, одинъ, надъ библіей Дорэ. Немного спустя, пришла Марія, сѣла возлѣ него и стала гладить его по лицу, говоря: «мой бѣдный маленькій, бѣдное мое дитя!» Онъ все болѣе клонился головой къ ея груди, она гладила его все ласковѣе по лицу и по волосамъ; наконецъ, онъ припалъ къ ея ногамъ, и слезы стали течь у него изъ глазъ; тогда Марія сказала ему: «дорогой мой, бѣдный мой маленькій, встань, все будетъ хорошо. Люблю тебя».

Тогда картина измѣнилась: онъ взялъ ее на колѣни, а она стала прижиматься къ нему и ласкаться. Онъ проснулся.

Въ первую минуту онъ былъ до того подъ впечатлѣніемъ сна, что ничего не думалъ и ничего не помнилъ.



Растроганный, онъ шепталъ: «дорогая моя, единственная моя, Рыся моя...» Потомъ онъ очнулся и вспомнилъ обо всемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ вспомнилъ сцену съ Элей Росенской и то, что рѣшилъ сегодня сдѣлать ей предложеніе.

Онъ вздрогнулъ; онъ чувствовалъ еще объятія Маріи, теплоту ея дыханія, чувствовалъ ея волосы, руки, лицо, видѣлъ возлѣ себя ея темносиніе глаза съ золотымъ блескомъ. Это была она.

Онъ испугался того, что думалъ сегодня сдѣлать.

Если бъ не она, не Марія, тѣнь которой шла всюду за нимъ днемъ и ночью... Если бъ не она... Вѣдь, если бъ онъ хотѣлъ любить какую-нибудь женщину, то только Элю Росенскую; если бы хотѣлъ жениться, то только на ней. Вчера онъ не подумалъ объ одномъ, что Эля ему откажетъ; онъ вѣдь ей ясно сказалъ, что не любить ея и любить не будетъ. Такая дѣвушка, какъ Эля, предпочтетъ умереть, чѣмъ выйти замужъ безъ любви или нелюбимой. А то, что она сказала, что жить не хочетъ, въ томъ было столько правды...

Положеніе безъ выхода. Поступить виѣшне благородно и сдѣлать Элѣ предложеніе, зная, что она откажетъ, казалось ему низкимъ, недостойнымъ. Что дѣлать?

Потомъ ему пришло въ голову, что, можетъ быть, онъ ужъ слишкомъ преувеличиваетъ всю исторію. Собственно говоря, онъ ничего ей не сказалъ, онъ не сказалъ ей, что ее любить, не говорилъ ей ничего, что могло бы оскорбить ея цѣломудріе; а что она позво-



лила ему цѣловать ее, то это уже ея дѣло. Она слишкомъ красива, слишкомъ привлекательна, чтобы не поцѣловать ее при первомъ удобномъ случаѣ, чтобы не мечтать о такомъ случаѣ. Впрочемъ, такая дѣвушка, которая черезъ часъ послѣ знакомства позволяетъ значительно жать себѣ руку, а на пятый день жизни подъ одной кровлей позволяетъ цѣловать себя такъ, что теряетъ сознаніе...

Когда онъ такъ думалъ, внутренній голосъ говорилъ ему: «Ты теперь болѣе, чѣмъ некогда. Ты самъ знаешь, что думаешь о ней умышленно подло».

Возможно, но что дѣлать? Онъ не любитъ ея, не хочетъ ея любить, не можетъ ея любить, онъ любитъ Марію, только одну навсегда; что ему дѣлать?

Бѣжать отсюда... Да, онъ убѣжитъ, не прощаясь ни съ кѣмъ, не спрашивая ни о чемъ, онъ убѣжитъ и уѣдетъ за границу. У него хватитъ денегъ доѣхать хотя бы до Америки, со своимъ именемъ онъ всюду устроится. Надо ѣхать.

Онъ съ жаромъ ухватился за эту мысль. Вдругъ внутренній голосъ сказалъ ему: «А если Эли отравится или бросится въ воду... Въ ея словахъ, что ей жить не хочется, было столько правды...»

— Эхъ, не сдѣлаетъ она этого, — отвѣтилъ онъ себѣ съ неудовольствіемъ.

Хотя бы она и не сдѣлала этого, честно ли это — такъ поступить съ дѣвушкой и бѣжать?

Вѣдь никто не знаетъ...

Да, но онъ не чистъ самъ передъ собой...



Эхъ!..

Нѣтъ, это нечестно...

Ну, такъ онъ подлецъ!

Въ эту минуту слава и почетный дипломъ стали въ его глазахъ чѣмъ-то маленькимъ, ничтожнымъ. — Прежде всего, однако, я смѣшонъ! — почти крикнулъ онъ, вскочивъ съ кровати, на которой не могъ дольше лежать.

Чортъ меня занесъ вчера на крыльцо. Сотню барышень перецѣловаль я — и ничего. А тутъ...

Онъ чувствовалъ, что тутъ нельзя поступить, какъ въ сотнѣ подобныхъ случаевъ.

Ему было немного страшно старыхъ Росенскихъ. Если Эля скажетъ матери или Лаурѣ, а та Росенской... Онъ боялся даже встрѣчи съ Лаурой: несмотря на всю свою любовь къ мужу и его ласкамъ, она была скромна...

Что, однако, можетъ случиться, если случай огласится? Его можетъ вызвать на дуэль панъ Росенскій или какой-нибудь родственникъ Эли, а, можетъ быть, Эдуардъ Твардовецкій. Прежде всего, было бы крайне смѣшно, если бъ онъ, Романъ Рдзавичъ, палъ отъ руки такого болвана; но этого не будетъ, если бы даже Росенскіе узнали обо всемъ; они постараются затушить все дѣло, чтобъ не оглашать скандала. Во всякомъ случаѣ, ей же не было бы хуже. Каждый бы сказалъ: «ну какъ не цѣловать, если можно?!» Женщины первыя бы такъ заговорили.

— Что здѣсь, собственно говоря, страшнаго? — пробовалъ онъ успокоить себя.



— Ты отлично знаешь, что въ данномъ случаѣ это не пустякъ, — не унимался внутренній голосъ.

— Чортъ меня сюда принесъ! — подумалъ онъ снова. Однако, это было непріятно... Эта дрожь Эли, эти бессознательно блуждающія по его лицу и головѣ руки — онѣ приснились ему, какъ руки Маріи — ея жаждущія поцѣлуевъ губы, вся она, слабѣющая, потерявшая волю, сознаніе, — это было очень пріятно.. Это было такъ пріятно, что для повторенія того же стоитъ пожертвовать многимъ... Чувствовать еще разъ ея дрожь, ея страстныя губы... Она очень красива... У ней чудные глаза, волосы, губы. Прелестныя, бѣлыя, маленькія ручки. Чудный бюстъ! Да, у ней прекрасный бюстъ! Вся она меньше Маріи, но прекрасна. Вся она прекрасна... И она была въ его объятіяхъ, губы его были на ея губахъ, грудь у груди; онъ держалъ ее за руки, ласкалъ ее.

Воспоминанія вскружили ему голову...

Онъ легъ поперекъ кровати, закрылъ глаза и, не думая ни о чемъ другомъ, сталъ рисовать въ воображеніи прожитыя минуты; образы росли, оживляясь, пылали... какъ на только что родившейся молодой землѣ подъ огненнымъ жаромъ солнца выростали пурпурово-огненные цвѣты, такъ въ головѣ его выростали и взрывались огненные вулканы страсти. Какъ огненные языки пламени кружатся, лижутъ и обнимаютъ стволъ молодой сосны, такъ мысли его кружились вокругъ Эли.

Онъ взглянулъ на часы: былъ десятый часъ. Онъ проспалъ завтракъ, но около двѣнадцати обыкновенно



немного закусывали, надо было сойти. Въ немъ что-то непріятно зашевелилось. Если случайно обо всемъ узнали, онъ не могъ даже вообразить, что будетъ.

Хмурый, пасмурный день еще болѣе портилъ настроеніе. Онъ былъ такъ разстроенъ, что не могъ овладѣть собой. Ему необходимо было сначала увидѣться съ кѣмъ-нибудь изъ домашнихъ, чтобъ что-нибудь узнать; съ другой стороны, его беспокоила мысль о встрѣчѣ съ кѣмъ-нибудь.

Если, однако, во всемъ домѣ никто не знаетъ, Эля, навѣрное, рассказала все Лаурѣ. Не лучше ли прямо пойти къ ней и разузнать? Лаура такъ добра, что, если даже будетъ ужасно сердиться, то все же будетъ мягкой; вчера, когда онъ съ ней прощался въ комнатѣ Эли, она ему особенно дружелюбно пожала руку.

Несмотря на свой дѣтскій характеръ, Лаура умна и снисходительна; она, конечно, не похвалитъ его, но пойметъ, что иной разъ можно забыться. При всей ея честности, скромности и нравственности въ ней нѣтъ ни капли глупаго ханжества. Лучше всего будетъ пойти къ ней и рассказать все, если она даже отъ Эли ничего не узнала; но она, навѣрное, знаетъ.

Онъ осторожно открылъ двери въ коридоръ и посмотрѣлъ, нѣтъ ли тамъ кого-нибудь; потомъ онъ быстро зашагалъ и постучалъ въ комнату Лауры. Она попросила войти.

Она сидѣла въ розовомъ шлафрокѣ съ бѣлой розой на груди, съ раскрытой книгой, которой, видимо, вовсе не читала. Увидѣвъ Рдзавича, она покраснѣла



до ушей. Онъ входилъ смущенный и неувѣренный, но, замѣтивъ, что Лаура смѣшалась, онъ сразу сталъ хладнокровнымъ.

— Вы знаете все? — спросилъ онъ, цѣлуя ея руку.

— Знаю, — отвѣчала она. — Садитесь, пожалуйста.

— Рузя тоже знаетъ?

— Нѣтъ, ничего не знаетъ. Она пошла спать, и тогда Эля рассказала мнѣ все.

— Что же вы?

— А вы? — спросила Лаура, взглянувъ ему глубоко въ глаза.

— Я? Я пришелъ посоветоваться съ вами, что дѣлать?

— Дѣло очень плохо.

— Скажите лучше, что я дурно поступилъ. Все, что случилось, моя вина. Какъ помочь?

— Вы не любите ея?

— Нѣтъ.

Лаура опустила глаза; ей, видимо, стало очень неприятно, такъ какъ она должна была на минуту оборвать разговоръ, чтобъ овладѣть собой; когда она стала говорить, голосъ ея дрожалъ.

— Вы ей это сказали, правда? Я думала, что вы вчера сами себя не поняли.

Она снова на минуту замолкла, и Рдззвичъ почувствовалъ, что она хочетъ что-то сказать, но не рѣшается или не знаетъ, какъ начать. Наконецъ, она сказала:

— Видите ли, послѣ того, что случилось, мы мо-



жемъ откровенно говорить. Я вамъ прямо скажу, что моей мечтой было то, чтобъ вы женились на Элѣ, оттого что я вамъ желаю добра и знаю, какую бы вы получили жену, и оттого, что я люблю Элю и знаю, что ей съ вами было бы очень хорошо. Вы знаете про ея чувства къ вамъ, и мы можемъ говорить открыто. Вы ей понравились сразу, еще на томъ раутѣ. Я должна признаться, что въ этомъ много моей вины. Я думала, скажу больше, — была увѣрена, что вы другъ друга поймете, такъ, какъ вчера я думала, что вы ей сдѣлали предложеніе и что она отъ этого упала въ обморокъ, потому что она очень нервная. Я здѣсь виновнѣе всѣхъ. То, что Эля влюбилась въ васъ такъ быстро, объясняется многимъ: во-первыхъ, у Эли такой характеръ, во-вторыхъ, она никого почти не видывала изъ молодежи, кромѣ такихъ куколъ, какъ Эдуардъ Твардовецкій, и такихъ болвановъ, какъ Викторъ. Болѣе всего ее заинтересовало ваше прошлое, — сказала она, съ трудомъ подыскивая наименѣе непріятное для Рдзавича выраженіе. — Женщины всегда впечатлительны на чужое... если кому-нибудь нехорошо.

— Отчего вы прямо не скажете: «на чужое несчастье»? — прервалъ Рдзавичъ.

— Объ этомъ такъ трудно говорить, — отвѣчала Лаура. — Миѣ все кажется, что я слишкомъ неделикатна.

Рдзавичъ взялъ ея руку и поцѣловалъ.

— Что касается васъ, то я была увѣрена, что вы поддадитесь обаянію Эли. Она не красавица, но очень



красива, и притомъ такъ мила, такъ добра, такъ честна, безъ тѣни кокетства, въ то же время не холодна, что вамъ такъ не нравится въ нашихъ женщинахъ. Даже послѣ той встрѣчи на раутѣ я не сомнѣвалась, что вы вернетесь къ Элѣ. Скажите откровенно, вамъ не неприятно, что я объ этомъ говорю?

— Во всякомъ случаѣ это не больше, чѣмъ я самъ себѣ говорю.

— Теперь не о чемъ уже говорить. Надо только стараться успокоить какъ-нибудь эту бѣдную дѣвушку...

— И дать ей удовлетвореніе за причиненную ей обиду. Я пришелъ именно узнать у васъ, какъ?

— Я почему знаю? Если бы вы ее любили...

— Я могу поступить такъ, какъ будто я ее люблю.

— Да, но она знаетъ, что вы ее не любите.

Лаура нахмурилась и заломила руки.

— А что же она говорить? — спросилъ Рдзавичъ виноватымъ голосомъ.

— Она? То же, что сказала вамъ: не хочетъ жить. Я понимаю любовь, я сама очень впечатлительна, но о такой чувствительности я не имѣла понятія. Тетка, несмотря на болѣзнь, отлично знаетъ своихъ дѣтей и говорила со мной не разъ, что она очень довольна характеромъ Эли, но ее беспокоитъ ея чувствительность; она впрочемъ рассчитывала на силу ея характера. Тетка прямо говорить, что Эля... — тутъ Лаура покраснѣла и добавила вполголоса — въ ней слишкомъ рано проснулась...



Когда она это говорила, у ней было такое пристыженное лицо, что Рдзавичъ улыбнулся.

— Положимъ, — продолжала она, — Эля въ первыя минуты слишкомъ много чувствуетъ, но вы, вѣдь, ея первая любовь, громадная любовь, и то, что между вами вчера произошло, — она мнѣ бѣдненькая все рассказала, — это... Я знала одну дѣвушку, которая влюбилась въ женатаго и забылась до послѣдней степени; знаете, она была въ меньшемъ отчаяніи, чѣмъ Эля, послѣ того, что между вами произошло...

— Что же мнѣ дѣлать? Я готовъ на все, — сказалъ Рдзавичъ.

— Я знаю, что вы могли бы ее полюбить, что вы ее уже любили бы, — съ сердцемъ сказала Лаура, — если бъ не... Я чувствую, что вы созданы другъ для друга, что такова воля Господа и ваша судьба. Оттого Эля такъ легко попала подъ ваше вліяніе, а васъ съ перваго же раза потянуло къ ней...

— Я пошелъ уже по другому пути, вернуться невозможно.

— Эта женщина сломала вашу жизнь!

— Знаю, но она — это она.

Они взглянули другъ на друга. Рдзавичъ сразу угадалъ, что думаетъ Лаура. Если бъ это была другая женщина, онъ всталъ бы, ушелъ и порвалъ знакомство.

— Знаете, — сказалъ онъ послѣ минуты молчанія, — вѣдь mademoiselle Элиза знала, что я ни въ кого не влюблюсь и ни на комъ не женюсь.

Лаура съ нетерпѣніемъ встряхнула головой.



— Не воображайте, что я или кто-нибудь другой говорилъ съ Элей о бракѣ съ вами. Эля знала, что вы были женихомъ Тыжвецкой, что она бросила васъ и что вы много страдали. Я думала, что Эля прежде всего васъ выльчить, потомъ вы увлечетесь ею, а вы должны согласиться, что поведеніе ваше на раутѣ могло заставить думать, что она произвела на васъ такое же сильное впечатлѣніе, какъ вы на нее. Вѣдь иначе она могла бы подумать, что вы обращаетесь съ ней, какъ съ кокоткой, о чемъ она, между прочимъ, не имѣетъ ни малѣйшаго понятія.

— Ну, а потомъ?

— Потомъ? Потомъ она была очень несчастна и слишкомъ слаба, чтобъ преодолѣть возникшее въ ней чувство. Я не знаю, что съ ней теперь будетъ. Для такой дѣвушки, какъ Эля, позволить цѣловать себя мужчинѣ, который ея не любитъ, это все равно, что для порядочной женщины забыться, — быстро и съ раздраженіемъ говорила Лаура. — Вы вѣдь это понимаете.

— Понимаю, но съ трудомъ. Практика даетъ мнѣ другіе примѣры.

— Быть можетъ, за границей, въ Германіи, гдѣ женщины, говорятъ, замѣчательно легкомысленны, но не у насъ.

— Нѣтъ, и у насъ.

— Въ какомъ кругу?

— Во всѣхъ.

Лаура удивленно взглянула на Рдзавича.

— Я вѣрю вамъ, но я не имѣла объ этомъ понятія.



Теперь мнѣ легче объяснить себѣ вашъ поступокъ съ Элей. Только какъ вы не замѣтили того, что Эля не совсѣмъ такая, какъ... всѣ.

— Я замѣтилъ, и потому я отношусь къ ней иначе.

— Такъ значитъ такая добрая, милая, невинная дѣвушка должна пасть жертвой изъ-за салонныхъ коко-токъ?! — вспылила Лаура, топнувъ ножкой въ преле-стной туфелькѣ.

— Отчего вы ихъ такъ называете? Развѣ женщины, оттого что онѣ изъ общества, не имѣютъ права искать наслажденіе тамъ, гдѣ онѣ его находятъ?

— Но вѣдь дѣвушка, позволившая завести съ со-бой интимныя отношенія человѣку, котораго она не любитъ, это...

— Нѣтъ, она только подчиняется инстинкту.

— Вы забываете, что есть воля и извѣстныя убѣ-жденія, которыя должны сдерживать человѣка, вѣдь онъ не животное.

— Убѣжденія и взгляды различны

— Какая же дѣвушка вамъ больше бы понравилась : такая, о какихъ вы говорите, или Эля?

— Такая, о какихъ я говорю.

— А на какой вы бы женились?

— На Элѣ.

— Значитъ, дѣвушекъ надо дѣлить на такихъ, ко-торыя должны выходить замужъ, и такихъ, которыя должны оставаться дѣвушками?

— Такъ ихъ и надо дѣлить.



— Отчего же, зная, что Эля не изъ такихъ, вы поступили съ ней, какъ съ такими?

— Въ этомъ-то и все зло, въ этомъ-то и заключается моя вина, въ которой я сознаюсь и которую хочу исправить.

— Какъ?

— Не знаю. Я могу уѣхать.

— Можетъ быть, это будетъ лучше всего. Погосрываетъ и забудетъ.

— Я уѣду сегодня же, не простившись даже.

— Элю вы не увидите, я велѣла ей лечь въ постель, у нея такой болѣзненный видъ; не надо пугать тетю, ей и такъ плохо. Я сказала, что у Эли мигрень.

— Впрочемъ, никто ничего не знаетъ?

— Никто.

— А Юрій?

— Юрій, должно быть, немного догадывается, но онъ деликатенъ, и такъ какъ я ему ничего не говорила, то онъ ни о чемъ и не спрашиваетъ. Онъ вѣдь видѣлъ, что я вчера ночью ходила къ Элѣ, а Рузя такъ громко рассказывала, что вы принесли наверхъ Элю въ обморокъ, что онъ все слышалъ. Что касается Рузи, то она увѣрена, что вы нашли Элю на крыльцѣ. Надо только какъ-нибудь объяснить вашъ отъѣздъ.

— Я скажу, что мнѣ необходимо поѣхать въ Мюнхенъ, у меня тамъ дѣла, мнѣ надо тамъ быть лично.

Лаура посмотрѣла на него внимательно и сказала:

— Знаете, можетъ быть, я плохо дѣлаю, что вамъ это говорю, но на свѣтѣ мало людей, такъ любимыхъ,



какъ вы; дай Богъ, чтобъ вы еще воспользовались вашимъ счастьемъ. Вы отказываетесь отъ клада, который самъ подкатился къ вашимъ ногамъ. Если бъ я была женщиной и если бъ женщина меня такъ любила...

— ...вы поступили бы такъ же, какъ и я, если бъ вашу жизнь преслѣдовало такое же проклятіе, какъ мою, — прервалъ Рдзавичъ.

— Вы сами называете это проклятіемъ своей жизни, отчего жъ вы не отбросите это отъ себя?

— Не могу и не хочу.

— Вы могли бы, если бъ хотѣли, могли бы.

— Если бъ я даже могъ, то я бы не хотѣлъ.

— Вы говорите, какъ сумасшедшій.

— Нѣтъ, какъ влюбленный.

Лаура заломила руки и сказала съ горечью:

— Но развѣ вы не созданы другъ для друга?! Оба вы способны любить, какъ мало кто. Это истинное несчастье! Дай Богъ вамъ образумиться! Вы ломаете и свою жизнь и такой чудной дѣвушки, какъ Эля. А вы оба могли бы быть счастливы, а я знала бы, что это хоть отчасти дѣло моихъ рукъ и что я не напрасно родилась, если дала людямъ хоть капельку счастья. Обстоятельства такъ хорошо сложились, я знаю, что дядя былъ бы очень доволенъ. Они прямо говорили, что если бы вы понравились другъ другу, то они не имѣли бы ничего противъ. Они хотѣли бы поскорѣе выдать дѣвушекъ замужъ, а тутъ кругомъ одни Эдуарды да Викторы Твардовецкіе. Вы очень понравились дядѣ и тетѣ, въ особенности тетѣ, въ которую когда-то былъ



влюбленъ извѣстный французскій художникъ; въ тѣхъ поръ она особенно покровительствуетъ вашей брати. Вѣдь это прямо несчастье...

— Что жъ дѣлать; я вамъ напомню старую поговорку: человекъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ. Я въ вашихъ рукахъ и готовъ на все. Скажите Элѣ, что я готовъ для нея на все. Черезъ часъ я приду прощаться.

Росенскіе были искренно огорчены рѣшеніемъ Рдзавича: у Рузи слезы стояли въ глазахъ, лицо Пшервица выражало, что онъ ничего не знаетъ; кромѣ того, что ему сказали.

— Что же? — спросилъ Рдзавичъ у Лауры, воспользовавшись минутой, когда они остались одни.

— Я боюсь за нее. Съ утра она ничего не ѣла, блѣдна, какъ послѣ болѣзни, нельзя изъ нея выжать ни слова. Эта дѣвушка ужасно страдаетъ.

Рдзавичъ закрылъ глаза и потеръ лобъ: онъ почувствовалъ, что его что-то тянетъ въ комнатку Эли, къ ея кровати, къ ея ногамъ, рукамъ. Это было чувство громаднаго страданія къ существу, которое страдаетъ и которое онъ легко могъ бы вылѣчить. Для этого нужно, однако, чтобъ душа родила то, чего въ ней нѣтъ.

— Что жъ мнѣ дѣлать? — обратился онъ къ Лаурѣ. — Что жъ мнѣ дѣлать? Они могутъ смѣло пустить мнѣ пулю въ лобъ, но я ничего не выдумаю.

— Бѣдное дитя, — шепнула Лаура со слезами на глазахъ.



— Одно несчастье родить другое. Das ist der Fluch der boesen That, dass sie fortzeugend Boeses muss gebaeren. До свиданія! Не осуждайте меня слишкомъ.

— Несчастному много прощается.

— Только добрыми людьми. До свиданія.

— Посмотримъ, что будетъ, — утирая глаза сказала Лаура, съ отгѣнкомъ надежды въ голосѣ.

— Вѣрьте мнѣ, что все хорошее, что я могу еще испытать, я отдалъ бы, чтобъ ей было хорошо. До свиданія.

Лаура сердечно пожала его руку.

Когда, усѣвшись уже въ экипажѣ, онъ повсрнулся, чтобы въ послѣдній разъ поклониться Росенскимъ, онъ увидѣлъ, что Лаура, опершись о мужа, осѣняла его крестнымъ знаменіемъ.

Отъ Загужа до ближайшей станціи было три мили, и Рдзавичъ долго ѣхалъ межъ полей и луговъ, пока, наконецъ, вѣсколько успокоился. Ему было жалко оставлять этихъ добрыхъ, честныхъ людей; домъ ихъ казался ему оазисомъ въ жизни, окружавшей его. Но вотъ едва онъ переступилъ порогъ этого дома, какъ внесъ туда несчастье и обиду.

— Das ist der Fluch der boesen That, dass sie fortzeugend Boeses muss gebaeren, — повторилъ онъ.

Жизнь показалась ему еще болѣе пустой. Долгое время онъ зналъ, что гдѣ-то есть для него открытый, дружелюбный домъ — теперь двери его закрылись. Онъ привыкъ къ мысли: «поѣду въ Загуже»; и сознаніе, что такъ думать теперь уже больше нельзя, было ему не-



пріятно. Его тянуло въ это Загуже. Оттуда было такъ далеко и до Божевскаго и до Кололяскаго, и до Ядвиги Стжелиской, и до Пожельской, до всего, что отравляло его жизнь; тамъ было такъ тихо, спокойно. Его могли тамъ любить страстно, до безумія... Онъ могъ тамъ позволить любить себя, могъ пользоваться этой любовью съ полнымъ эгоизмомъ и сибаритизмомъ, прирожденнымъ такимъ натурамъ, какъ онъ. Онъ могъ тамъ отдыхать, словно высыпаться послѣ страшной ночи, которую онъ прожилъ. Но нѣтъ, ночь эта не окончилась, она будетъ продолжаться до конца его жизни. Не будетъ въ ней ни отдыха, ни покоя. А вѣдь Лаура права, это больше сумасшествіе, чѣмъ любовь...

И снова его ждетъ лихорадочная, безпокойная, раздраженная жизнь, въ узкихъ рамкахъ его мастерской, ресторана, кафе. Онъ вздрогнулъ съ отвращеніемъ. Къ тому же этотъ отвратительный городъ со своею пылью, грохотомъ, шумомъ, со своей тѣснотой, испорченнымъ воздухомъ и антипатичной уличной толпой... А здѣсь столько цвѣтовъ, луговъ, столько свободного свѣта. Всѣ мѣста въ Загужѣ, гдѣ онъ бывалъ, рельефно рисовались передъ его глазами. Всѣмъ онъ слишкомъ мало пользовался: и ручьями въ лѣсной глуши, и водяными лиліями, и лѣсами, и лугами, и рѣкой. Вернись онъ теперь, онъ бы такъ углубился въ природу, что утонулъ бы въ пей, обо всемъ бы забылъ.

Лаура права, что они съ Элей созданы другъ для друга. Онъ даже не могъ вообразить себѣ, въ чемъ онъ могъ бы съ ней не согласиться, о чемъ бы они



спорили? Взгляды его и Маріи сильно разнились, притомъ въ Маріи всегда было что-то, чего онъ не могъ хорошенько разглядѣть; въ ея душѣ было что-то, чего онъ не могъ ухватить за руку, чего онъ не могъ ясно, очевидно себѣ представить; въ ея любви, въ томъ, что она называла любовью, было что-то, что дразнило взглядъ и не позволяло ни разсмотрѣть себя, ни понять. Душа Эли чиста, какъ хрусталь; въ нее надо только умѣть смотрѣть и смотрѣть глубоко, чтобъ увидѣть въ ней все; чувство ея расцвѣло, какъ цвѣтокъ, его можно взять въ руки, разглядѣть каждый листочекъ, который родился, потому что Богъ его посѣялъ. Да, если судьба назначаетъ другъ другу людей, Эля назначена ему; жаль, что слишкомъ поздно. И она прильнула къ нему такъ быстро, сразу, словно все свои восемнадцать лѣтъ она росла для него. Она пошла къ нему, не оглядываясь, словно какая-то невидимая сила толкала ее, словно сила эта сказала: «что бы то ни было, вотъ человѣкъ, чьей женщиной ты должна быть».

У этой дѣвушки, простой, какъ элементъ, какъ природа, были вѣрные, стойкіе инстинкты: гласъ пола назвалъ ей только одно имя и, кромѣ этого одного мужчины, для нея не существуетъ весь міръ. Такое чувство онъ питалъ къ Маріи, но Марія такого никогда ни къ кому не питала и питать не будетъ, въ этомъ онъ увѣренъ. Марія никогда такой не была.

Какъ поступила бы Эля на мѣстѣ Маріи, трудно



предвидѣть, но ни въ какомъ случаѣ она не поступила бы такъ, какъ Марія. Она предпочла бы умереть.

Однако, та же внѣшняя сила связываетъ его съ Маріей и становится между нимъ и Элей.

Естественный половой подборъ у этихъ четырехъ человѣкъ разбился въ трехъ направленіяхъ; одно изъ нихъ ложно. Изъ нихъ должно было быть двѣ пары: Божевскій съ Маріей, онъ съ Элей. Судьба хочетъ, чтобы ни одно изъ этихъ чувствъ и стремленій не нашло удовлетворенія, а если взять еще Кололяскаго, то получается полный хаосъ, гдѣ трое мужчинъ хотятъ одну женщину, она стремится къ одному, а другая любить напрасно. Изъ пяти воль только двѣ идутъ по вѣрному направленію, остальные по ложному. Никому изъ нихъ не суждено быть счастливымъ, а ось всего — Марія, чудное проклятіе его жизни...

Рдзавичъ хотѣлъ уѣхать въ Мюнхенъ, хотѣлъ броситься въ круговоротъ жизни дѣтей искусства, вмѣшаться въ толпу художественной богемы всего свѣта, моделей и кельнерокъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ войти въ сношенія съ «куперхендлерами», обезпечить себѣ вѣрный доходъ и поселиться за границей, въ Италиі или въ Парижѣ. Онъ хотѣлъ порвать со все́мъ прошлымъ, заглушить его, забыть. Когда, однако, онъ пріѣхалъ въ Варшаву, онъ не могъ рѣшиться на отъѣздъ ни въ Мюнхенъ, ни въ горы въ Швейцарію, ни куда-нибудь къ морю; въ Италиі было уже слишкомъ жарко. Въ концѣ-концовъ, онъ избралъ Нордерней, куда его тянуло туманное, фантастическое море; онъ



былъ уже почти совѣмъ готовъ уѣхать, какъ вдругъ на третій день послѣ пріѣзда онъ встрѣтилъ Ядвигу Стжелискую, за которой шла съ громадной коробкой дѣвочка изъ моднаго магазина. Онъ хотѣлъ было пройти мимо и только поклониться, но она остановила его, воскликнувъ :

— Какъ, вы здѣсь? Я слыхала, что Пшервицы увезли васъ къ Росенскимъ. Какъ поживаете?

— Спасибо, — отвѣтилъ онъ, остановившись, такъ какъ Ядвига подходила къ нему съ протянутой рукой.

— Не хотите ли немного поговорить со мною? Отнесите это, Виктя, домой и скажете, что я сейчасъ приду. У насъ теперь масса покупокъ

— А что это?

— Это одно изъ платьевъ Маріи; я отдавала его поправить, оно плохо сидѣло въ талии.

— Когда же свадьба? — спросилъ Рдзавичъ, у котораго внезапно потемнѣло въ глазахъ.

— Черезъ три недѣли.

— Кололясскій?

— Конечно. Свадьба Божевскаго въ сентябрѣ.

— А потомъ?

— Умно и ловко поступать.

— И пользоваться людскою помощью, если надо будетъ, — сказалъ онъ явно презрительнымъ тономъ.

Ядвига посмотрѣла ему въ глаза и отвѣтила, ничуть не смутившись.

— Я готова къ тому, что люди не разъ еще въ жизни будутъ ко мнѣ обращаться такимъ тономъ. Ка-



ждаго, у кого есть свои собственные изъ ряда вонъ выходящiе взгляды, кто открыто ихъ высказываетъ, кто не прилаживается подъ шаблонъ и не сторонникъ общепринятой морали, въ особенности, если это женщина, ждетъ тонъ, подобный тому, какимъ вы ко мнѣ обратились. Мнѣ только непрiятно, что и вы принадлежите къ толпѣ.

Какъ и во время разговора въ мастерской Гдзавичъ не могъ не отдать должнаго Ядвигѣ: добра ли она, зла ли она, во всякомъ случаѣ это цѣльный характеръ, «весь изъ одного куска», самъ собой созданный и воспитанный. Онъ преклонялся передъ ней, какъ преклоняются передъ каждой сильной, энергичной индивидуальностью, положительной ли, или отрицательной.

— Такъ черезъ три недѣли свадьба Кололяскаго?— повторилъ онъ.

— Да

— Гдѣ?

— Въ костелѣ Святого Креста.

— Вечеромъ?

— Въ шесть часовъ.

— Она здѣсь?

— Нѣтъ, у Лецицкихъ. Докторъ посоветовалъ ей уѣхать до свадьбы, чтобы немного поправиться.

— Ей нездоровится?

— Нѣтъ, но она словно въ жару. Вы понимаете, во всякомъ случаѣ, она предпринимаетъ неслыханное дѣло.

— Понимаю.



— Я вполне согласна, что для нея это ужасно, — говорила Ядвига. — Выходь за Кололяскаго — брр!..

Рдзавичъ прикусилъ губы.

— Видите, если кому-нибудь грозитъ слѣпота на оба глаза, а ему скажутъ, что онъ спасетъ правый, — если позволить себѣ выколоть лѣвый, то онъ согласится, — продолжала Ядвига. — Но не будемъ объ этомъ говорить, это васъ раздражаетъ. Что вы дѣлали въ деревнѣ у Росенскихъ? Не влюбилась ли въ васъ случайно одна изъ двухъ курочекъ?

Рдзавичъ совсѣмъ не обратилъ вниманія на то, какъ назвала Ядвига Элю.

— О свадьбѣ напечатаютъ въ «Курьерѣ»? — спросилъ онъ.

— Навѣрно. Я не сомнѣваюсь, что Кололяскій захочетъ похвастаться, что беретъ красивѣйшую дѣвушку въ городѣ. Я думаю, что онъ охотно извѣстилъ бы міру о своей свадьбѣ объявленіями на углахъ улицъ, если бѣ Мариня позволила. Но вы вѣдь не придете въ костель?

— Нѣтъ, приду.

— Сказать ей объ этомъ?

— Какъ вамъ угодно. Я думаю, ей все равно.

— Это правда. Утѣшьте тѣмъ, что Маринѣ, собственно говоря, все равно. Она хочетъ только пріятно пожить, а источникъ удовольствія, пока, по крайней мѣрѣ, она видитъ въ Божевскомъ. Что будетъ потомъ, не знаю. Миѣ кажется, что она будетъ страстно лю-



бить своихъ дѣтей, съ правой ли, или съ лѣвой они будутъ руки...

Ядвига съ видимымъ удовольствіемъ бросила Рдзавичу въ глаза свой цинизмъ.

— Что вы думаете теперь съ собой дѣлать?

— Я хотѣлъ было ѣхать въ Нордерней, но поѣду только послѣ свадьбы Маріи.

— Туда?

— Пожалуй. Впрочемъ, мнѣ все равно, за мной всюду пойдетъ мой... рай.

Стжелискакая взглянула на него съ сочувствіемъ, въ которомъ не было ничего дѣланнаго, и сказала ему тронутымъ, ласковымъ голосомъ:

— Потерпите. Это самый тяжелый ударъ, но послѣдній. Помните это.

Въ эту минуту она казалась Рдзавичу доброй.

— Я бы вамъ совѣтовала уѣхать до свадьбы Маріи, — добавила она.

— Вы говорите, — отвѣчалъ онъ, — что это самый тяжелый, но послѣдній ударъ. Я бы предпочелъ, чтобы она умерла, чѣмъ чтобы случилось то, что случится.

Стжелискакая разсмѣялась.

— Не будемъ дѣтьми. Вамъ никогда не приходило въ голову, что жизнь — трагическій фарсъ, но фарсъ, и что не стоитъ томиться имъ? Что намъ? И что, собственно говоря, въ жизни такъ дурно? Вы жертва закоренѣлыхъ вѣковыхъ предрасудковъ. Больше язычества, папъ Романъ, больше язычества, больше смѣ-



лости, смотрите на жизнь такъ, какъ она есть. Господи! Есть чѣмъ убиваться?

Спокойный, легкій, увѣренный тонъ Ядвиги произвелъ на Рдзавича обыкновенное впечатлѣніе: онъ сталъ думать. Ядвига замѣтила это и добавила съ милой, свойственной ей улыбкой:

— Миѣ кажется, что я хорошо на васъ влію. Вамъ необходимо приходитъ ко миѣ время отъ времени поговорить, какъ дамы изъ аристократіи ходятъ къ отцу Нарцису. Я бы васъ отъ многого вылѣчила. Вы такъ понимаете греческую скульптуру, а въ вашей душѣ такъ мало греческаго. Прежде всего плюньте на все и старайтесь сдѣлать жизнь пріятной. У васъ есть романъ?

Вопросъ этотъ былъ поставленъ такъ просто, словно спросила Рузя Росенская; отъ естественнаго тона этого вопроса Рдзавичу — онъ самъ не зналъ, почему — вдругъ стало стыдно, что онъ долженъ отвѣтить отрицательно.

— Какъ? Ничего? Никакой интрижки? — спрашивала съ удивленіемъ Ядвига. — Ничего? Но вѣдь какъ же можно такъ жить? Портить такъ жизнь? Вѣдь ее надо по возможности дѣлать пріятной.

Рдзавичъ стоялъ передъ Ядвигой съ удивленіемъ: эта молодая двадцатилѣтняя дѣвушка говорила съ нимъ о жизни, какъ зрѣлый мужчина. Онъ никогда бы не повѣрилъ, если бъ ему объ этомъ рассказали, но онъ слышалъ Ядвигу собственными ушами.

Съ другой стороны, онъ сталъ поддаваться вчу



шенію. Стоитъ ли томиться? Что ему? Жизнь вѣдь трагическій фарсъ. Онъ пошелъ дальше: онъ показался себѣ смѣшнымъ, безконечно смѣшнымъ. Совсѣмъ, какъ рыба въ водѣ, безпокоящаяся о воробьяхъ, или воробей, грустно чирикающій изъ-за рыбы. Онъ вышелъ изъ этой игры, какъ почтовая лошадь, выпряженная и поставленная въ конюшню; карета ѣдетъ дальше, ее тянутъ другія лошади — чего жъ ей потѣтъ? Не лучше ли спокойно пережевывать овесъ? Не лучше ли не портить себѣ жизни?

— Миѣ кажется, — сказалъ онъ Ядвигѣ, — что я былъ очень глупъ. Вы правы. Я стану жить. А въ доказательство, если только разрѣшите...

Стжелиска комично улыбнулась и отвѣтила:

— Вы думаете, что я вспылю и крикну: «съ ума вы сошли что ли»? Нисколько. Я отлично усвоила «*De mivierges*» Прево. Итакъ, поднимите голову и до свиданія, теперь у меня столько дѣла, что нѣтъ ни минуты времени. Я рада, что немного васъ почила. Adieu.

Она пошла.

— Дѣйствительно, нечего быть дуракомъ, — думалъ Рдзавичъ. — Я слишкомъ принимаю все къ сердцу. И отчего миѣ быть лучше другихъ? Впрочемъ, можетъ быть, они только умны. Что такое — мораль? Что тотъ либо другой назвалъ моралью? Міръ такъ устроенъ, словно всѣмъ надо ежедневно фунтъ мяса, между тѣмъ, одному довольно полфунта, другому нужно два: одинъ голодевь, другой боленъ желудкомъ. Люди одного не



понимаютъ — это индивидуальности. Вотъ Ядвига: все, что она дѣлаетъ, это для другихъ. Если Кололяескій ничего не замѣтилъ, то онъ тоже будетъ доволенъ, и во всякомъ случаѣ вполне естественно, что она не колеблется пожертвовать такимъ болваномъ для Маріи.

Кто знаетъ, не будетъ ли завтра соціальныхъ отношеній принадлежать такимъ Ядвигамъ Стжелискимъ, пока изъ этого броженія что-нибудь не выкристализируется и не выйдетъ. Такъ, какъ есть, во всякомъ случаѣ плохо, и нѣтъ ничего неестественнаго въ томъ, что всѣ ищутъ новой формы жизни. Что что-то случится, это очевидно.

Онъ чувствовалъ, что въ немъ что-то переломилось: конкретная, пластическая картина брака Маріи сдѣлалась для него критическимъ моментомъ. Теперь за нимъ закрылись двери навсегда.

— Черезъ три недѣли кончается часть моей жизни, — думалъ онъ. — Грустная картина. Я всего достигъ — кромѣ счастья. А, однако, прошло полжизни...

Счастье только одно: его можно найти только въ громадной тишинѣ любви безъ границъ — и это для него недоступно.

Но одно онъ можетъ удовлетворить — свои страсти...

На слѣдующій день онъ проснулся поздно, съ тяжелой головой, съ горечью на губахъ. Какъ и когда онъ вернулся домой, онъ совсѣмъ не помнилъ. На столѣ лежалъ кусокъ розовой ленты и измятый букетикъ чайныхъ розъ — ихъ пришилила ему къ сюртуку Зося



Полевская. Онъ вспомнилъ, что они вмѣстѣ ѣздили въ Бельведерь, кажется даже, что были въ Виллановѣ.

Онъ потянулся и зѣвнулъ. На сюртукѣ онъ нашелъ тонкій, золотой волосъ. У Зоси Полевской славные волосы.

Онъ взглянулъ на часы: стрѣлки показывали часъ. Возлѣ часовъ на столикѣ лежали два письма; собственно, одно письмо и билетикъ въ продолговатомъ конвертѣ. Письмо было отъ Лауры, билетикъ отъ баронессы Геймертъ. Онъ сталъ немного беспокоиться: что можетъ писать ему Лаура? Не случилось ли чего-нибудь въ Загужѣ?

Онъ разорвалъ конвертъ. Лаура писала: «Панъ Романъ! Если вы не уѣхали еще изъ Варшавы, увѣдомляю васъ, что мы съ барышнями на-дняхъ сюда прѣвзимъ, а то тетѣ сдѣлалось хуже и ее немедленно посылаютъ на воды. Въ Варшавѣ мы останемся, пока Юрій не кончитъ своей работы и не поѣдетъ съ нами въ Закопане. Мнѣ бы хотѣлось, чтобъ Эля васъ уже не застала, хотя я не знаю, что для нея лучше. Я не могу себя простить, я во всемъ виновата. Сердце бы у васъ разорвалось, если бы вы ее теперь видѣли. Эта дѣвушка таетъ на глазахъ. Она заставляетъ себя ѣсть и говорить, чтобъ не беспокоить тети, но та уже замѣтила и увѣрена, что Эля влюблена въ васъ. Я по возможности избѣгаю разговоровъ на эту тему: что жъ мнѣ отвѣчать? Мнѣ жалко, ужасно жалко Элю. Тетя ломаетъ руки и говоритъ: «Видишь, вотъ это Эля. Вѣдь нѣтъ барышни въ ея лѣтахъ, которая бы не



влюблялась, но у ней все сейчас же доходить до крайней степени. Рузя поплакала бы дня два, и дѣло кончено, а Эля будетъ томиться и томиться». Что касается васъ, то тетя знаетъ, что вы къ Элѣ совсѣмъ равнодушны, а о томъ, что между вами произошло, конечно, ничего не знаетъ. Съ Элей тетя объ этомъ не говоритъ: у нея обыкновеніе ждать, пока дочь сама не скажетъ. Со мной Эля, кромѣ того раза, не говорила ни слова; я тоже не хочу ей навязываться; разъ только, третьяго дня, она пришла въ мою комнату, оперлась головой о мое плечо и расплакалась. Я тоже заплакала, но ничего не сказала: что жъ я могла ей посоветовать? Если бъ здѣсь была по крайней мѣрѣ Биша! Панъ Романъ — я еще разъ повторяю вамъ, что вы отказываетесь отъ клада, который самъ подкатился къ вашимъ ногамъ. Такой любви, такой женщины вы нигдѣ не найдете. Это неправда, что для любви необходимо много времени: любовь родится въ секунду; то, на что нужно время — это дружба, уваженіе, симпатія, то, что необходимо въ любви, но занимаетъ второстепенное мѣсто. Любовь родится, какъ искра. Эля васъ не знаетъ, но любитъ.

«Я еще не потеряла надежды и, если это письмо застанетъ васъ случайно въ Варшавѣ, сама не знаю, желать ли, чтобы вы уѣхали или остались.

Истинно преданная вамъ

Лаура Пшервицъ».



Успокоившись, Рдзавичъ читалъ письмо Лауры съ пренебрежительной улыбкой и не безъ удовольствія, что онъ играетъ такую роль въ чьей то жизни. Вначалѣ онъ испугался, но то, что Эля не ѣсть и мало говорить, собственно, не большая бѣда, и въ томъ что, Лаура и Росенская огорчены — нѣтъ ничего ужаснаго и вопіющаго къ небесамъ. «Эля проголодается и будетъ ѣсть — думалъ онъ, — а лучше всего дать ей *casaca sagraда*, если она не можетъ принимать касторки: Лаура добра, какъ ангелъ, но ребенокъ и смотритъ на все черезъ увеличительное стекло. Въ концѣ-концовъ, онъ могъ бы и уѣхать, но ему хочется быть на вѣнчаніи Маріи; такъ не стоитъ уѣзжать, а тамъ будь, что будетъ. Можно даже сдѣлать предложеніе этой барышнѣ... Ему положили бы на столъ восемьдесятъ тысячъ, а въдобавокъ онъ провелъ бы нѣсколько пріятныхъ мѣсяцевъ, и не надо было бы самому снимать съ себя длинныхъ, мягкихъ, золотыхъ волосъ, если бъ случайно они нашлись на его платѣ.

Затѣмъ онъ открылъ толстый, твердый конвертъ отъ баронессы, на которомъ большими буквами, какими пишутъ въ Англіи конторщики, а въ Польшѣ аристократія, былъ четко выписанъ адресъ. Геймертъ писала: «Маэстро Романъ! Есть вещи, которыя непростительны даже тѣмъ, кому все можно. Я узнала, что вы уже нѣсколько дней въ Варшавѣ, а я еще не имѣла случая пожать вашей руки, изваявшей и написавшей себѣ почетный дипломъ. Такъ нельзя. Я ежедневно дома отъ девяти до...



Вашъ другъ, обожательница, сестра милосердія въ отставкѣ

Елена Геймертъ».

Рдзавичу снова стало пріятно. Онъ медленно всталъ и взглянулъ въ зеркало: лицо его выражало не то, что обыкновенно; глаза и губы выражали какой-то циническій сарказмъ. Ему показалось, что онъ похожъ на Ядвигу Стжелискую и живописца Собѣскаго, съ которымъ онъ познакомился за границей и который говорилъ о себѣ, что все его состояніе, кромѣ того, что на немъ, — жестянка, лосиный кафтанъ и ничего святого». «Собѣскій забылъ прибавить, — подумалъ Рдзавичъ: — кромѣ того, что на мнѣ, и отсутствія таланта, — но у меня талантъ есть».

*Vogue la galère!*

Онъ сбѣжалъ въ мастерскую, въ которой со дня пріѣзда почти не бывалъ. Она была пуста, все увезли въ Мюнхенъ; только по срединѣ стоялъ вытесанный въ мраморѣ «Ангель смерти»; среди пустыхъ стѣнъ онъ казался громаднымъ. Рдзавичъ сталъ его осматривать: недѣльки въ двѣ можно кончить не только всю группу, но и лицо. Онъ вынулъ изъ ящика портретъ Маріи. Посмотрѣлъ на него, повѣсилъ его на стѣну и снова сталъ смотрѣть.

— Madame Кололясская, любовница Божевскаго, — сказалъ онъ громко.

Потомъ, словно не могъ выдержать дольше въ этой комнатѣ, быстро вышелъ и захлопнулъ за собой двери.



— Къ Полевской! — сказалъ онъ первому попавшему извозчику.

— Знаю, — отвѣтилъ тотъ, стегнувъ лошадь.

— Къ Зосѣ Полевской, къ Зосѣ Полевской, — повторялъ мысленно Рдзавичъ. — Къ Зосѣ Полевской, какъ въ былое время... Ничего не измѣнилось... Какъ прежде, онъ ѣздитъ къ кокоткамъ и привозитъ ихъ волосы, которые на слѣдующій день находитъ на себѣ... Ничего не измѣнилось... Только... у него должна была быть женщина, которой говорится: «жена» и которую любишь, какъ жену... Ничего не измѣнилось... У Зоси Полевской таже квартира съ балкономъ, тотъ же персидскій коверъ, тотъ же сапфиръ на пальцѣ, тѣ же полныя ножки, тѣ же прекрасныя губки и та же милая и глупая улыбка. Она также говоритъ «котикъ». Ничто не измѣнилось съ того времени, какъ онъ познакомился съ Маріей въ Кленжѣ... только попугай Зоси издохъ. Зелено-желтый попугай, говорившій: «Коко». Та же горничная открываетъ двери. Все то же! Все, рѣшительно все то же...

### VIII.

«Ангель смерти» былъ почти готовъ. Рдзавичъ на обтесанномъ Тенжелемъ и Лановскимъ мраморѣ высѣкалъ лицо. Лицо Маріи.

На слѣдующій день послѣ встрѣчи съ Ядвигой онъ утромъ пошелъ въ мастерскую, поставилъ портретъ Маріи такъ, чтобъ удобнѣе было смотрѣть, смотрѣлъ ми-



нуту, а потомъ, выбивъ у подножья статуи большими буквами «Vogue la galège», сталъ работать. Онъ пользовался портретомъ и фотографіями, которыхъ у него было много. Марія отлично выходила и любила сниматься. Однако, у ея поставщика не было карточки вмѣстѣ съ женихомъ.

У Рдзавича было ея лицо въ профиль, *en trois quarts*, *en face*; двѣ карточки, снятыя которыя просилъ самъ фотографъ, въ естественную величину, ему удалось достать изъ пріемной фотографа. Благодаря портрету, фотографіямъ и своей необычайной памяти, которую Геймертъ сравнивала съ музыкальной памятью Моцарта, Рдзавичъ чувствовалъ, что работаетъ словно съ живой. Къ этой мысли присоединялось странное чувство удовлетворенія. Странное, оно было болью, но въ этой боли было что-то возбуждающее, лихорадочное, словно отъ ядовитыхъ ягодъ. Чувствъ этихъ онъ не могъ бы даже назвать. Онъ зналъ, что теперь онъ подло поступаетъ съ Маріей, но какая-то сила, сильнѣе возможности одуматься и остановиться, влекла его за собой. Онъ овладѣлъ долотомъ, молоткомъ и движеніями своей руки, но воля его зависѣла отъ чего-то вишняго, независимаго отъ него. Онъ чувствовалъ силу, влекущую его почти съ бѣшенствомъ по этому направленію. Онъ не зналъ, безпрестанное ли это творческое вдохновеніе, лихорадочное ли это и болѣзненное состояніе, доходящее до творческаго умопомѣшательства. Онъ чувствовалъ, что попалъ въ какой-то круговоротъ и поддался.



Онъ работалъ такъ быстро, что самъ себѣ удивлялся: въ нѣсколько дней черты лица Маріи, какъ живыя, выросли изъ - подъ долота. Продолговатое личико, большіе миндалевидные глаза, тонкій, прямой, нѣжный носъ, съ плоскостями, какъ у греческихъ статуй, небольшія, узкія, замѣчательно правильныя губы съ немного приподнятой верхней, короткій, классическій закругленный подбородокъ — все это вызвалъ онъ изъ мрамора, словно влилъ въ него жизнь. Волосы локонами опускались на плечи, какъ на портретѣ, какъ чаще всего она носила ихъ въ Кленжѣ. А когда онъ отступалъ и присматривался къ своему труду, дрожь пробѣгала по нему: это была она, Марія, заколдованная навсегда въ мраморѣ.

Онъ побѣдилъ ее. Онъ захотѣлъ и создалъ ее во второй разъ; велѣлъ и она явилась. Онъ обнажилъ ея дѣвственное тѣло, придалъ ему движеніе, котораго никто не видѣлъ, онъ раздавилъ ее въ рукѣ, какъ воскъ...

Но минуты тріумфа кончались на мысли, что тамъ подъ плащомъ лежитъ съ закрытымъ лицомъ онъ самъ, что это его повалила эта женщина и отталкиваетъ ногой, какъ неодушевленный предметъ, что она топчетъ его, что эта статуя — символъ проклятія его жизни, побѣды надъ нимъ злого рока, его злой доли... Онъ чувствовалъ, что въ этомъ кускѣ мрамора, на этихъ очертаніяхъ тканей, сильно, до боли тяжело стоитъ нога Маріи...

Онъ сумѣлъ этому лицу, вызванному изъ камня,



придать выраженіе меланхоліи и шаловливости, молодчества и грусти, ребячества и задумчивости, сентиментальности и чувственности, дать ему непреодолимую привлекательность и очарованіе и бросить на все это, на глаза, на губы проблески чего-то вызывающаго, что гармонически сливало лицо съ вызывающимъ движеніемъ тѣла.

Видъ собственнаго произведенія опьянялъ его. Эта чудная женщина была ужасна: лицо ея походило на ядовитый цвѣтокъ; глаза, какъ кинжалы, прикрытые бархатомъ, губы, какъ огонь подъ мягкимъ мохомъ. Это не была гетера, отталкивающая людей, какъ неодушевленные предметы съ вызывающимъ движеніемъ: «впередъ! впередъ!» — это было олицетвореніе добра, обратившагося въ зло, символъ красоты, ставшей чудовищемъ. Ангелъ, но смерти! Онъ стоялъ, очарованный своимъ собственнымъ трудомъ, онъ больше создалъ, чѣмъ задумалъ, больше, чѣмъ могъ вообразить, что сумѣетъ.

Между тѣмъ изъ Мюнхена ему прислали гипсовую модель, и онъ съ той же быстротой, какъ и голову, кончалъ тѣло; и фигура на землѣ была почти готова. И вновь, во время работы у него нѣсколько разъ кружилась голова, какъ тогда, когда послѣ раута онъ набросалъ на картонъ первыя очертанія. Онъ зналъ, что доктора предостерегали его, что, если послѣ первой болѣзни онъ не отдохнетъ, съ нимъ можетъ быть плохо, и что они запретили ему много работать; тѣмъ не менѣе онъ работалъ, какъ никогда, а боль въ го-



ловѣ, время отъ времени напоминавшая о себѣ, доставляла ему странное, горькое удовольствіе. Мысль, что онъ погибнетъ отъ Маріи, все болѣе и болѣе укоренялась въ его болѣзненномъ воображеніи. Онъ и боялся и жаль ему было, но онъ словно нарочно шелъ къ гибели, работая уже не силой, которую исчерпалъ до послѣдней капли, а волей, энергіей, лихорадкой. Боль въ головѣ постепенно переходила въ ощущеніе пустоты подъ черепомъ; во время работы онъ забывалъ, что дѣлаетъ, и не разъ ловилъ себя, безъ движенія, съ поднятымъ долотомъ и молоткомъ передъ статуей. Время отъ времени онъ съ трудомъ вспоминалъ, что онъ собственно дѣлаетъ и что ему сѣчь? Минутами онъ забывалъ фамиліи близкихъ лицъ и извѣстныхъ мѣстностей, и самый простой счетъ затруднялъ его. Сонъ и аппетитъ, какъ у людей переутомленныхъ, совсемъ оставилъ его. Онъ жилъ въ болѣзненномъ возбужденіи, словно питаясь собственнымъ своимъ организмомъ. Онъ переваривалъ себя, но не хотѣлъ, и не могъ перестать работать; по мѣрѣ приближенія къ концу онъ открывалъ все новыя ошибки. Отъ нервнаго раздраженія имъ овладѣлъ страхъ смерти, и онъ сталъ бояться, что умретъ, не успѣвъ кончить своего труда, и трудно было сказать, чего онъ больше боялся: смерти ли, того ли, что оставитъ «Ангела смерти» не такимъ, какъ задумалъ.

Вечера проводилъ онъ у баронессы Геймертъ, которая, какъ прежде, тѣмъ болѣе интересовалась имъ, чѣмъ яснѣе видѣла, что онъ тратитъ послѣднія силы.



Впрочемъ, отношенія ихъ ограничивались тѣмъ, что Геймертъ, мужъ которой все еще былъ за границей, принимала его въ своихъ пышныхъ салонахъ, наполненныхъ прелестными картинами, мраморами, бронзами и экзотическими цвѣтами, играла ему Бетховена, Моцарта, Шумана и Шопена или вела съ нимъ разговоръ умной женщины, образованной, изящной, съ европейскими взглядами, хотя немного мелодраматической.

Она принимала его въ длинныхъ, мягкихъ, моделировавшихъ формы костюмахъ, изящныхъ и эффектныхъ, но Рдзавичъ не могъ опредѣлить, стѣсняется ли она или холодна. Она садилась такъ на козетку, что надо было бы сѣсть на подушечку у ей ногъ, а говорила она такъ, что надо было остаться на стулѣ; иной разъ она бросала такіе взгляды, что ему поневолѣ хотѣлось всунуть голову въ широкій рукавъ и поцѣловать ея голую руку выше локтя, но гордое лицо сдерживало его. Онъ не могъ не видѣть, что ей доставляетъ удовольствіе дразнить его, но раздражалась ли она сама, онъ не зналъ. Минутами ему казалось, что да; минутами — что нѣтъ.

Геймертъ была еще красива и привлекательна; больше всего она, однако, очаровывала тѣмъ, что понимала и откликалась на чувства людей, какъ никто. Она такъ понимала чужую душу, какъ можетъ понимать только очень интеллигентная женщина.

Рдзавичъ, вспыльчивый отъ рожденія, раздраженный до послѣднихъ границъ переутомленіемъ и всѣмъ, что онъ перенесъ, выходившій изъ себя изъ-за пу-



стяковъ, чувствовалъ, что никогда не сумѣлъ бы забытья передъ этой женщиной до такой степени, какъ передъ Элей во время прогулки. Ему это все болѣе и болѣе нравилось въ ней.

— Конечно, — думалъ онъ, — она не такъ добра, ни благородна, ни честна, какъ Лаура Пшервицъ, или Росенская, но у ней въ одномъ пальцѣ больше ума, чѣмъ у нихъ обѣихъ въ головѣ; съ меня довольно этихъ идеаловъ и идеализированн.

О женщинахъ вообще Геймертъ говорила съ отгѣнкомъ снисходительности, съ сознаниемъ собственнаго умственнаго превосходства. Рдзавичъ, какъ человекъ неуравновѣшенный и слабый, легко подпалъ подъ ея вліяніе; онъ такъ же преклонялся передъ ея умомъ, какъ предъ самоувѣренными взглядами Ядвиги Стжелиской на жизнь. Геймертъ слегка иронизировала насчетъ такихъ женщинъ, какъ Лаура и Эля Росенская, хотя старалась дѣлать это незамѣтно; зато она безъ милосердія пускала шпильки въ графинь Вычевскихъ, княгинь Заславскихъ, madame Посяновскихъ, Браунбергеръ и тому подобныхъ. Она прикалывала своими колкостями свѣтскихъ дамъ, какъ насѣкомыхъ на булавки; она не упускала изъ виду ни одной смѣшной стороны, не спускала никому; отъ самыхъ вершинъ общества до средняго слоя, она со всѣми была знакома, всюду бывала.

— Къ кому же вы причисляете себя? — спросилъ ее разъ Рдзавичъ; если онъ былъ не въ духѣ, онъ любилъ,



когда баронеса выходила «съ сѣтью», какъ говорилъ онъ.

— Я? Къ европейкамъ. Я родилась полуаристократкой; что касается моего мужа, то и состояніе и титулъ получилъ его дѣдъ, и это уже вошло въ кровь; по положенію я принадлежу къ промышленному классу; по характеру я похожа, пожалуй, на Аспазію, только Аспазія, кажется, не была рыжей.

— Ну, у нея была не та натура, — добавилъ Рдзавичъ.

— А вы знаете, какая у меня? — спросила она съ улыбкой.

— Нѣтъ.

— Можетъ быть, у меня черная, можетъ, бѣлая, можетъ, красная, можетъ, синяя. Не надо судить, если не знаете.

— А вы сами знаете?

Геймертъ ничего не отвѣтила; она подняла глаза на потолокъ, на которомъ была написана копія рафаэлевской Галатеи, и сказала:

— Развѣ вамъ не хорошо со мной, съ такой, какъ я есть? Если иногда бываетъ хоть немного хорошо, то во всякомъ случаѣ не слишкомъ, въ злой еще часъ скажешь.

Узнавъ ее ближе, Рдзавичъ былъ увѣренъ, что она разложитъ передъ нимъ штукъ десять вѣеровъ съ изреченіями, рисунками и подписями знаменитостей, что она откроетъ ему штукъ десять такихъ альбомовъ и при случаѣ дастъ ему понять, что десятокъ французскихъ



живописцевъ, десятокъ итальянскихъ композиторовъ, десятокъ польскихъ виртуозовъ и десятокъ поэтовъ и писателей всѣхъ народностей, — для теноровъ, это было сразу видно, она была слишкомъ хорошаго тона, — стояли на колѣняхъ, лежали и страдали у ея ногъ.

Но Геймертъ не показала ему ни ботинокъ, о которыхъ опиралось чело Даньянъ Бувере, вычищенныхъ волосами Падеревского, съ оттискомъ бороды Масканьи, ни корзины, наполненной бумажными вздохами Д'Аннуцио и другихъ болѣе или менѣе великихъ современниковъ; она не просила у него ни одной буквы, ни одного рисуночка, она даже «случайно» не оставляла ни разу листочка писчей бумаги. Какъ-то разъ вечеромъ онъ почти машинально нарисовалъ на мраморномъ столикѣ эллинскую дѣвушку, обнимающую Аполлона, и на другой день нашель, что рисунокъ чѣмъ-то закрѣпленъ, такъ что его нельзя было стереть, но они оба ни слова на счетъ этого не проронили. Онъ нарисовалъ Венеру Каллипигосъ и на другой день — нашель, что она тоже закрѣплена; ему было это пріятно, и онъ зарисовалъ весь столикъ сценками изъ греческой мифологіи, а внизу написалъ первыя буквы своей фамиліи и число; въ это время она играла какую-то пѣсню Моцарта, а потомъ сюиту Грига изъ Пэръ Гинта.

Увидѣвъ, что весь столикъ зарисованъ, она внимательно разсмотрѣла его и сказала, что это очень красиво и что онъ сдѣлалъ ей большое удовольствіе; но о томъ, что у ней будетъ теперь мебель «безъ цѣ-



ны», она даже не упомянула. Они поговорили съ минуту о томъ, какъ она закрѣпляетъ карандашъ. Геймертъ, объѣздившая почти всю Европу, была знакома чуть не со всеми художниками произвѣстиѣе; она говорила объ этомъ съ удовольствіемъ и сознавалась, что нерѣдко добивалась этого сосеѣмъ, какъ сумасшедшая.

— Я не знаю, чего нельзя знаменитымъ людямъ и чего нельзя ради нихъ? — говорила она. — Знаменитость — мой культъ.

Трудно, однако, было сказать, была ли у ней съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ болѣе близкая связь. О сеѣхъ своихъ знакомыхъ она говорила спокойно, интересуясь ими болѣе или менѣе только какъ художниками. Рдзавичъ, однако, замѣтилъ, что для нея сами творцы гораздо интереснѣе своихъ произведеній.

Она путешествовала, по большей части, съ *dame de compagnie*, рѣже съ мужемъ, иногда даже одна; или она была скрытна, или ей не о чемъ было рассказывать.

— Вы сфинксъ, — сказалъ ей разъ Рдзавичъ.

— А вы грифъ, желающій схватить все въ когти, — отвѣтила она.

— Грифы крылаты и оттого они стоятъ чего-нибудь.

— А сфинксы недвижимы и оттого на нихъ можно опереться.

— Но вѣдь у каждаго сфинкса есть тайна.

— Можетъ быть, именно та, что нѣтъ никакой, — отвѣчала она, засмѣявшись.

— Какъ же узнать?



— Оттого сфинксъ и сфинксъ. Иначе онъ пересталъ бы быть собой.

Рдзавичъ былъ увѣренъ, что, несмотря на время года, Геймертъ только оттого не уѣзжаетъ, что онъ въ Варшавѣ; на свое пребываніе въ городѣ она смотрѣла, какъ на самую обыкновенную вещь, но Рдзавичъ чувствовалъ, что она остается для него, хотя на это не было ни малѣйшаго намека.

Дней черезъ шесть послѣ пріѣзда Рдзавича изъ Загужа вернулся изъ Мюнхена Тенжель. Первые его слова, когда онъ вошелъ въ мастерскую, были: «Господи Іисусе, Ромекъ, какой у тебя видъ?!» Потомъ: «Побойся Бога, что ты дѣлаешь?!» Онъ стоялъ, какъ столбъ. Для его несложнаго простаго ума всего этого вмѣстѣ было слишкомъ. Онъ засталъ Рдзавича въ лихорадочномъ состояніи, съ сухими губами и болѣзненно блестящими глазами передъ статуей, которой онъ ужаснулся.

— Ты убиваешь себя! — сказалъ онъ съ волненіемъ, глядя на него. — И ты убьешь ее, — сказалъ онъ, указавъ на статую.

— Какое же это производитъ впечатлѣніе? — спросилъ Рдзавичъ, не обращая вниманія на слова Тенжеля.

— Громадное и страшное. Ты не можешь послать этого на выставку.

— Разбить ее? — спросилъ Рдзавичъ, поднявъ молотокъ.

— Нѣтъ? — крикнулъ Тенжель, подбѣжавъ къ нему и схвативъ его за руку.



— Чего жъ тебѣ надо?

— Только демонъ могъ это сдѣлать.

У Рдзавича кровь бросилась къ головѣ.

— Да! — воскликнулъ онъ взволнованнымъ голосомъ. — Ты правъ, моими руками творилъ демонъ; это страшно, но ангелъ смерти долженъ быть такимъ.

— Помнишь ангела жизни? — сказалъ грустно Тенжель. — Миѣ казалось тогда, что ты олицетвореніе свѣтлаго генія...

Рдзавичъ кивнулъ головой:

— Помнишь, какъ я вернулся изъ Вѣны? Мы иначе здоровались, чѣмъ теперь. Помнишь письмо, которое ты миѣ отдалъ.

— Ахъ! — почти застоналъ Тенжель. — Зачѣмъ ты ѣздилъ въ этотъ Кленжъ.

— Затѣмъ, чтобы стать художникомъ. Я выѣкъ себѣ громадный саркофагъ на гробъ счастья всей моей жизни. Недолго миѣ ужъ мучиться.

— Что ты болтаешь? — сказалъ Тенжель. — Ты съ ума спятилъ, что ли?

— Милый мой! — отвѣтилъ Рдзавичъ спокойно. — Вѣдь этотъ «Ангелъ смерти», прежде всего, моя смерть. Демоны, милый мой, даромъ не работаютъ за людей, имъ надо кормиться, они сосутъ людскую кровь, съѣдаютъ жизнь. Видишь, меня нѣтъ и половины.

Тенжель бросился на стулъ, зажалъ уши кулаками и сталъ стонать:

— Господи! Господи! Будь проклятъ, кто выдумалъ



женщину! Провались весь этот Кленжъ! Можно прямо съ ума сойти, право! Господи! Господи!

Между тѣмъ, Рдзавичъ кончалъ правую ноздрю Маріи и любовался словомъ «демонъ»; онъ былъ слишкомъ молодъ, чтобы сравненіе это, хотя бы и отъ Тенжеля, не льстило ему и не доставляло удовольствія.

Онъ не думалъ объ этомъ, но чувствовалъ, что послѣдній разъ ударить рѣзцомъ «Ангела смерти» въ день свадьбы Маріи. Потомъ?... На этотъ вопросъ отвѣчала ему надпись на статуѣ. Потомъ... *Vogue la galère.*

Одного онъ только не могъ понять, отчего у него для Маріи другой масштабъ, чѣмъ для другихъ; отчего къ ней неприменима формула: «что жъ дѣлать, человекъ всегда остается человекомъ»? Отчего къ Маріи онъ требовательнѣе, чѣмъ къ другимъ, отчего онъ смотритъ на нее другими глазами, чѣмъ на другихъ женщинъ? Отчего поневолѣ и даже противъ воли онъ идеализируетъ ее и все, что ея касается? Отчего у Маріи желаніе насладиться жизнью кажется ему чѣмъ-то безобразнымъ, отвратительнымъ? Отчего девизъ «наслажденіе жизнью» — не нравится ему только въ ея устахъ? Отчего она разбиваетъ всю его философскую систему, гласящую, что въ виду страданій жизни и страха смерти можно все? Отчего онъ всеми силами хочетъ, чтобъ она не была женщиной, а чѣмъ-то лучшимъ, болѣе красивымъ, благороднымъ? Укоренилось ли это стремленіе идеализировать ее въ его душѣ съ



того времени, когда любовь поневоле ее идеализировала и когда в этой женщине он видел божество?

Относительно Марии он почти во всем противоречил себе. Весь свет был для него с одной стороны, она — с другой; и эта другая сторона уклонялась от всех законов его системы или философской бессистемности, которую он сотворил и которой он руководился в жизни. Суть его мировоззрения, заключающаяся в слове «пожить», разбивалась по отношению к Марии, как стекло о камень.

Создать новые законы для Марии у него не хватало ни сил, ни интеллигентности; здание его убеждений рухнуло и придавило его камнями. Он изнемогал под ними.

Слѣдствіемъ всего этого былъ все большій и большій разладъ въ его нравственной жизни. Онъ чувствовалъ, что теперь ему нечего стараться не имѣть ничего святого, что теперь для него, дѣйствительно, все тринь-трава. Онъ не признавалъ ничего, что бы могло его стѣснять. Къ общепринятой этикѣ онъ былъ равнодушенъ, какъ желѣзо, лежащее въ водѣ, хотя и понималъ, что въ концѣ концовъ въ борьбѣ съ нею онъ падетъ подобно тому, какъ желѣзо въ концѣ концовъ поддастся разрушительному вліянію химическихъ реакцій.

Съ Геймертъ онъ никогда не говорилъ ни о Маріи, ни объ «Ангелѣ смерти». Онъ зналъ, что она немного знаетъ Марію и что ей знакомо его прошлое. Тѣмъ не менѣе, онъ никогда не говорилъ объ этомъ. Какъ-то



разъ утромъ, когда онъ работалъ съ Тенжелемъ и въ своей темной рабочей блузѣ кончалъ свою статую, Геймертъ, легко постучавъ, открыла дверь въ мастерскую и сказала изъ-за дверей:

— Здравствуйте! Если нельзя, я не войду, хотя я горю отъ любопытства. Отсюда ничего не видно!

Рдзавичъ разсмѣялся и, застегнувъ блузу до подбородка, широко открылъ двери съ привѣтливой улыбкой и поклономъ.

Геймертъ кивнула головой Тенжелю, котораго ей представилъ Рдзавичъ, и подошла къ группѣ. Впечатлѣніе, должно быть, было сильно, она почти поблѣднѣла.

— Что это такое?! — сказала она почти самой себѣ.

— Ангелъ смерти, — отвѣчалъ Рдзавичъ.

— Не въ томъ дѣло! Это словно демонъ задумалъ и создалъ въ гнѣвѣ.

— Знаете, — сказала она, долго и внимательно оглядѣвъ статую. — Это чудо, но не вендетта ли это?

Она была, видимо, подъ сильнымъ впечатлѣніемъ, что такъ прямо высказала свои мысли; это подѣйствовало на Рдзавича:

— Значить, разбить?

— Разбить? Разбить это?! Это было бы святотатствомъ! Что она въ сравненіи съ этимъ мраморомъ?! Развѣ вы не понимаете, развѣ вы не чувствуете, развѣ вамъ никто не сказалъ, что вамъ все можно, что для такихъ талантовъ не существуетъ: «нѣтъ»?! Никто вамъ этого не говорилъ? Я сама въ первую минуту



отозвалась, какъ провинціальная гусыня. Если бъ это была даже вендетта, какое же намъ до этого дѣло?! Помните, что вамъ все можно и что не для артистовъ писаны законы: «можно» или «нельзя», «прилично» или «неприлично». Талантамъ можно все. Помните, что говорилъ поэтъ: «Je prends mon bien, où je le trouve». Гдѣ вы нашли свое добро, тамъ вы его и взяли. Не правда ли? Вѣдь вы согласны со мной? — обратилась она къ Тенжелю.

Тенжель робѣлъ платьевъ Лауры и брилліантовыхъ серегъ Биши; теперь же при этой дамѣ, шумящей шелкомъ, съ драгоценнымъ камнемъ величиною съ грецкій орѣхъ подъ подбородкомъ, съ брилліантами втрое больше Бишиныхъ, съ эмалированной змѣею на рукѣ, у которой каждый зубокъ былъ брилліантикъ, а межъ ними рубинъ съ орѣхъ, — онъ совсѣмъ потерялъ точку опоры и на вопросъ Геймертъ какъ можно быстрее отвѣчалъ:

— Конечно.

Когда, однако, Рдзавичъ, переодѣвшись, вышелъ за Геймертъ, ожидавшей его внизу въ экипажѣ, чтобы немного прокатиться, Тенжель сталъ думать иначе.

Всѣ событія послѣдняго времени поражали его, какъ громъ за громомъ. Были минуты, когда, боясь за талантъ Рдзавича или даже за его жизнь, онъ проклиналъ минуту знакомства съ Маріей и весь свѣтъ вдоль и поперекъ. Никогда, однако, онъ не проклиналъ самое Марію. Онъ не забылъ взгляда, который она бросила ему изъ ложи, и цвѣтка, присланнаго «другу моего



жениха», который онъ сжегъ и бросилъ въ воду. Несмотря на все, что случилось изъ-за нея, Теижель питалъ къ Тыжвецкой какое-то странное благоговѣніе, безграничное, невольное, похожее на почести, воздаваемые дикаремъ божеству, пославшему, на примѣръ, моръ и голодъ, и не переставшему, однако, быть святымъ и божествомъ. Сколько онъ о ней ни думалъ, онъ чувствовалъ то же, что можетъ чувствовать приказчикъ изъ колониальной лавки къ княжнѣ, живущей надъ нимъ. Рдзавичъ подобенъ рыцарю, для котораго нѣтъ ни дворцовъ, ни красоты, ни богатства, ни рода, но онъ, Теижель, такой, какъ онъ, Теижель... Рдзавичъ гений — Теижель былъ увѣренъ въ этомъ — передъ которымъ открываются всѣ двери. Для Рдзавича Марія не была слишкомъ красива.

Онъ держался въ сторонѣ, почти не зная Марии, не слышалъ о ней почти ничего съ тѣхъ поръ, какъ Рдзавичъ пересталъ о ней говорить, не видѣлъ ее больше, но впечатлѣніе, произведенное ею на него, осталось и не было ослаблено ни временемъ, ни обстоятельствами. Иной разъ у людей бываютъ свои фетиши; такимъ фетишемъ была для Теижеля Тыжвецкая.

Онъ ничѣмъ не былъ связанъ съ нею, онъ былъ даже увѣренъ, что она забыла объ его существованіи, и все-таки чувствовалъ, что онъ готовъ броситься защищать ее во всякое время, на ея зовъ или безъ него, съ ея согласія или нѣтъ, безъ мысли о какой-нибудь наградѣ. Чтобы, однако, ему пришлось защищать ее отъ Рдзавича, это ему не приходило въ голову.



Теперь пришли тяжелыя времена.

Онъ былъ одинъ въ мастерской съ «Ангеломъ смерти». Онъ глядѣлъ на него и чѣмъ дольше глядѣлъ, тѣмъ сильнѣе чувствовалъ невозможность его существованія. Высѣчь гетеру и дать ей голову Маріи... Нѣтъ, это выходитъ за предѣлы возможности. Рдзавичъ самъ не понимаетъ, что дѣлаетъ, и не понимаетъ, что сдѣлалъ. У Тенжеля волосы почти стали дыбомъ. Выставить это, вѣдь это было бы такъ ужасно, что даже трудно вообразить, что можетъ отъ этого произойти?! Рдзавичъ былъ не въ своемъ умѣ, когда это творилъ. Будь она кто угодно, но Марія — все же та Марія, которую этотъ человѣкъ такъ любилъ, такъ обожалъ, для которой у него не было достаточно ласкательнаго имени, которою онъ такъ радовался, упивался, которою жилъ весь!.. Та же Марія, та же!

Рдзавичъ теперь невмѣняемъ; почти безуменъ. Если, Боже упаси, онъ выставитъ эту статую, а потомъ опомнится и пойметъ, что сдѣлалъ — Господи Іисусе, что съ нимъ будетъ?! Онъ готовъ будетъ посягнуть на свою жизнь... Вѣдь это значитъ бросить къ ногамъ толпы женщину, которую онъ любилъ, которую чтилъ, за которую онъ охотно отдалъ бы послѣднюю каплю крови; этого не забываютъ. Порвите хоть сто разъ... это врастаетъ въ сердце...

А баронесса Геймертъ утверждаетъ, что ему все можно и что Марія ничто въ сравненіи съ этимъ мраморомъ... Будь она проклята, поганая баба, рыжеволосая колдунья!



Шедевръ — согласенъ, но такихъ шедевровъ Рдзавичъ сдѣлаетъ еще пять, шесть, двадцать и болѣе. При плодотворности его воображенія, энергіи труда и совсѣмъ загадочной быстротѣ, сколько у него еще времени впереди. Вѣдь ему нѣтъ еще тридцати лѣтъ. Только бы онъ былъ здоровъ, а то онъ создастъ еще цѣлый залъ шедевровъ. А эта статуя не должна существовать... самъ Рдзавичъ ея не уничтожить; онъ невмѣняемъ; ее уничтожить онъ, Тенжель. Онъ спасетъ и Марию и его. Она навѣрное отравилась бы, если бы статуя была выставлена, а Рдзавичъ пустилъ бы себѣ пулю въ лобъ. Если Рдзавичъ, увидѣвъ, что его трудъ разбитъ, захочетъ разможжить ему голову, онъ не будетъ защищаться, но, опомнившись, Романъ, навѣрное бросится ему на шею изъ благодарности.

— Во имя Господа!

Тенжель поднялъ съ земли тяжелый молотъ, которымъ обтесывалъ мраморъ, перекрестился и поднялъ его. Выраженіе Геймертъ: «святотатство» — кровавыми буквами зардѣлось передъ его глазами. Надо полагать, что то же долженъ былъ чувствовать только что крещеный римлянинъ, которому велѣли разбивать его чудныхъ мраморныхъ боговъ, въ которыхъ онъ еще полувѣрилъ, которыхъ почитать онъ еще не отучился, красоту которыхъ онъ любилъ и обожалъ.

И все же необходимо разбить этотъ шедевръ, эту ужасную красоту, эту чудовищную мысль въ геніальной пластикѣ. Существованіе его могло бы породить катастрофу, во избѣжаніе которой Тенжель не задумы-



вался бы разбить фризы Партегона, мелійскую Афродиту и Зевса изъ Отриколи. Пусть потомъ Рдзавичъ дѣлаеть, что угодно.

— Во имя Бога! — повторилъ онъ и замахнулся.

Но рука его задрожала и бессильно опустилась; поднимая руку, онъ поднялъ и голову, — глаза его упали на лицо Маріи, на портретъ ея, висѣвшій на стѣнѣ, на ея большіе, миндалевидные, темносиніе глаза съ золотистымъ блескомъ. Рука его задрожала и опустилась.

Онъ вынулъ изъ кармана носовой платокъ въ розовую клѣтку съ синей каймой, утеръ потъ съ лица, поставилъ молотъ въ углу, заперъ мастерскую, вышелъ на улицу и вынулъ въ ближайшемъ ресторанѣ одну за другой три бутылки дроздовскаго пива, а потомъ еще одну Габербуша.

Вечеромъ посыльный принесъ Рдзавичу записку отъ Тенжеля:

«Я хотѣлъ сегодня, во время твоего отсутствія, разбить твоего «Ангела смерти»; захочешь ли ты послѣ этого не порывать со мной сношеній?

Андрей Тенжель».

Прочитавъ, Рдзавичъ пробормоталъ: «скотина!» и отвѣтилъ Тенжелю: «Не пиши глупостей и приходи сейчасъ». Посыльный ушелъ. Рдзавичъ сталъ ходить по мастерской. Грудь его нервно подымалась, какъ только онъ вспоминалъ, что написалъ Тенжель. Его волновала, однако, не одна записка Тенжеля: когда



онъ проѣзжалъ въ экипажѣ съ Геймертъ по Эриванской улицѣ, онъ встрѣтилъ Лауру съ обѣими Росенскими. Эля была одѣта въ темное платье и производила грустное впечатлѣніе; Лаура и Рузя показались ему тоже не въ духѣ. Онѣ, быть можетъ, не замѣтили бы его, но Геймертъ высунулась изъ экипажа и крикнула Лаурѣ: «Здравствуйте!». Всѣ трое обернулись, а Эля такъ поблѣднѣла, что лицо ея стало бѣло, почти какъ гипсъ. Лаура, отвѣчая на его поклонъ, взглянула на него съ удивленіемъ и, какъ ему по крайней мѣрѣ показалось, съ вопросомъ и упрекомъ въ глазахъ; Эля кивнула головой и быстро отвернула глаза, но во взглядѣ ея онъ замѣтилъ столько боли, что у него болѣзненно сжалось горло.

Онъ понималъ взглядъ Лауры: онѣ обѣ съ Элей могутъ теперь подумать: онъ любитъ Тыжвецкую, что, однако, не мѣшаетъ ему ѣздить *tête à tête* съ Геймертъ, мужъ которой по обыкновенію сидитъ гдѣ-нибудь въ Гамбургѣ или Берлинѣ. Въ какихъ онѣ на самомъ дѣлѣ отношеніяхъ съ Геймертъ, онѣ не знаютъ и будутъ думать такъ, какъ кажется всякому, смотрящему со стороны.

Взглядъ Лауры и видъ Эли были ему крайне неприятны; больше всего, однако, сердило его то, что онѣ могли подумать объ его отношеніяхъ къ Геймертъ. Въ первую минуту ему захотѣлось извиниться передъ ней, выскочить, догнать Лауру и Элю и объяснить имъ, что они ошибаются; во всякомъ случаѣ онъ рѣшилъ идти къ Пшервицамъ и переговорить съ Лаурой.



У Лауры было одно преимущество людей честныхъ и чистыхъ: хотя бы вы плюнули на мнѣніе всего міра, вы все-таки хотите, чтобъ они о васъ были хорошаго мнѣнія. Иной разъ такой человѣкъ можетъ удержать васъ передъ пропастью только тѣмъ, что вы его знаете.

Геймертъ замѣтила внезапную переменѣну въ настроеніи Рдзавича и спросила, не хочетъ ли онъ поздороваться съ тѣми дамами.

Онъ отвѣтилъ, что нѣтъ, но что у него такое ощущеніе, словно онъ трубочистъ и ему велѣли взять въ руки только что выглаженные манжеты.

— Не понимаю, — сказала Геймертъ. — Отчего вы должны быть этимъ трубочистомъ и что значать эти манжеты?

— Видите ли, — отвѣчалъ Рдзавичъ, — я сдѣлалъ что-то такое, что теперь мои отношенія къ Лаурѣ Пшервицъ стали, какъ отношенія трубочиста къ манжетамъ.

— Къ ней? — удивилась Геймертъ. — Что вы могли ей сдѣлать? Такое доброе созданіе.

— Собственно, ей лично я ничего не сдѣлалъ, но кое-кому близкому ей. Позвольте однако, быть на этотъ разъ сфинксомъ.

— Который запустилъ кое-куда свои грифьи когти. Впрочемъ, какъ вамъ угодно.

Черезъ какіе-нибудь двадцать минутъ послѣ ухода посыльнаго явился Тенжель, жившій недалеко. Онъ вошелъ несмѣло и неловко и показался Рдзавичу грубоватымъ и смѣшнымъ. Онъ поглядѣлъ на него, словно



увидѣлъ его въ первый разъ; ему все въ немъ не нравилось: его грубо сформированная голова съ простыми, банальными чертами лица, посаженная на широкихъ, развалистыхъ плечахъ, тяжеловатость и дубоватость его сложенія и выраженіе его лица, которое скорѣе могло бы быть лицомъ садовника или рыбака, чѣмъ лицомъ артиста, его друга. Онъ почувствовалъ, что охладѣваетъ къ Тенжелю.

— Здравствуй! — сказалъ онъ невольно свысока, покровительственнымъ тономъ.

— Прости меня, — началъ Тенжель, но онъ прервалъ его.

— Ничего. Не разбилъ, и дѣло кончено.

Рдзавичъ видѣлъ, однако, что Тенжель сильно смущенъ, и ему захотѣлось помучить его, подобно тому, какъ доги любятъ съ грознымъ и высокомернымъ видомъ броситься за съезжившейся отъ страха деревенской дворняжкой. Онъ остановился противъ Тенжеля и, глядя ему пристально въ глаза, спросилъ:

— Скажи мнѣ, однако, отчего ты хотѣлъ разбить «Ангела смерти»? Вѣдь ты его самъ обтесывалъ вмѣстѣ съ Чемпинскимъ и Лановскимъ.

— Я не зналъ, что ты дашь этой женщинѣ лицо Тыжвецкой — отвѣтилъ Тенжель.

— Дѣло только въ этомъ?

— Вѣдь я тебѣ это еще раньше говорилъ.

— А тебѣ что за дѣло?

Рдзавичъ самъ немного смутился: онъ въ первый разъ въ жизни далъ замѣтить Тенжелю разницу между



ними, подчеркнувъ слово «тебѣ». Тенжель понялъ, покраснѣлъ, какъ ракъ, и еле выговорилъ:

— Миѣ ничего, но тебѣ и ей...

Если бъ не высокомерный тонъ Рдзавича, Тенжель отвѣтилъ бы такъ, какъ Рдзавичъ чувствовалъ, что слѣдуетъ отвѣтить, кончилось бы, по всей вѣроятности, тѣмъ, чѣмъ кончается у договъ, если дворняжка внезапно повернется и покажетъ зубы: то-есть догъ остановится, заворчитъ и уйдетъ, а черезъ пять минутъ оба они дружелюбно будутъ лаять на кота, удравшаго отъ нихъ на дерево; но смущеніе Тенжеля еще больше подзадорило Рдзавича, и онъ сказалъ, стараясь будто не дать замѣтить легкой ироніи:

— А скажи миѣ, отчего ты не разбилъ?

Тенжель еще больше покраснѣлъ, но смолчалъ.

— Ну, скажи же, отчего ты не разбилъ? — не унимался Рдзавичъ.

— Не знаю, — пробормоталъ, наконецъ, Тенжель.

— Мало только сдержаться отъ такого геростратизма. Закури пока папироску. Надѣюсь, что на будущее время тебя можно будетъ спокойно оставлять въ мастерской.

Тенжель машинально взялъ папироску и сказалъ почти умоляющимъ голосомъ.

— Дорогой мой, развѣ ты не видишь, не чувствуешь, что этой статуей ты бросаешь Тыжвецкую на потѣху толпѣ? Скажи, имѣешь ли ты на это право? Если да...

Рдзавичъ съ нетерпѣніемъ поморщился. Геймертъ



на прогулкѣ много говорила ему о свободѣ въ выборѣ темы, объ исключительномъ положеніи художниковъ, о правѣ ихъ воображенія, о царственномъ мѣстѣ искусства. Художникъ, разбирающій, что нравственно, что нѣтъ, что хорошо, что дурно, что полезно, что вредно, — говорила она, — перестать быть художникомъ. Въ этомъ-то и вся разница между вами и нами: мы прежде всего должны быть людьми, вы — собой. Въ искусствѣ единственный критерій: нравится, не нравится — и для васъ это должно быть единственнымъ закономъ. Дѣлайте, что хотите, лишь бы произведеніе было красивымъ, великимъ, истиннымъ, святымъ своею паготою искусствомъ. Ничего не стыдящимся, безсмертнымъ!

Рдзавичъ слушалъ и упивался словами Геймертъ. То, что она говорила, оправдывало его передъ самимъ собою, передъ свѣтомъ; она успокаивала его; Тенжель волновалъ его. Онъ взглянулъ на него вызывающе и сказалъ, подчеркивая каждое слово.

— А если мнѣ такъ нравится?

Тенжель остолбенѣлъ.

— Если мнѣ такъ нравится? — повторилъ Рдзавичъ.

Тенжель стоялъ, какъ въ столбнякѣ, словно не понимая, не вѣря тому, что слышалъ.

— Что ты сказалъ? — спросилъ онъ почти безсознательно.

— То, что ты слышалъ.

Тогда тяжелая, спокойная кровь Тенжеля вскипѣла, онъ сказалъ довольно явственно:



— Ты бы сдѣлалъ тогда то, чего я даже назвать не хочу.

Рдзавичъ покраснѣлъ, и углы губъ стали стягиваться у него книзу. Тенжель же продолжалъ:

— Я знаю всю разницу между нами; знаю, чего ты стоишь, и что я въ сравненіи съ тобой ничего не значу, но я долженъ былъ сказать тебѣ это оттого, что я твой другъ и имѣю на это право.

Рдзавичъ чувствовалъ, что его что-то опутываетъ; онъ подошелъ къ Тенжелю и спросилъ его:

— Отчего ты не разбилъ? Ты былъ одинъ. Тебѣ нечего было меня бояться; что я могъ бы тебѣ сдѣлать?

— Я боялся не тебя, — ея, на портретѣ...

Рдзавичъ разсмѣялся.

— Сказать тебѣ, Тенжель, отчего ты не разбилъ? Оттого, что это слишкомъ хорошо сдѣлано. Это еще одно доказательство, что я сдѣлалъ кое-что въ жизни, что дѣйствительно многого стоитъ. Все остальное вмѣстѣ съ почетнымъ дипломомъ не стоитъ ни гроша. Но, милый мой, искусство не даромъ требуетъ жертвъ; величайшія страданія создаютъ величайшія творенія. Виноваты ли мы или нѣтъ, это другое дѣло; она меня толкнула ногой, и я лежу, а она стоитъ такой, какъ прежде, какъ Венера изъ Арля. Моя душевная смерть и страданія родили этого «Ангела смерти», который многого стоитъ, ты самъ согласенъ; вѣдь ты не посмѣлъ его разбить.

— Значитъ, ты пошлешь это на выставку?



— Не прятать же мнѣ мой лучшій мраморъ?

— А если ты убьешь ее этимъ?

— Ей не было дѣла, буду ли я жить?! Она от-  
вернулась отъ меня, какъ отъ стѣны — и ушла.

— А если ты ее убьешь?

— Не безпокойся, — горько разсмѣялся Рдзавичъ. —  
Она не умретъ. Она даже будетъ довольна. Новая  
реклама.

Тенжель взялъ его за руку и сталъ говорить:

— Послушай, Ромекъ, ты совсѣмъ въ бреду, ты  
нездоровъ, ты самъ не знаешь, что говоришь. Я увѣ-  
ренъ, что ты не понимаешь, что теперь мнѣ говоришь.

Но Рдзавичъ вырвалъ руку и сердито отвѣтилъ:

— Я пошлю это на выставку въ день свадьбы Ма-  
рин, а если бы въ виду возможности скандала мою  
статую не хотѣли принять, я устрою отдѣльную вы-  
ставку. Я знаю, что ты думалъ, чего ты не хотѣлъ мнѣ  
сказать, что это месть, что это нечестно, или можетъ  
даже хуже; но это сильнѣе меня. Я долженъ показать  
ее ей же самой такой, какая она есть. Возможно,  
что это первый шагъ моего сумасшествія, можетъ быть,  
я уже сумасшедшій, но я не могу! Она увидитъ себя.

— Ты ее любилъ когда-то, — сказалъ грустно Тен-  
жель.

— Если бъ я не любилъ, я не сдѣлалъ бы того, что  
сдѣлалъ. Разъ только въ жизни можно такъ работать:  
гляди. Я больше не въ состояніи творить. Развѣ ты  
не понимаешь, что можно съ наслажденіемъ мучить  
тѣхъ, кого любишь, не переставая любить? Вѣдь лю-



бовъ и убійство гдѣ-то тамъ въ мозгу чуть не сходятся. Чего ты на меня такъ смотришь?

Рдзавичъ замѣтилъ, что Тенжель глядитъ на него съ безпокойствомъ и даже съ ужасомъ.

— Что ты во мнѣ видишь особеннаго? — повторилъ онъ.

Тенжель глядѣлъ на него еще минуту и сказалъ:

— Нѣтъ, у тебя нервы разстроены, ты весь въ лихорадкѣ, но ты здоровъ. Подумай только: какъ можно поступить такъ съ женщиной, которую ты любишь? Ты самъ себѣ этого никогда не простишь. За минуту страннаго, болѣзненнаго удовольвенія терпѣть всю жизнь. Подумай только, вѣдь это она, Марія...

Въ глазахъ Рдзавича показались слезы: такъ Тенжель всегда говорилъ о Маріи въ былое время, когда онъ называлъ ее Руся или «моя невѣста»; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ вспомнилъ, какъ на раутѣ, окруженная Кололяескими, Божевскими, она кокетничала съ молодымъ блондиномъ, а для него у ней не было ни одного взгляда; нечего говорить даже о какомъ-нибудь сочувствіи, дружбѣ, не было даже одного взгляда, а вѣдь онъ ее такъ любилъ, такъ мучился, такъ страдалъ, и она знала объ этомъ... Уйти такъ, толкнуть такъ ногой, даже не оглянуться и идти дальше! Какъ камень...

— Если бъ ты, по крайней мѣрѣ, измѣнилъ немного черты лица, — просилъ Тенжель. — Вѣдь еще можно, ты самъ знаешь. Хорошо?



— Нѣтъ, — отвѣтилъ Рдзавичъ.

Тенжель всталъ со стула, на которомъ сидѣлъ, подошелъ къ Рдзавичу и сказалъ:

— Я заклинаю тебя твоей прежней любовью къ ней, нашей дружбой, столькими годами общей доли и бѣды, измѣни немного лицо, вѣдь это можно. Статуи ты не испортишь, голова останется та же, не будетъ только характерныхъ чертъ Маріи. А если бѣ даже ты немного испортилъ, что же это въ сравненіи съ тѣмъ, что можетъ случиться? Хорошо, Ромекъ?

Но въ глазахъ Рдзавича стояла Марія, кокетничавшая съ блондиномъ, съ Божевскимъ и Кололяескимъ, безъ одного взгляда для него, безъ малѣйшаго движенія сочувствія; Марія, выходящая за Кололяесскаго, чтобъ имѣть романъ съ Божевскимъ, — онъ отрицательно мотнулъ головой.

Тогда Тенжель взялъ со стола шляпу и сказалъ тихо, но внятно:

— Другому я бы сказалъ то, чего не хочу сказать тебѣ. Подумай, не правъ ли я былъ бы? Я слишкомъ привязанъ къ тебѣ, чтобъ желать потерять эту привязанность, но дальше мы жить вмѣстѣ не можемъ. Между нами всегда былъ бы этотъ Ангелъ смерти и твоя необдуманность.

Со шляпой въ рукѣ, съ выраженіемъ грусти и скорби постоялъ Тенжель въ ожиданіи, не одумается ли Рдзавичъ, — но въ его глазахъ продолжала стоять Марія, наклонившаяся къ чужому, можетъ быть, въ первый разъ въ жизни встрѣченному человѣку; не обра-



тившая на него ни малѣйшаго вниманія, словно онъ не былъ даже тѣнью человѣка... Тенжель ждалъ, потомъ отвернулся и тяжело, съ поникшей головой, шагнулъ къ дверямъ. Онъ взялся за ручку, постоялъ минуту — видно было, что ему тяжело уходить, — наконецъ, пробормоталъ:

— Прощай, Ромекъ. — И ушелъ.

Послѣ ухода Тенжеля Рдзавичъ почувствовалъ себя нѣсколько странно: у него было ощущеніе, будто вмѣстѣ съ Тенжелемъ ушла часть его самого. А это ушла только живая, олицетворенная память громадной части его жизни.

Онъ стоялъ, недоумѣвая, что это такое случилось. Въ цѣпи его жизни встрѣчалась масса людей, они приходили, существовали для него болѣе или менѣе короткое время, шли дальше, встрѣчались еще или никогда больше, но Тенжель былъ до нихъ, былъ и послѣ нихъ. Онъ не приходилъ, не уходилъ, онъ былъ все время, и Рдзавичу даже въ голову не приходило, чтобъ его могло не быть. Онъ былъ похожъ на часы, которые не ломаются, не стираются, не покрываются пятнами; онъ былъ похожъ на недвижимость и собственность, о которой даже не думаютъ, такъ она вѣрна и нерушима.

А потомъ они столько прожили вмѣстѣ... Почти десять лѣтъ. Какъ онъ былъ еще молодъ, когда въ первый разъ встрѣтился съ Тенжелемъ передъ его копией Юноны... У него самого на лицѣ былъ только пушокъ, а у Тенжеля едва начинали расти свѣтлые щетинистые усы. Міръ казался тогда другимъ, менѣе



мутнымъ, менѣе туманнымъ. Это была первая молодость, которая никогда уже не вернется...

Сколько въ продолженіе этихъ десяти лѣтъ повидало родственниковъ, знакомыхъ... Какъ измѣняется взглядъ на жизнь по мѣрѣ того, какъ убываютъ люди, съ которыми мы встрѣчаемся. Каждый вліяетъ на насъ, вызываетъ въ насъ откликъ своей мысли. Иной разъ, много лѣтъ спустя, вамъ приходитъ въ голову, что эта мысль давно уже не приходила, перестала жить со смертью своего творца. Вы почувствуете тоску по ней, одно воспоминаніе порождаетъ тысячу другихъ, а отъ того, что прошло, остается всегда грустная тоска; можетъ быть потому, что мы были тогда дальше отъ смерти.

Тенжель ушелъ, не протянувъ руки на прощаніе... Что онъ думалъ и чего не хотѣлъ сказать, легко можно было догадаться: онъ думалъ, что выставить «Ангела смерти» напоказъ — подлость...

Кровь закипѣла въ Рдзавичѣ: Тенжель, Тенжель, это олицетвореніе грубой, простой, непреклонной честности!..

Рдзавичъ не высокаго былъ мнѣнія о талантѣ Тенжеля, объ его умѣ, но его мнѣнію въ дѣлахъ чести онъ такъ же вѣрилъ, какъ мнѣнію Лауры Пшервицъ; если Тенжель назвалъ что-нибудь «свинствомъ», то, навѣрное, кто-нибудь сдѣлалъ подлость. И Тенжель ушелъ теперь, не подавъ ему руки?!

Значить, онъ задумалъ подлость?!

Не будетъ ли клеймомъ для Маріи «Ангель смерти»?



И за что? За то, что она его не любитъ и больше ни за что. Единственная обида, единственное ея преступленіе по отношенію къ нему это то, что она его не любитъ. Какъ бы она ни поступала, какими бы ни были ея отношенія къ людямъ, онъ не имѣетъ права судить ея.

Да, у него нѣтъ на это права!

Съ того времени, какъ Марія вернула ему слово, онъ потерялъ это право.

Да! Онъ отомститъ. За что? За то, что Марія кокетничала на раутъ? За это ли онъ броситъ ее въ жертву общественному мнѣнію?.. Нѣтъ — за то, что она перестала его любить. А кто за это мститъ женщиѣ, тотъ подлець. И если Тенжель, не оттого, что былъ взволнованъ, а намѣренно не подалъ ему руки, съ полнымъ сознаниемъ того, что дѣлаетъ, то онъ правъ, онъ правъ! Какіе же рыцарскіе инстинкты въ этомъ грубомъ, небольшого таланта, небольшой культурности и ума человѣкѣ!.. Его съ нимъ даже сравнивать нельзя!.. Насколько больше стоитъ этотъ Тенжель безъ почетнаго диплома, безъ признанія *hors concours* на всю Германію, безъ кучки признательныхъ критическихъ отзывовъ, безъ поклонницъ, въ родѣ Геймертъ, безъ обожанія Лановскаго, безъ славы... Насколько выше онъ стоитъ!.. И только потому, что онъ честнѣе.

Тенжель не оттого не подалъ ему руки, что не хотѣлъ этого сдѣлать: не такъ уходитъ человѣкъ, который презираетъ. Оба они такъ неожиданно очутились передъ тѣмъ, что случилось, что хорошенько не отда-



вали себѣ отчета во всемъ, что дѣлаютъ, но если бѣ онъ не хотѣлъ подать ему руки, онъ былъ бы вполне правъ!

Однако — развѣ онъ мститъ?! Местъ называютъ «наслажденіемъ боговъ» — но развѣ онъ мститъ? Развѣ онъ не страдаетъ до бѣшенства? Чтобы мстить, надо ненавидѣть — развѣ онъ ненавидитъ? Развѣ не припалъ бы онъ къ ногамъ Маріи, не цѣловалъ бы онъ ея погъ и не повторялъ бы до потери силъ: «люблю тебя», «люблю тебя»?.. Развѣ это мсть?..

Онъ началъ «Ангела смерти» въ проклятую минуту гнѣва, въ бѣшенствѣ боли, когда въ немъ разыгрались всѣ отвратительныя начала человѣческаго «я». Тогда онъ хотѣлъ мстить, тогда ненавидѣлъ, тогда поднялось въ немъ бѣшенство раздавленнаго «я» и жажда мести, дикой, страшной, неумолимой... Потомъ... Тенгель этого не пойметъ. Онъ не пойметъ того сверхъестественнаго могущества, которое, разъ разбуженное, вызванное къ жизни, принуждаетъ творить, какъ мѣсяцъ заставляетъ море подниматься и уходить отъ берега.

Есть однакожъ воля...

Но разбить «Ангела смерти», измѣнить хоть одну черту, Рдзавичъ былъ не въ силахъ; напротивъ, онъ чувствовалъ, что будетъ отдѣлывать это лицо и дѣлать его похожимъ до послѣднихъ границъ. Это сильнѣе его. Если бѣ ему угрожала даже смерть — онъ продолжалъ бы работать.

Во всякомъ случаѣ, на «Ангелѣ смерти» печать ме-



сти... Разбить его можетъ одна смерть... Умереть бы...  
Передъ самой смертью онъ разбилъ бы этотъ мраморъ.  
Но до этого онъ не можетъ, онъ не въ силахъ! Это  
сильнѣе его! Этотъ мраморъ, этотъ бѣлый камень втя-  
нулъ его въ себя. Ему необходимо ковать, лѣпить,  
чувствовать, творить! Это сильнѣе его. Море бѣжитъ  
и убѣгаетъ отъ берега, иначе оно не можетъ.

У моря нѣтъ воли!

Оно море...

А вокругъ четыре пустыя, голыя стѣны и высоко,  
въ полумракѣ, бѣлая, громадная, грустная, — ахъ! до  
смерти грустная — статуя!

И это жизнь челоуѣка, о матери котораго, если бѣ  
она была жива, говорили бы, что она должна гор-  
диться и что она счастливая мать...

Онъ выбѣжалъ на улицу.

Его собственная грусть расширилась какъ-то на весь  
свѣтъ: если мы несчастны, мы отзывчивѣе на чужое  
горе. Ему жалко было несчастныхъ извозчичьихъ ло-  
шадей и голодныхъ собакъ, онъ ясно видѣлъ все гро-  
мадное горе бытія. Въ каждомъ изъ этихъ домовъ могла  
быть тяжелая болѣзнь, громадное горе, несчастье...  
Никто не знаетъ, сколько вокругъ него физическихъ  
и нравственныхъ трагедій, сколько страданій, боли,  
сколько стоновъ, слезъ... Среди этой громадной борь-  
бы со зломъ, въ этомъ балаганѣ, гдѣ люди бѣгутъ отъ  
несчастія, которое быстрѣе и неутомимѣе ихъ, люди  
собираются воедино, соединяются въ пары и семьи,



чтобъ легче защищаться отъ зла, или смѣлѣе его встрѣчать, такъ какъ лучшій союзникъ страха одиночество.

Фарсъ продолжается, а несчастье вертится среди людей, какъ дрессированный англійскій фоксъ-террьеръ среди крысъ, хватая ихъ за горло и бросая мертвыми на землю, а онѣ въ ужасѣ бѣгаютъ туда и сюда между досокъ, взбираются на нихъ, падаютъ — а надъ тщетнымъ бѣгствомъ людей носится спокойная, громадная, холодная, непоколебимая Иронія.

Началомъ была Иронія, подъ которой можно подписать слова Мефистофеля съ маленькимъ только измѣненіемъ :

«Ich bin die Kraft

Die stets das gute will und stets das  
böse schafft».

Иронія, всемогущая, какъ Богъ, грустная, какъ смерть. Въ этомъ же балаганѣ, въ которомъ несчастье быстрѣе и ловче людей, гдѣ оно неутомимѣе ихъ, люди единятся, какъ волки въ лѣсу во время наводненія, и вмѣстѣ скалятъ зубы на воду...

Среди этой борьбы, въ которой люди, какъ раненые на полѣ битвы, ползутъ другъ къ другу, чтобъ другъ другу помочь, онъ одинъ, какъ воинъ, раненый на далекомъ посту, на потерянной позиціи. Одинъ...

Га, нѣтъ! Га, нѣтъ! Вѣдь были жъ руки, блуждавшія въ упоеніи по его волосамъ, шеѣ, лицу, было сердце, тянувшееся къ нему съ жаромъ, вѣдь были губы, сказавшія ему, что онѣ любятъ «нище жизни»,



была женщина, сказавшая, что жить безъ него «не хочетъ»... Значить, онъ не одинъ, и нечего ему кричать: «царство за человѣческое сердце!» — у него оно есть. У него есть молодое, чистое, доброе, прекрасное сердце — и одного ему только недостаетъ — счастья.

Но это молодая, чистая, невинная, святая, съ дремлющимъ огнемъ въ душѣ дѣвушка...

Когда нѣтъ уже ничего, остается еще утоленіе страсти... Сорвать съ этой статуи бѣлую вуаль изъ расплавленного серебра, изъ ледяныхъ нитокъ, схватить ее, какъ Демонъ Лермонтова, и нести, нести въ тьму, въ темную, усѣянную звѣздами тьму сладострастія. Видѣть въ огнѣ эту весталку съ кровью нимфъ, упоенныхъ солнцемъ, съ запахомъ мирта и бряцаніемъ стрѣлъ Аполлона...

Га! Какая чудная музыка! Ударить «Ангеломъ смерти» въ душу Эли Росенской, какъ побѣдными звуками разрушающихъ трубъ, вырвать изъ арфы ея души звуки, какъ пламя, окружиться ея мыслями, какъ лентами огня, попасть въ громадный круговоротъ голубыхъ и золотыхъ искръ ея любви, въ блестящій, говорящій круговоротъ, отъ котораго глаза сіяютъ, голова идетъ кругомъ, дыханіе спираетъ, рождается страхъ и восторгъ... И забыть обо всемъ!

А потомъ?..

*Vogue la galère!*

За нимъ стояла бѣлая мраморная статуя «Ангела смерти», пластическое олицетвореніе Ироніи его жизни, холодное, спокойное, непоколебимое выраженіе



Проніи, которая послѣдовательно разбила въ немъ все, что было хорошаго, и довела его до душевной и физической нищеты. То, что должно было стать началомъ счастья его жизни, сдѣлалось началомъ несчастья: любовь — сила, которая должна родить одно добро, — для него была началомъ зла со всѣми слѣдствіями дурного дѣла, ведущаго только къ дурному. Онъ погибалъ, какъ жертва Нерона, среди цвѣтовъ; любовь вѣдь цвѣтъ жизни.

Бѣлое, окостенѣвшее лицо Древскаго все чаще и чаще появлялось передъ глазами Рдзавича. Этому человѣку было плохо жить, и онъ разъ навсегда избавился отъ всякихъ непріятностей. Съ руками въ карманахъ, съ откинутой на спинку стула головой, сидѣлъ онъ спокойный, недвижимый, недостижимый; на губахъ у него было немного пѣны, на лицѣ холодная, твердая кожа, производящая впечатлѣніе скользкой кости. Онъ ушелъ...

За нимъ не шли ни его нужда, ни его нищета, ни злыя предчувствія, ни стыдъ, ни страхъ будущаго. Онъ ушелъ, освободился, онъ вырвался изъ жизни, какъ изъ лапъ громаднаго ужаснаго паука, которыми онъ хватаетъ, вяжетъ, душитъ, убиваетъ, прежде чѣмъ ударить въ послѣдній разъ своимъ ужаснымъ жаломъ. Онъ освободился...

Но о Древскомъ Тенжель удачно замѣтилъ, что легко умереть тому, кто не боится смерти; Древскій, дѣйствительно, странно ея не боялся. Смерть ужасна, если сїи заглянуть въ глаза. Довольно одной секунды, чтобъ



попасть туда, но тамъ такъ ужасно чуждо... И оттого Рдзавичъ пряталъ револьверъ, а въ минуты сильнаго нервнаго возбужденія даже запералъ его на ключъ, а ключъ этотъ запералъ еще подъ другой. Онъ пробовалъ привыкнуть, прикладывая на долгое время дуло револьвера къ головѣ, но онъ привыкалъ только къ его холоднымъ, острымъ формамъ; къ тому, что въ немъ дремало, онъ не могъ привыкнуть. Въ этомъ узкомъ, черномъ, желобоватомъ отверстіи дремала тихая, притаившаяся смерть, похожая на маленькую дѣвочку, спящую среди цвѣтовъ и большихъ листьевъ, подложивъ ручку подъ головку. Смерть въ этой стальной трубочкѣ была такъ тиха, такъ незамѣтна, такъ невинна, что почти трудно было повѣрить, въ ея существованіе тамъ... А однако довольно было нажать пальцемъ, чтобъ это узкое, черное отверстіе, вмѣстидо въ себѣ ужасъ и грозу словъ: чума или война — и чтобъ эта маленькая, дремлющая дѣвочка обратилась въ громадный призракъ, который топчетъ міръ съ тѣхъ поръ, какъ онъ существуетъ, грозный до конца, ужасный.

Жить Рдзавичу было все труднѣе. Вѣнчаніе Маріи должно было быть черезъ часъ.

Часъ спустя, должны были прійти посыльщики за «Ангеломъ смерти»; куда они его понесутъ, они еще не знали; онъ думалъ послать ихъ въ тотъ домъ, гдѣ жила Пожелъская, куда должна была вернуться Марія изъ церкви. Статуя эта, поставленная въ дверяхъ



дома, должна была поздравить ее съ бракомъ, показать ей ее такой, какая она есть... Потомъ?..

На этотъ вопросъ у Рдзавича темнѣло въ глазахъ.

Потомъ случится нѣчто ужасное, чего онъ даже вообразить себѣ не могъ.

Вѣроятно, не взирая ни на что, ни на ея родителей, ни на нее самое, ни на Лауру, онъ постарается сдѣлать изъ Эли Росенской свою любовницу. Ея грудью закроетъ онъ себя отъ жизни, погрузится въ ея любовь, какъ въ сонъ. Женщина можетъ быть величайшей мечтой жизни, но можетъ быть и послѣднимъ убѣжищемъ. Тогда, когда не останется ужъ ничего, остаются еще страсти; тогда женщина становится водкой. Вы не ищите ея для наслажденія, но туманите себя. Для человѣка съ разбитой душой, женщина не счастье, не удовольствіе; она — снотворное средство. Ролла упивался ею передъ самоубійствомъ; Гелеогабалъ бралъ жриць изъ храмовъ, хотя въ Римѣ было довольно болѣе красивыхъ женщинъ.

А потомъ?

Потомъ случится снова что-нибудь ужасное, что онъ не могъ себѣ даже и вообразить, или — *vogue la galère!* А потомъ?

Черное, узкое отверстіе револьвера всегда одинаково молчало. Проклятая дремота смерти, проклятый сонъ смерти! Не будь она такой тихой, спокойной, темной, глухой, иди она съ шумомъ, крикомъ, будь она дикой, жестокой, кровавой, неумолимой, могущественной, непреклонной — но нѣтъ, она тихо дре-



млетъ въ дулъ револьвера, какъ маленькая дѣвочка съ ручкой подъ головкой, среди цвѣтовъ и большихъ листьевъ, и ее можно не будить.

Жить Рдзавичу становилось все труднѣе.

Если бъ можно было отряхнуться, оттолкнуть все это отъ себя, бѣжать... Дня два тому назадъ онъ получилъ отъ Стославскаго письмо съ приглашеніемъ пріѣхать въ деревню въ Галиціи высѣчь статую Мадонны въ часовню; часовню построила Мися, его жена; кстати онъ приглашалъ его къ себѣ на все лѣто. Рдзавичъ не зналъ, что это дѣло рукъ Лауры, прямо написавшей Стославскому, что Рдзавича необходимо спасти и что единственное средство — это, чтобы Стославскій какъ-нибудь пригласилъ его подъ предлогомъ заказа и задержалъ какъ можно дольше. Лаура написала это письмо совсѣмъ свободно, такъ какъ двѣ недѣли тому назадъ Стославскій женился во Львовѣ на Мисѣ.

Онъ сдѣлалъ это изъ-за мужиковъ, въ средѣ которыхъ онъ теперь поселился и которые не могли бы помириться съ его внѣбрачной жизнью, что во многомъ затрудняло бы то, что онъ задумалъ.

Послѣ смерти дяди Стославскій сталъ владѣльцемъ громаднхъ имѣній и поѣхалъ въ Галицію, чтобъ увидѣть свое маленькое царство; въ вагонѣ произошло нѣчто, что указало ему совсѣмъ новую дорогу жизни. Въ купе, кромѣ него, сидѣло нѣсколько чело-вѣкъ молодыхъ и старыхъ помѣщиковъ, разговаривавшихъ о крестьянскомъ вопросѣ; все они въ концѣ кон-



цовъ приходили къ заключенію, что въ виду свойствъ и характера польскаго мужика — всякій трудъ, всякая жертва для него, это просто бесполезная трата времени, здоровья и денегъ; польскій крестьянинъ — неблагодарная, неподдающаяся обработкѣ почва, изъ которой ничего нельзя сдѣлать, о которую все усилія ломаются, которую однимъ только можно удержать на мѣстѣ — кнутомъ. О томъ, что возможны времена, когда отношенія мужика и помѣщика измѣнятся, эти господа даже не говорили. Злая воля мужиковъ, отсутствіе довѣрія къ дворянству и ненависть къ нему, склонность идти за демократическими агитаторами, а прежде всего возросшія до абсурда требованія, дѣлаютъ всякій трудъ на этой почвѣ бесполезнымъ. Мужикъ не хочетъ уже оставаться тѣмъ же мужикомъ, какимъ былъ вѣка, какимъ создалъ его Богъ. Онъ выходитъ изъ границъ быта, изъ status quo, стремится создать новые соціальные порядки и конечно разбить нынѣшніе. Все лучшія стремленія дворянъ разбиваются объ эту неблагодарную, неподатливую почву, и всему этому виною польскій мужикъ, съ которымъ ничего не поделаешь...

Столославскій не принималъ участія въ разговорѣ, но онъ произвелъ на него громадное впечатлѣніе, и онъ рѣшилъ убѣдить своихъ сосѣдей, помѣщиковъ, что польскій мужикъ — благодарная и податливая почва, что нужно только, чтобы у руки, которая дотрагивается до этой почвы, было сердце, и что можно многое сдѣлать, надо только умно приступать къ этому дѣлу.



Черезъ два мѣсяца была свадьба Стославскаго съ Мисей, а своему шестинедѣльному сыну Стославскій, наклонясь надъ колыбелью, повторялъ: «если я зароюсь въ трудѣ по локти, ты заройся по плечи», на что послѣдній отвѣчалъ: «блюа».

На письмо Стославскаго Рдзавичъ не отвѣтилъ, онъ почти его не понималъ; передъ его глазами все чаще и чаще вставало бѣлое, окостенѣвшее лицо Древскаго, въ душѣ онъ все явственнѣе чувствовалъ, что ему трудно жить.

Что будетъ, когда Марія увидитъ «Ангела смерти»? То, что онъ сказалъ Тенжелю, что она отъ этого не умретъ, что она будетъ довольна, что это новая «реклама», — онъ зналъ, что это пустыя слова. Что будетъ? Чѣмъ ближе подходила минута, когда эти двѣ женщины, одна мраморная, полуобнаженная, топтавшая движеніемъ гетеры закрытаго плащомъ челоуѣка, другая возвращающаяся съ вѣнчанія, подъ руку съ Кололяскимъ, должны были встрѣтиться лицомъ къ лицу, онъ все болѣе и болѣе волновался. Что съ ней будетъ? Что будетъ?

Что будетъ съ нимъ, это все равно. Мнѣніемъ общества онъ дорожилъ столько же, сколько кусками ненужной глины, въ увѣренности, что большаго оно и не стоитъ.

Его пугало мнѣніе одной Лауры Пшервиць. Пойметъ ли она, что какой-то злой демонъ вырвалъ у него этотъ мраморный крикъ? Но нѣтъ, вѣдь она должна это понять. И она, когда оттолкнула Пшервица,



и онъ сходилъ съ ума отъ боли, одиноко стояла, окаменѣвъ, у гроба Вѣры, Надежды, Любви. Пшервиць такъ же, какъ и онъ, упалъ, раздавленный ногою женщины, такъ же безъ надежды встать. Но Лаура Арковская сейчасъ же со своею молодостью, красотою, съ болью въ сердцѣ за то, что разбила кому-то жизнь, ушла отъ свѣта — а Марія Тыжвецкая... Развѣ она не такая, какъ ангелъ смерти, развѣ это не она?! И онъ долженъ хотѣть, чтобъ она увидѣла себя, долженъ, долженъ, долженъ! Это было такъ, словно его что-то заставляло всадить ножъ въ сердце сестры или брата.

Люди станутъ на сторону Маріи, люди будутъ ее защищать, будутъ почти считать это своей обязанностью. Люди! О, иронія жизни! Ея поклонники, ея лейбгвардія и тѣ, что издали вздыхали по ней, не вытащатъ шнагъ, это обоюдоострое оружіе, но достанутъ навѣрное свои перья, или своихъ друзей, чтобъ «заломить руки надъ позоромъ артистическаго міра»! Они, эта свора, они, которые не сумѣли бы всѣ вмѣстѣ любить ее такъ, какъ онъ, для которыхъ она навсегда останется только предметомъ воздыханія въ салонахъ и на скачкахъ! Всѣмъ имъ Ангелъ смерти покажется «скандаломъ». Чернь, для которой Марія останется всегда луной на небесахъ.

Во всякомъ случаѣ, оставаться въ Варшавѣ будетъ невозможно. Все семейство Маріи, вся семья Кололяскаго, всѣ ихъ близкіе и ближайшіе возмутятся этимъ неслыханнымъ фактомъ; женщины — оттого, что такъ



надо, мужчины — для того, чтобы пойти за женщинами, во-вторых оттого, что къ каждому человеку, выходящему почему-нибудь изъ ряда вонъ, въ нихъ существуетъ неуклонное и плохо скрытое недоброжелательство и зависть, выжидающая только удобной минуты, чтобы проявиться.

Терпѣть все то, что могло повлечь за собой появленіе передъ публикой «Ангела смерти», у Рдзавича прямо не хватало силъ, онъ былъ слишкомъ боленъ.

До чего онъ дошелъ!

Вся его вѣра, всѣ его надежды, вся его любовь рухнули въ прахъ. Жизнь не можетъ дать ему уже ничего, онъ не требуетъ отъ нея ничего, ничего не хочетъ, ничего не ожидаетъ. Ничего не любить. Онъ не любить уже Маріи. Сердце его похоже на степь послѣ пожара, душа — на развалившійся домъ... Онъ умеръ.

Онъ умеръ въ минуту послѣдняго удара рѣзцомъ въ «Ангела смерти». Пока онъ работалъ, онъ жилъ лихорадкою. Онъ не думалъ ни о чемъ, не заботился ни о чемъ, но по мѣрѣ приближенія къ концу въ его глазахъ все темнѣло. И въ ту минуту, когда упалъ послѣдній кусочекъ мрамора и трудъ его былъ конченъ, руки Рдзавича опустились, онъ словно провалился въ какую-то глубину. Теперь ему ужъ нечего дѣлать, онъ могъ только позволить нести себя волнѣ жизни иль вырваться изъ нея, какъ Древскій.

Онъ теперь понялъ, что бываютъ минуты, когда человеку страшно взглянуть въ глубь собственной души. Однихъ пугаютъ преступленія, другихъ несча-



ствя, третьихъ предчувствія; его ужасалъ видъ гибели своей души. Куда дѣвались его творческія стремленія, его желанія, его сила? Въ ту минуту, когда онъ послѣдній разъ отложилъ свой рѣзецъ, онъ почувствовалъ, что въ немъ умерла творческая сила, и на свой же мраморъ онъ смотрѣлъ теперь, какъ чужой человѣкъ, не зная, что онъ работалъ надъ нимъ, не отдавая почти себѣ отчета, какъ это случилось, словно онъ все забылъ. Казалось, вся его творческая энергія вошла въ этотъ камень и пропала въ немъ. Онъ не сумѣлъ бы теперь высѣчь ни одной линіи, не могъ бы сдѣлать ни одного мазка кистью.

Вмѣстѣ съ упадкомъ творческихъ силъ онъ почувствовалъ окончательную потерю жизнеспособности. Теперь, когда ему было трудно выйти изъ своей квартиры на улицу, онъ не могъ понять, какъ онъ умѣлъ удерживать въ рукахъ рѣзецъ и долото, не могъ понять, откуда въ немъ находились силы съ такимъ вдохновеніемъ бросать на картонъ геніальныя композиціи и въ кускахъ камня вызывать божественныя формы.

Какъ конь Атиллы, подъ копытами котораго не росла трава, — такъ сквозь его жизнь прошелъ «Ангель смерти»...

И это она, это она, Марія, Марія...

Онъ потерялъ ее, потерялъ всѣхъ и все, потерялъ себя, у него не осталось ничего, кромѣ темной памяти о прошломъ и чернаго, какъ гробъ, завтра.

И все это изъ-за нея, изъ-за нея.



Не должна ли она теперь притти, стать передъ нимъ на колѣни, взглянуть ему въ глаза съ состраданіемъ, съ любовью, и шепнуть: «маленькій!», какъ нѣкогда, какъ тогда, когда она хотѣла передъ нимъ извиниться, просить прощенія. Не должна ли она? Какъ она должна была бы испугаться, если бы увидѣла его теперь, его, развалину и тѣнь того, что было, чѣмъ онъ былъ и чѣмъ долженъ былъ быть! Ахъ, если бъ она его теперь увидѣла... Вѣдь это ея дѣло, виновата ли она или нѣтъ, ея... Люди похожи на предметы на кораблѣ, ударяющіеся одинъ о другой во время бури; а буря гудитъ и дробитъ все, страшная, равнодушная ко всему, ни на что не похожая, чуждый элементъ, ни съ чѣмъ не связанный, ни съ чѣмъ не родственный.

Послѣ ухода Тенжеля Рдзавичъ не видалъ никого. У Геймертъ онъ пересталъ бывать; единственный чело-вѣкъ, съ которымъ онъ встрѣчался, былъ Лановскій. Его общество онъ еще выносилъ изъ-за громадной грусти, которой былъ полонъ этотъ молодой чело-вѣкъ. Какъ-то разъ ночью Лановскій открылъ ему причину своей меланхоли: у него была неизлѣчимая болѣзнь въ полости рта, которую онъ скрывалъ и которая до-водила его до отчаянія. У него было все: состояніе, талантъ, всѣ данныя быть счастливымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ несчастенъ до послѣдней капли крови. А когда Лановскій рассказалъ ему свое горе, Рдзавичъ поставилъ его въ галереѣ жертвъ жизни, возлѣ Дре-вскаго и себя, и съ тѣхъ поръ почувствовалъ, что онъ ему какъ бы сродни. Они были членами громадной



семьи несчастныхъ, къ которой принадлежитъ большинство людей.

Они много разговаривали о смерти. Лановскому прежде всего было жаль жизни оттого, что онъ хотѣлъ любить. А между тѣмъ, ничто не было для него такъ недоступно, вслѣдствіе его болѣзни, какъ женщина. Лановскій ни разу въ жизни не поцѣловалъ женщины. Онъ меньше опасался чумы, чѣмъ возможности возбудить въ женщинѣ чувство отвращенія къ себѣ. Онъ зналъ, что никогда не будетъ въ состояніи положить своихъ губъ на губы женщины — и съ этой трагедіей въ душѣ онъ шелъ въ жизнь, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе терзаясь жаждой поцѣлуя, — молодой, двадцатидвухлѣтній мужчина. То, что приговорило его къ болѣзни, выше людской силы воли вносилось надъ нимъ, какъ «Ангель смерти» на своемъ постаментѣ надъ Рдзавичемъ.

Свадьба Маріи должна была быть черезъ часъ. Рдзавичъ сидѣлъ въ мастерской, чувствуя, что послѣдній актъ воли, на какой у него хватитъ силъ, будетъ — приказъ вынести «Ангела смерти» носильщикамъ, которые за нимъ придутъ. Потомъ...

Онъ сидѣлъ за столомъ, бессмысленно глядя на револьверъ, не думая ни о смерти, ни о Маріи, ни о себѣ, утомленный, безсильный до потери сознанія; вдругъ, не постучавъ, кто-то открылъ двери. Рдзавичъ поднялъ голову — въ дверяхъ стояла Эля Росенская.

— Вы?! — крикнулъ онъ съ удивленіемъ, вскочивъ со стула.



— Да, я! — отвѣчала она тихо, но внятно.

Удивленіе не дало Рдзавичу сказать ни слова, она же продолжала не шевелясь стоять передъ нимъ въ открытыхъ дверяхъ, блѣдная какъ полотно.

— Вы?! — повторилъ онъ, наконецъ. — Вы?!

— Да, я.

Тогда Рдзавичъ подошелъ къ ней, взялъ ее за руку, заперъ дверь и ввелъ ее на середину мастерской.

— Эля, знаете ли вы, что вы сдѣлали? — спросилъ онъ спокойнѣе.

— Знаю.

— Зачѣмъ вы пришли?

На блѣдное лицо Эли Росенской выступилъ яркій румянецъ. Она немного замаялась, но потомъ, глубоко вздохнувъ, сказала:

— Я должна была притти.

Рдзавичъ понялъ; въ горлѣ у него что-то болѣзненно сжалось, въ глазахъ потемнѣло. Онъ упалъ къ ея ногамъ и припалъ къ нимъ губами. Это была волна той женской любви, которая такъ громадна, что давить и гнетъ, обнимаетъ, какъ море, залиываетъ, топить, подмываетъ изъ-подъ ногъ почву, хватаетъ, бѣшеная, жгучая, святая... И онъ цѣловалъ башмаки Эли, чувствуя, что въ немъ все превращается въ громадную слезу скорби, боли, волненія. На плечахъ своихъ онъ почувствовалъ руки Эли, которыя старались его поднять, и вмѣстѣ съ тѣмъ услышалъ тихій, но внятный шопотъ:

— Встаньте.



И ея маленькія ручки подняли его, словно въ нихъ была сила стихій; Рдзавичъ почувствовалъ, что это не онъ его подняли, а что онъ самъ прильнулъ къ нимъ, загипнотизированный силою этой любви, могущественной, какъ море, и, какъ оно, стихійной.

— Эля... — шепнулъ онъ, не сознавая, что говорить, и поднятъ на нее глаза; она снова была блѣдна, какъ прежде; глаза ея были сухи, смотрѣли ясно и увѣренно.

Она подошла къ столу, взяла револьверъ, потомъ взяла руку Рдзавича и сказала:

— Пойдемте со мной.

— Куда?

— Не знаю, пойдемте.

Рдзавичъ колебался; но въ тихомъ, спокойномъ голосѣ Эли была сила, которая имъ овладѣвала.

— Куда? — повторилъ онъ.

— Не знаю, лишь бы отсюда. Отъ этой смерти и отъ этой статуи.

— Кто вамъ говорилъ обо мнѣ? Кто вамъ сказалъ объ этой статуѣ?

— Никто. Я ничего не знаю. Пойдемте со мной.

Рдзавичъ сдѣлалъ шагъ впередъ. Онъ ощущалъ нѣчто странное: ему казалось, что онъ теряетъ сознание и что какая-то лазурь заливаетъ ему голову.

— Эля, — шепнулъ онъ, — куда мы идемъ? На новую жизнь?

Ея лицо сдѣлалось похожимъ на чудный, мистическій цвѣтокъ, ничуть непохожій на земные, она сто-



яла передъ нимъ тихая, бѣлая. Рдзавичъ вспомнилъ сонъ Маріи, онъ сбывался: къ умирающему подошла женщина и вырываетъ его изъ объятій смерти, только женщина эта не Марія, а другая, не гибельный красотой своей «Ангель смерти», а эта тихая, бѣлая дѣвушка.

Онъ оглянулся: за нимъ стояла та, голая побѣдительница, ослѣпительная, но борьба между этими двумя женщинами была кончена. Рдзавичъ наклонился къ Элѣ, и губы ихъ безсознательно соединились въ долгомъ, тихомъ поцѣлуѣ, въ которомъ губами цѣлуются и единятся сердца и души. На душу и сердце Рдзавича повѣяло чѣмъ-то весеннимъ, свѣжимъ; поцѣлуй губъ Эли словно его возродилъ, словно воскресилъ изъ мертвыхъ.

— Люблю тебя, — шепнулъ онъ.

Она повела его къ дверямъ, говоря:

— Пойдемъ, пойдемъ... На новую жизнь... Далекое отсюда...

Вдругъ на лѣстницѣ послышались тяжелые шаги, и кто-то постучалъ въ дверь.

— Кто это? — спросила Эля.

Двери открылись, и въ нихъ показались четверо носильщиковъ въ голубыхъ блузахъ, среди нихъ съ ужасомъ и волненіемъ на лицѣ стоялъ Тенжель. Рдзавичъ понялъ Тенжеля; онъ улыбнулся, протянулъ къ нему руку, потомъ отвернулся, поднялъ съ земли гяжелый молотъ, которымъ Тенжель обтесывалъ мраморъ, и изо всѣхъ силъ ударилъ въ голову «Ангела смерти»: голова



разлетѣлась въ дребезги. Въ ту же минуту онъ почувствовалъ, что кто-то словно пронзилъ его мозгъ, а потомъ словно голова его наполнилась струей расплавленной лавы. Онъ пошатнулся, протянулъ руки, сдѣлалъ шагъ назадъ и упалъ на статую, ударившись съ глухимъ грохотомъ головой о мраморныя ноги обнаженной женщины.

На слѣдующій день весь городъ говорилъ о происшествіи. Талантливый скульпторъ, Романъ Рдзавичъ, награжденный въ Мюнхенѣ почетнымъ дипломомъ и признанный «*hors concours*» въ Германіи, разбилъ молотомъ голову своей послѣдней статуи, представлявшей его прежнюю невѣсту Марію Тыжвецкую въ непозволительномъ видѣ, и тутъ же сошелъ съ ума, такъ что носильщики, которые должны были нести статую въ неуказанное имъ еще мѣсто, связали его, а пріятель его, нѣкій Тенжель, тоже скульпторъ, отвезъ его въ домъ умалишенныхъ, гдѣ онъ лежитъ со вчерашняго дня въ припадкѣ бѣшенства. Въ то же время изъ мастерской Рдзавича унесли въ безсознательномъ состояніи Элизу Росенскую, дочь помѣщика.

Черезъ часъ послѣ этого, въ костелѣ св. Креста, Марія Тыжвецкая, извѣстная своей красотой и прелекательностью, произнесла свадебную клятву стоявшему возлѣ нея пану Кололясскому изъ-подъ Клецка.

По дорогѣ отъ алтаря молодая разсыпала знакомымъ и незнакомымъ столько очаровательныхъ улыбокъ, что женщины кусали губы, а мужчины пересту-



...ли на ногу. Балъ продолжался до утра.  
...была прямо въ изступленіи: ее вырывали изъ  
...къ въ руки, а она, опираясь на грудь кавалерамъ,  
казалось, теряла сознаніе, танцуя.

— Божевскій?! — шепнула ей, проходя мимо нея въ  
кадрили, Ядвига.

— Нѣтъ его здѣсь, — бросила ей быстро Марія.

Ядвига сдѣлала удивленные глаза.

На слѣдующій день, когда уже смеркалось, передъ  
отъѣздомъ въ деревню, съ ощущеніемъ чего-то непри-  
ятнаго, утомленная Марія лежала на диванѣ, подло-  
живъ руки подъ голову, какъ вдругъ открылись двѣ  
ри и Ядвига вбѣжала съ крикомъ:

— Знаешь, что случилось?!

— Что? — спросила Марія, немного обезпокоенная.

Стжелискская стала ей читать «Курьеръ» съ описа-  
ніемъ трагическаго случая съ Рдзавичемъ; она не могла  
кончить — расплакалась.

Марія промолчала минуту, потомъ холодно отозва-  
лась: — Онъ, однако, меня ужасно любилъ...

Потомъ добавила, словно самой себѣ:

— Въ немъ была скрытая, жгучая страсть... А онъ  
могъ быть очень извѣстнымъ...

Потомъ Ядвига, сдерживая рыданія, рассказала, что  
говорятъ объ «Ангелѣ смерти»; на него въ газетѣ былъ  
лишь легкій намекъ. Марія вскочила съ дивана и сѣла,  
крича:

— Подлецъ! Какъ онъ смѣлъ! Дай Богъ, чтобъ его  
ужь никогда не выпустили изъ сумасшедшаго дома!











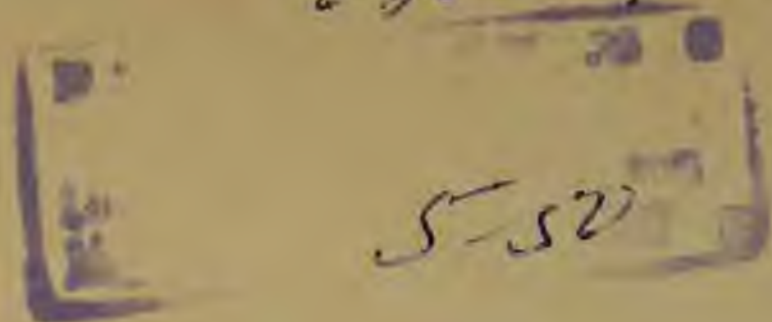








67065/0786



5-52



